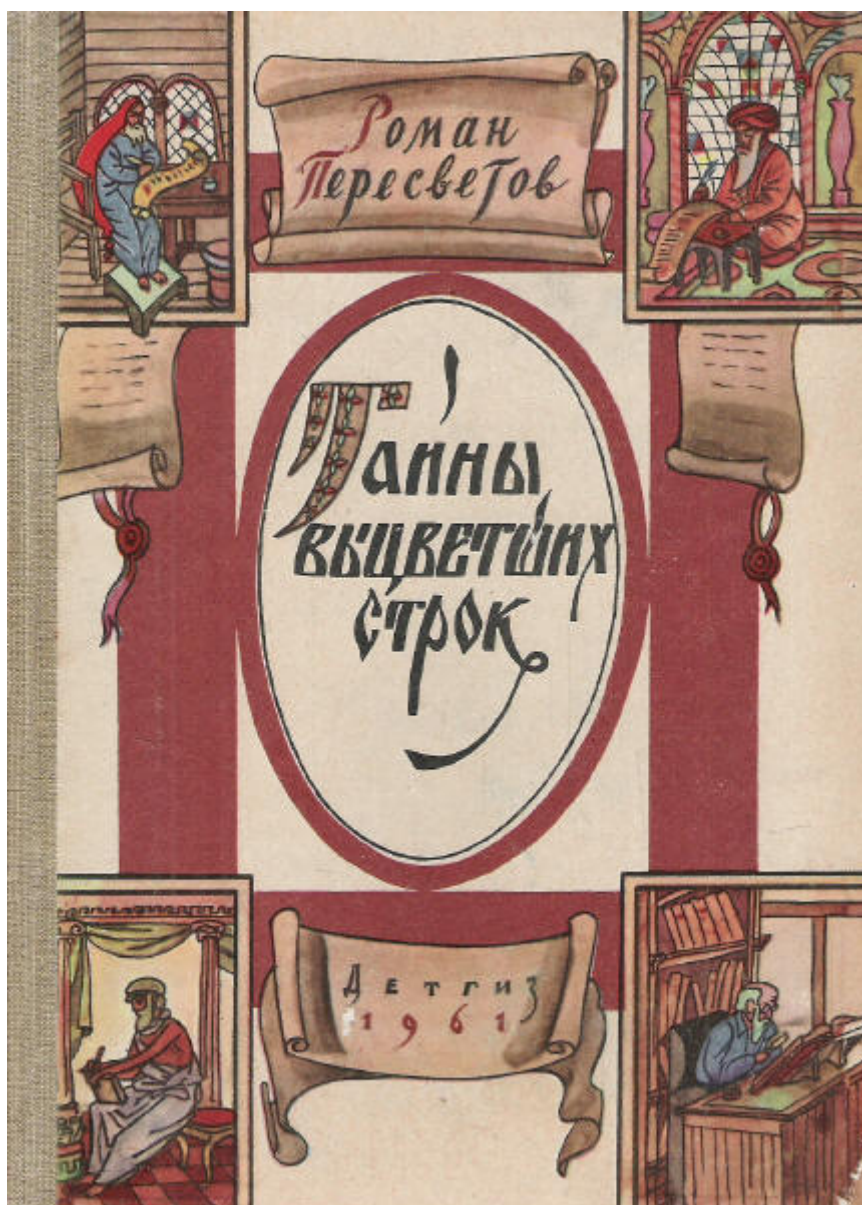


Роман Пересветов

Тайны выцветших строк





**Роман Пересветов**  
**Тайны выцветших строк**

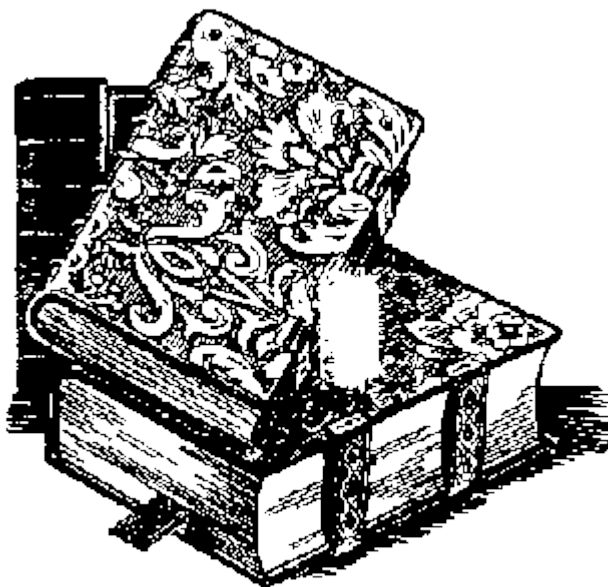
**ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ**

Ну конечно, я был немного взволнован, когда впервые переступил порог этого здания. Прижатое к построенным позже высоким серым корпусам, оно составляло с ними один замкнутый квадрат и занимало почти целый квартал отдаленной от центра московской улицы. Высокие серые дома выглядели довольно суровыми благодаря продолговатым и узким, как бойницы, окнам.

В длинных и просторных коридорах властвовала тишина, такая бывает разве только в мертвый час в доме отдыха или в санатории. Мимо меня бесшумно проходили люди в рабочих халатах, неся в руках какие-то свертки и связки старых бумаг.

Тихо было и в огромном, высотой в два этажа, зале, разгороженном железными решетками на пять ярусов. Вдоль каждого яруса стояли напоминающие пчелиные соты стеллажи, доверху заполненные одинаковыми папками и коробками. На каждой значилось какое-нибудь хорошо знакомое еще со школьных лет имя. Читаю: «Фонд Меншикова». Здесь размещены документы походной и домовой канцелярии бывшего уличного торговца пирожками, потом князя и генералиссимуса, сподвижника Петра и фактического правителя России при Екатерине I.

На соседних стеллажах – архивы канцлера Воронцова, трех графов Румянцевых, князя Потемкина-Таврического. Каждая из хранящихся на этих полках бумаг рассказывает о делах и заботах вершителей судеб бывшей Российской империи.



Они были скорее похожи на маленькие сундучки, чем на книги.

Некоторые особенно громоздкие рукописи покоятся отдельно в своих тяжелых, обтянутых кожей переплетах или свернутыми в большие тугие свитки, называвшиеся в старину столбцами. Окованные золотом, серебром или железом соборные евангелия похожи скорее на маленькие сундучки, чем на книги. Древние «Уставы», «Судебники», договорные, духовные и жалованные грамоты, «подмётные» письма, челобитные... Сколько их тут! Страх и трепет внушали в свое время многие из этих документов. «Приговорные грамоты о походе войной» или «о смертной казни»... Их страницы омыты слезами и кровью. Как часто сеяли смерть бесстрастные строки! Но и для этих грозных и неумолимых «государственных актов» наступала пора, когда они превращались в бранный и жалкий клочок бумаги или пергамена.

Истории некоторых рукописей иногда еще более интересны, чем те, что описаны на их страницах. Об этом можно судить даже по их внешнему виду.

Взглянем хотя бы вот на эту неказистую псалтырь в «оболоченном кожею червчатом переплете». Специалист-палеограф,<sup>1</sup> перелистав ее, скажет: не меньше пятисот лет!

Обложка сильно покореблена, верхние края обреза обгорели, в каталоге она так и значится: «горелая». С каких же пор пристала к ней эта примета? Не с того ли черного дня 1382 года, когда внезапно налетевший, как степной суховей, татарский хан Тохтамыш поджег Москву? В огне пожара, мгновенно охватившего почти весь город, погибли вместе со многими жителями ценнейшие рукописи и книги, свезенные в церкви и соборы «сохранения ради». Или псалтырь попала в разряд «горелых» позднее? Ведь деревянная Москва на протяжении своей истории не раз сгорала дотла. Многие грамоты закапаны воском – они писались при свете свечных огарков в те времена, когда еще не знали другого освещения и пожар Москвы иногда начинался от упавшей церковной свечи...

Рукописи, уцелевшие после войн и пожаров, часто потом погибали от архивной сырости или их пожирало злое насекомое, именуемое тлей.

Лишь немногим древнейшим документам удалось устоять против всех этих напастей, и все же, по подсчетам палеографов, до нашего времени дошло около ста древнерусских

<sup>1</sup> П а л е о г р а ф – ученый, определяющий по характерным приметам время и место написания древней рукописи.

грамот и свыше пятисот рукописных книг XI–XIV веков. Количество же более поздних документов определяется сотнями тысяч...

Переходя от стеллажа к стеллажу, я читаю только надписи на табличках, а память едва успевает подсказывать имена, события, даты.

– Скажите, что находится в этом золотом ларчике? – спрашиваю я у начальника архива Вениамина Николаевича Шумилова, достающего из сейфа круглый золотой сундучок.

– Не в золотом ларчике, а в позолоченном серебряном «ковчеге», – деловито поправляет привыкший к точным формулировкам архивист.

Оказывается, в сундучке покоится подлинник знаменитого «Уложения» 1649 года – основного свода законов, действовавших в те времена на Руси. Прежде чем попасть в архив, «Столбец Уложенный» причинил немалое беспокойство своим хранителям. Они чуть было его не потеряли. Случилось это так.

Екатерина II, задумав разработать новые законы, захотела взглянуть на подлинник старого Уложения и приказала тогдашнему генерал-прокурору князю Вяземскому доставить его во дворец.

Озадаченный неожиданным поручением, генерал-прокурор принялся искать подлинник в архиве правительствующего сената. Оттуда поспешили донести, что там его нет и никогда не было. Не нашлось никаких следов подлинника и в патриаршей типографии, где Уложение было впервые отпечатано. Тут Вяземского осенила другая догадка: Уложение должно быть спрятано под престолом Успенского собора в Кремле. Он слышал, что когда-то там был тайник для важнейших государственных документов. По распоряжению князя в соборе разобрали пол, но под ним не оказалось ничего, кроме пыли. И вот, наконец, после длительных поисков генерал-прокурору донесли, что в древней Казенной палате, находившейся близ Благовещенского собора, найден железный сундук, где хранится подлинное «государя царя Алексея Михайловича Уложение, токмо того сундука за неотысканием ключа не отперто».

Лишь на следующий день был изготовлен новый ключ (мне любезно показал его Шумилов), и после этого из сундука вынули суконный красный мешок, в котором оказался подлинник Уложения и один печатный экземпляр его первого издания.

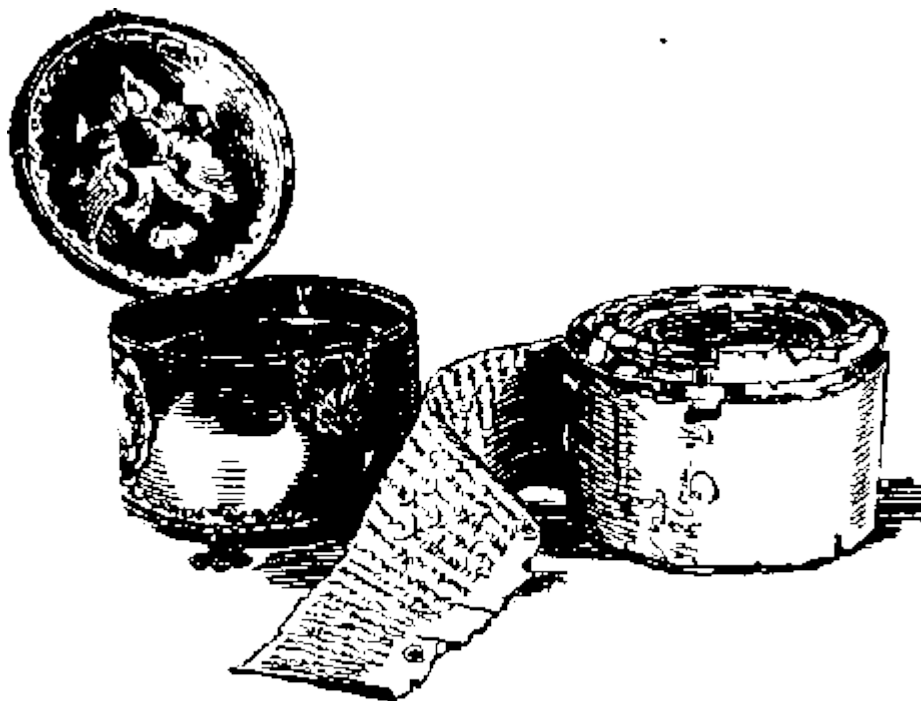
Екатерина вызвала из Коллегии иностранных дел ученого архивариуса профессора Миллера и приказала ему подробно исследовать и описать подлинник.

Аккуратный немец в точности выполнил задание. Он установил вес свитка – двенадцать фунтов и длину его – пятьсот тридцать четыре аршина, подсчитал, что подлинник написан четырьмястами разными почерками и подписан тремястами пятнадцатью лицами, в том числе патриархом московским Иосифом и двенадцатью представителями высшего духовенства, пятнадцатью боярами, десятью окольничими. За ними расписывались дворяне, гости-купцы, выборные из московских сотен, слобод и стрелецких приказов. Из посадских людей подписывать Уложение были допущены только самые зажиточные. Крестьян к подписи не допустили.

– Хотите посмотреть на подлинник? Он прекрасно сохранился, – предлагает мне Шумилов, открывая крышку ковчега.

Вот он, знаменитый «Столбец Уложенный»! В нем девятьсот шестьдесят склеек, но ни один лист не оторвался! Каждая склейка на лицевой и оборотной стороне скреплена подписями трех думных и двух других дьяков.

По повелению Екатерины II для Уложения был сделан позолоченный ковчег, который и стал для него своего рода усыпальницей.



**В этом позолоченном серебряном Уложении пролежало  
около двухсот лет.**

Сто двенадцать лет пролежал он в железном сундуке, завернутый в красный суконный мешок, затем около двухсот лет в позолоченном серебряном ковчеге и дошел до наших дней с чуть примятыми краями, но в полной целости и сохранности. Ему могли бы позавидовать многие памятники старины, на поиски и восстановление которых архивистам и историкам-источниковедам пришлось затратить немало усилий.

Да... Как и у людей, у документов бывают разные судьбы, и часто очень изменчивые. Как интересно проследить их злоключения в веках! После долгих настойчивых усилий обнаружить, наконец, текст какой-нибудь утраченной рукописи, пусть даже поврежденный, с выцветшими буквами, местами истлевший. Восстановить полностью содержание документа, объяснить все пропуски и пробелы! Как это должно быть трудно и в то же время увлекательно! Какая радость ждет исследователя в случае успеха, когда удастся осветить неясную страницу истории, дать точное толкование недостаточно изученных явлений и событий!

Терпение и настойчивость источниковеда – вот главные доблести археографа.

Ведь поиски приходится продолжать, даже если ясно, что разыскиваемая тобой рукопись сгорела несколько сот лет назад! Сумел же известный палеограф профессор Приселков восстановить один из важнейших памятников русской письменности, знаменитую Троицкую летопись, сгоревшую во время пожара Москвы в 1812 году! Ученый пользовался многочисленными выписками, которые успел из нее сделать до пожара историк Карамзин, и выдержками, обнаруженными в текстах других летописей.

А какие интересные находки были сделаны одним из первых русских археографов П. М. Строевым! Обследуя древние монастыри, он извлек так много ценных рукописей, что для их изучения и издания пришлось организовать специальное учреждение – Археографическую комиссию при Министерстве народного просвещения.

Мой собеседник, опытный архивист В. Н. Шумилов, разбирая дворцовый архив, нашел те самые записи Екатерины II, которые изучал Пушкин, трудясь над историей пугачевского восстания. После смерти поэта они считались бесследно пропавшими, и Академия наук особым решением подчеркнула необходимость их розыска.

Да, среди разведчиков архивных недр есть свои герои! И разве не достойны они того, чтобы о них рассказали, чтобы их труд, их находки стали широко известны?

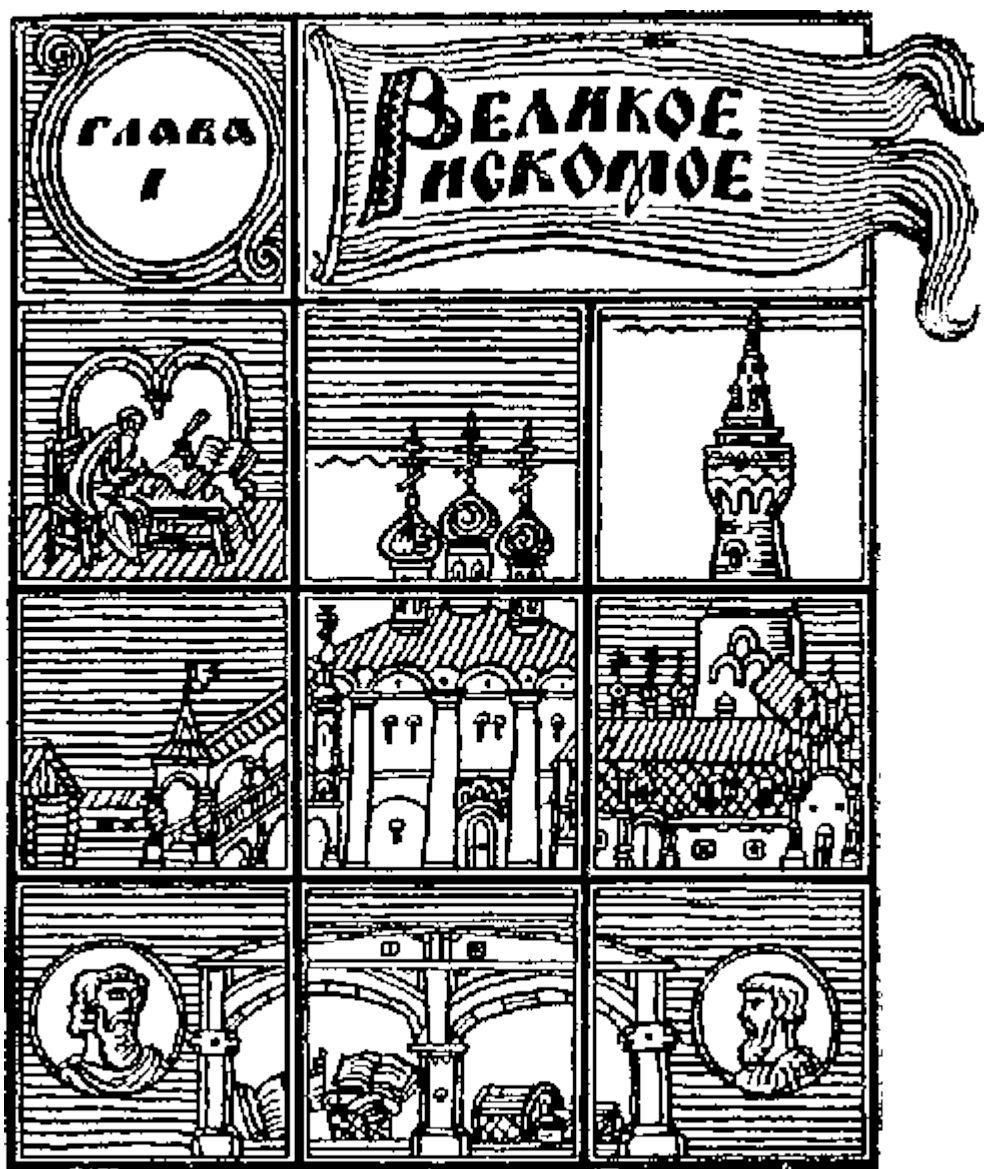
...Я становлюсь частым гостем архива, знакомлюсь с трудами историков-источниковедов, изучаю каталоги и путеводители, с помощью сотрудников архива отбираю документы, история которых особенно интересна.

Как трудно, оказывается, проследить их путь. Они нередко меняли свои имена. В описях разных архивов одна и та же рукопись может значиться под разными названиями.

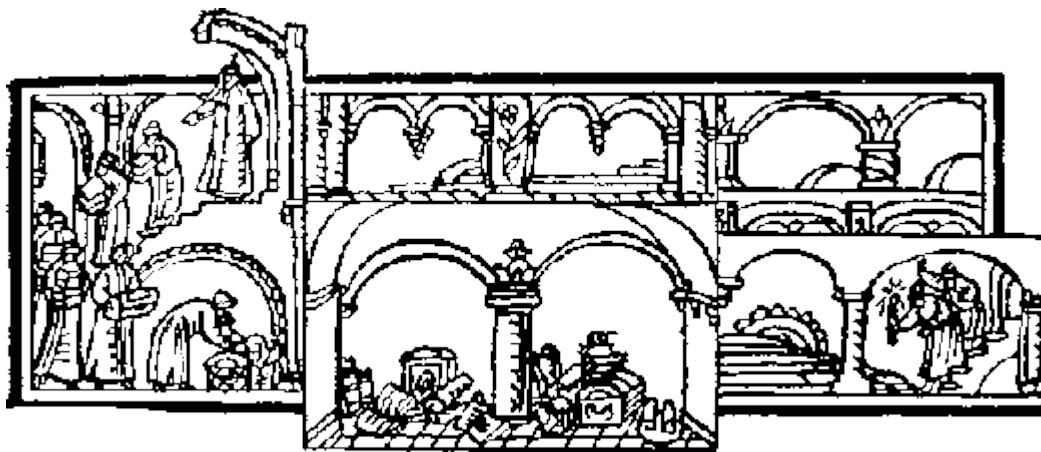
– Если вы хотите узнать увлекательную историю некоторых редких рукописей и книг, – сказал мне однажды В. Н. Шумилов, – вам не мешало бы также проследить и судьбы древлехранилищ, в которых, может быть, они раньше находились. Уверяю вас, такой труд не будет напрасным. Ведь архивы тоже переходили из рук в руки, разделялись, а иногда и совсем исчезали в огне войн и пожаров.

Нужно ли было следовать этому доброму совету, пусть судит читатель по содержанию следующих глав.

## глава 1 ВЕЛИКОЕ ИСКОМОЕ



ОХОТНИК ЗА РУКОПИСЯМИ



Профессор правоведения Дерптского<sup>2</sup> университета Вальтер Фридрих Клоссиус в 1827 году добился разрешения Николая I изучать в Московской патриаршей библиотеке древние рукописи. По ходатайству своего соотечественника, близкого ко двору «доктора медицины и хирургии» Лодера, немецкий ученый получил также доступ и в библиотеку Московского главного архива министерства иностранных дел. Но собрание хранившихся там древних рукописей было опечатано ревниво охранявшим его директором архива Алексеем Федоровичем Малиновским, и дерптскому профессору обозреть их не удалось.

22 сентября 1828 года Клоссиус уведомил А. Ф. Малиновского, что он намерен опубликовать результаты своей поездки в Россию в особом сочинении и в предисловии к нему познакомить читателей с историей русских книгохранилищ и, в частности, с обнаруженными им в этих книгохранилищах древними рукописями. Поэтому немецкий ученый просил Малиновского прислать ему дополнительно сведения о греческих и латинских манускриптах, хранящихся в Московском главном архиве министерства иностранных дел за печатями, то есть именно о тех рукописях, которые он, Клоссиус, во время своего пребывания в Москве просмотреть не смог.



Вид города Дерпта в XVI веке.

Из письма дерптского профессора можно было видеть, что он, напав на след хранившихся в русских библиотеках старинных латинских и греческих рукописей, проявил к ним повышенный интерес и через год после своего возвращения в Дерпт. Но это было вызвано совсем особой причиной, о которой нет ни слова в письме.

Клоссиус был не только юристом. Кроме звания доктора гражданского и уголовного права, ему была присвоена Тюбингенским университетом еще и ученая степень доктора философии.

Всего два года прослужил он в этом университете в качестве приват-доцента и помощника библиотекаря. Затем он предпринял с научной целью путешествие по Германии,

<sup>2</sup> Д е р п т – название эстонского города Тарту, данное ему немецкими завоевателями. В древности на его месте был русский город Юрьев, основанный Ярославом Мудрым. Эстония входила в состав царской России.

Голландии, Франции и Италии и не без успеха рылся в архивах и книгохранилищах этих стран. В миланской Амброзианской библиотеке он нашел новые, никому до того не известные отрывки из законодательного кодекса Феодосия, внука последнего императора единой Римской империи. Это была первая скромная заслуга молодого ученого перед отечественной и мировой наукой.

Приняв приглашение Дерптского университета прочесть курс уголовного права, Клоссиус решил продолжать в России розыски древних рукописей, начатые им в других странах. Получив «соизволение» Николая I и даже необходимые для этой работы денежные средства, предприимчивый немец в течение четырех лет обследовал петербургские и московские книгохранилища, заглянул в подмосковные монастыри и совершил поездки в древние города Новгород, Псков и Киев, где, по его расчетам, должны были храниться богатые рукописные собрания.

Разыскивая сведения о старых латинских и греческих рукописях юридического характера и изучая для этого в архивах старые описи, немецкий правовед сделал поразившее его открытие: он обнаружил, что в некоторых описях упоминаются неизвестные сочинения древних авторов, представляющие огромную культурную ценность. Однако это ободряющее открытие омрачилось другим: все сочинения числились только в старых описях, в новых реестрах их уже не было, да и сами они куда-то бесследно исчезли. В поисках объяснения этому, Клоссиус натолкнулся на заслуживающий внимания факт.

В известном «Сказании о Максиме философе, иже бысть инок Святые горы Афонские» прямо указывалось, что в Москве еще в XVI веке существовало книгохранилище с редчайшими рукописями, вызывавшими изумление и зависть у всех, кому посчастливилось с ними познакомиться. Это была библиотека отца Ивана Грозного, великого князя московского Василия III, якобы доставшаяся в наследство от его родителя, то есть от великого князя Ивана II, женатого на племяннице последнего византийского императора – Софии Палеолог. Предвидя падение Византии, ее отец будто бы успел увезти наиболее ценные книги из императорской библиотеки, которую могли разграбить турки.

В сказании повествуется о том, как великий князь Василий Иванович, озабоченный составлением каталога полученных им в наследство книжных сокровищ, отправил письмо константинопольскому патриарху с просьбой прислать в Москву знакомого с иностранными языками ученого мужа для выполнения этого труда.

Выбор патриарха пал на сына албанского воеводы Максима Грека, получившего образование в Париже и во Флоренции и после возвращения на родину постригшегося в монахи в Афонском монастыре.





Искусный и «хитрословесный»  
философ **Максим Грек**.

«...По мале же времени, – говорится в сказании, – великий государь, приснопамятный Василий Иоаннович, сего инока Максима призвав, и вводит его в свою царскую книго-хранительницу и показа ему бесчисленное множество греческих книг. Сей же инок во многоразмышленном удивлении бысть о толиком множестве бесчисленного трудолюбного собрания и с клятвою изрече перед благочестивым государем, яко множество книг сподобихся видети». Максим Грек пожаловался Василию III на оскудение греческих библиотек после захвата Византии турками и высказал свое восхищение его заботами о книжных сокровищах.

Ученый муж ревностно взялся за порученный ему великим князем труд: он стал сличать тексты греческих книг с их переводами на церковнославянский язык, обнаружил в этих переводах много неточностей и принялся их исправлять; этим он навлек на себя неприязнь московского митрополита Иосафа, оговорившего его перед царем Василием III, и подвергся преследованиям.

Описывая мытарства многострадального просветителя, автор сказания больше не возвращался к вопросу о библиотеке Василия III и не сообщал никаких сведений о том, составил ли Максим Грек ее каталог и какие именно книги произвели на него такое сильное впечатление.

Что же стало с царской библиотекой?

На этот вопрос Клоссиус нашел ответ в другой древней рукописи – «Ливонской хронике», которую составил в XVI столетии бывший рижский бургомистр Франц Ниенштедт.

В ней упоминалось, что в 1558 году Иваном Грозным был взят Дерпт.

Подозревая, что потомки хозяйничавших когда-то в этом городе немецких меченосцев продолжают тайные сношения с недругом России, магистром Ливонского ордена, Грозный решил переселить их в русские города Владимир Нижний Новгород, Углич и Кострому показать пастору свою московскую «либерею» (библиотеку), состоящую из книг на греческом, латинском и древнееврейском языках, полученных в дар от константинопольского патриарха и хранившихся, как драгоценное сокровище, замурованными в двухсводчатых подвалах под Кремлем.



Печать города Тарту (Дерпта)  
тех времен, когда в нем жил  
пастор Иоганн Веттерман.

«Великий князь, – говорится в хронике, – слышал об этом отличном и ученом великом человеке, Иоганне Веттермане, много хорошего, про его добродетели и знания, и потому велел отворить свою великолепную либерею, которую не открывали более ста лет с лишком, и пригласил через своего высшего канцлера и дьяка Андрея Солкана, Никиту Высровату и Фунику вышеозначенного Иоганна Веттермана и с ним еще несколько лиц, которые знали московитский язык, как-то: Фому Шревена, Иоахима Шредера и Даниэля Браккеля, и в их присутствии велел вынести несколько из этих книг. Эти книги были переданы в руки магистра Иоганна Веттермана для осмотра. Он нашел там много хороших сочинений, на которые ссылаются наши писатели, но которых у нас нет, так как они сожжены и разрознены при войнах, как то было с Птолемеевой и другими либереями. Веттерман заявил, что, хотя он беден, он отдал бы все свое имущество, даже всех своих детей, только бы эти книги были в протестантских университетах, так как, по его мнению, эти книги принесли бы много пользы христианству.

Канцлер и дьяк великого князя предложили Веттерману перевести какую-нибудь из этих книг на русский язык, и если он согласится, то они представят в его распоряжение тех трех вышеупомянутых лиц и еще других людей великого князя и нескольких хороших писцов, кроме того, постараются, чтобы получали от великого князя кормы и хорошие напитки в большом изобилии, а также хорошее помещение и жалование и почет, а если они только останутся у великого князя, то будут в состоянии хлопотать и за своих».



Так изображали Ивана Грозного  
при жизни на немецких  
гравюрах.

Как ни заманчиво было это предложение, напуганные слухами о крутом нраве Ивана Грозного немцы заколебались. И, хотя «отличному и ученому человеку» Веттерману очень хотелось ближе познакомиться с книжными сокровищами русского царя, он не решился предпочесть мертвые листы живым людям, своим соотечественникам, нуждавшимся на чужбине в руководителе и наставнике.

Франц Ниенштедт рассказывает, что у приглашенных к царю немцев возникло опасение, не придется ли им, как только они кончат одну книгу, сейчас же приниматься за перевод другой, «и они тогда не смогут избавиться от этой работы до самой смерти». Посоветовавшись, они попросили передать Ивану Грозному, что таким важным делом, как перевод этих книг, должны заниматься не простые миряне, но «наиумнейшие, знающие писание и начитанные люди».

«При таком ответе, – заканчивает свое повествование автор хроники, – Солкан, Фуника и Высровата покачали головами и подумали, что если передать такой ответ великому князю, то он может им самим прямо навязать эту работу (так как велит всем им присутствовать при переводе), и тогда для них ничего хорошего из этого не выйдет; им придется тогда, что, наверное, и случится, умереть при такой работе, точно в цепях. Потому они донесли великому князю, будто немцы сами сказали, что поп их не сведущ, не настолько знает языки, чтобы выполнить такое поручение. Так они все и избавились от подобной службы».

Любознательный Веттерман все же попросил Солкана одолжить им хотя бы одну книгу на шесть недель, но «высший канцлер» припугнул его, что Иван Грозный может тогда их заподозрить в намерении уклониться от предложенной им работы.

«Обо всем этом, – уверяет Франц Ниенштедт, – мне рассказывали сами Томас Шреффер (то есть Фома Шревен) и Иоганн Веттерман. Книги были страшно запылены, и их снова запрятали под тройные замки в подвалы».

Бесхитростный рассказ дерптского пастора, записанный его современником и соотечественником, бывшим рижским бургомистром Ниенштедтом, во многом совпадал с впечатлениями Максима Грека. И тот и другой с завистью и восхищением говорили о книжных сокровищах, не имевшихся ни в одной европейской библиотеке. Несколько странным было утверждение Веттермана, будто «либерею» не открывали более ста лет. Тогда каким же образом мог ее видеть Максим Грек, живший почти одновременно с Веттерманом?

В «Сказании о Максиме философе» говорилось о книгах, привезенных племянницей византийского императора Софией Палеолог. Ниенштедт же утверждал, что они получены в дар от константинопольского патриарха.

Клоссиуса, напавшего на след «исчезнувшего сокровища» и тешившего себя надеждой, что именно ему выпадет счастье его отыскать, эти неувязки не очень тревожили. Но, кроме списка «Хроники Ниенштедта», с которыми познакомился Клоссиус, были и другие списки этой хроники. Расхождение в них сводилось к тому, что в одном варианте говорилось о двухсводчатых тайниках, в другом же – о трехсводчатых, под тремя замками. Это могло быть и простой опiskой. Во всех списках были искажены фамилии приближенных к Ивану Грозному дьяков. «Андрей Солкан» был не кто иной, как дьяк Андрей Щелкалов, один из ближайших советников царя, позднее ведавший посольскими делами. «Никита Высровата» – хранитель печати Иван Висковатый. «Фуника» – казначей Никита Фуников.

Все варианты старинной хроники сходились в одном, самом существенном для Клоссиуса: библиотека не была мифом! Во всех списках одинаково указывалось ее местонахождение. По описанию ценных рукописей, виденных Максимом Греком и Веттерманом, было ясно, что речь идет об одном и том же книгохранилище, перешедшем от Василия III к его сыну Ивану Грозному.

Нетрудно догадаться, какое волнение охватило неутомимого охотника за древними рукописями, когда упорные розыски библиотеки Ивана Грозного, нити к которой шли из Дерпта, привели Клоссиуса еще к одному важному открытию.

## **НАХОДКА ПРОФЕССОРА ДАБЕЛОВА**

Профессор Клоссиус был не единственным иностранным ученым, преподававшим в Дерптском университете. Этот университет был создан в 1802 году, после окончательного освобождения Лифляндии от шведских и немецких захватчиков. Но в начале прошлого столетия следы их временного господства еще не сгладились. Часть населения, не избавившегося от засилия подкармливаемых царским правительством прибалтийских баронов, продолжала говорить на немецком языке. На этом же языке читались и многие лекции в Дерптском университете.

Раньше Клоссиуса в этот университет для чтения курса гражданского права был приглашен из Мекленбург-Шверинского герцогства немецкий юрист барон Христофор Христиан фон Дабелов. Профессор Клоссиус случайно узнал, что его коллега в 1822 году опубликовал в справочнике для юристов статью, в которой между прочим сообщил названия некоторых греческих и латинских рукописей юридического содержания, якобы находившихся в библиотеке Ивана Грозного. Откуда же мог добыть эти сведения шверинский юрист?

Профессор Дабелов интересовался, кроме своих лекций, только узко специальной областью лифляндского частного права. Собирая материал для большой работы на эту тему, он разослал письма в архивы всех прибалтийских городов с просьбой оказать ему помощь присылкой нужных документов. Одним из первых откликнулся на эту просьбу архив приморского городка Пярну, приславший профессору папку с четырьмя старыми тетрадями, из которых ему, впрочем, пригодилась только одна. Он назвал ее «Пярнской коллекцией». Перелистывая эту тетрадь, профессор Дабелов обнаружил в ней два пожелтевших листа заметки некогда жившего в Дерпте неизвестного немецкого пастора, перечислявшего вкратце редкие книги, виденные им в библиотеке Ивана Грозного. Две из них, по его словам, он даже перевел по просьбе царя.



Печать эстонского города  
Пярну, в архиве которого  
хранился список книг  
из библиотеки Грозного.

Дабелов снял копию с этих заметок привел выдержки из них в своей статье, напечатанной в дерптском юридическом справочнике. Вопреки его ожиданиям, статья эта не произвела впечатления разорвавшейся бомбы. Иностранные ученые усомнились в достоверности приведенных в ней сведений, и Дабелов решил больше не возвращаться к этому вопросу.

Но заметками пастора заинтересовался Клоссиус после своего возвращения из Москвы.

Однако Дабелов не мог ему ничего предложить, кроме снятой со списка копии. Он давно отослал тетрадь обратно в Пярну вместе со всей папкой.

Клоссиус не скрывал своего возмущения: отослать назад список, пусть далеко не полный, но содержащий перечень сокровищ библиотеки Ивана Грозного! Черновик никому из русских не известного каталога, составленного на немецком языке видевшим эти сокровища иностранцем! Каталог именно тех ценнейших, считавшихся навсегда пропавшими латинских и греческих рукописей, которые он, Вальтер Клоссиус, уже столько лет безрезультатно разыскивал в книгохранилищах Европы! Как можно было выпустить из рук такой важный документ!

Теперь, когда копия этого драгоценного списка была в его руках и он прочел названия поразивших Максима Грека и Веттермана книжных сокровищ, Клоссиус спрашивал себя: стоит ли приниматься за труд об иноязычных рукописях в России, пока не выяснена судьба их главного хранилища? Ведь если бы удалось найти хотя бы часть этих сокровищ и дать их научное описание, его работа приобрела бы совсем иную ценность. Даже в таком жалком виде набросанный неровным почерком Дабелова неполный перечень исчезнувших творений знаменитейших мужей древности нельзя было читать без волнения.

«Список» или, скорее, справка, составленная неизвестным автором, начиналась словами:

*Сколько у царя рукописей с Востока; таковых было всего до 800, которые частью он купил, частью получил в дар.*

Восемьсот древних манускриптов! В библиотеке французского короля Карла IX греческих рукописей было в три раза меньше. Правда, мать этого короля, знаменитая Екатерина Медичи, имела свое большое собрание, насчитывавшее столько же древних рукописей. Но они уже были известны ученым.

*Большая часть суть греческие; но также много и латинских,*

– говорилось в следующей строке. Наиболее ценные рукописи были тут же названы.

Из латинских автор указывал:

*Ливиевы истории, которые я должен был перевести.*

Эти слова бросили Клоссиуса в жар. Список открывался именем одного из величайших историков древности, жившего в эпоху императора Августа, автора грандиозного труда о

Римской империи. Этот труд состоял из ста сорока двух томов. Сохранилось же всего тридцать пять. Все остальные считались утраченными. Содержание их было известно только в общих чертах по произведениям более поздних авторов.

Следующая строка давала повод для еще более волнующих предположений:

*Цицеронова книга Де республика и восемь книг Историарум.*

Знаменитейший оратор и государственный деятель древности Марк Туллий Цицерон часто упоминал в своих речах и сочинениях о выдающихся лицах и событиях. В специальном исследовании «Де республика» («О государстве») он высказал свои взгляды на устройство аристократической республики – государства собственников и рабовладельцев. Сочинение это – целых шесть томов – считалось навсегда утраченным, но в начале XIX века библиотекарь Ватикана Анджело Май неожиданно обнаружил его текст на другой рукописи – на так называемом палимпсесте. Слово это греческого происхождения и буквально означает: «соскабливаю (стираю) написанное». Книги в древности писались на пергамене, выделявшемся из кожи животных и ценившемся очень дорого. Кожи одного теленка хватало, например, всего на восемь – десять листов выделяемого из него пергамена. Поэтому старые тексты часто стирали с пергамена губкой, а в эпоху сумасбродного римского императора Калигулы на поэтических состязаниях сочинителей даже заставляли слизывать неудачные произведения языком. Позже ненужный текст соскабливали пемзой или ножом или покрывали обесцвечивающей смесью из молока, тертого сыра и необожженной извести. Тогда на использованном листе можно было опять писать. Масса ценнейших для историков сведений из-за этого погибла! Но чернила в древности отличались большой стойкостью и глубоко въедались в пергамен. Под воздействием воздуха или химических средств буквы снова оживали, и старый текст иногда удавалось восстановить.

Библиотекарь Ватикана иезуит Май, обрабатывая химическими средствами богословское сочинение о псалмах «блаженного» Августина, воскресил часть написанного раньше на том же пергамене исследования Цицерона «О государстве».

Но, быть может, Иван Грозный был обладателем полного текста этого исследования? В найденном Дабеловым списке упоминались, кроме того, восемь книг не дошедшего до нас сочинения Цицерона – «Историарум».

Клоссиус впоследствии писал, что находка хотя бы одного этого восьмитомника была бы для мировой науки еще более крупным событием, чем частичное восстановление текста «О государстве» ватиканским библиотекарем Май.

Далее в списке значились:

*Светониевы истории о царях, также мною переведенные.*

Тут, конечно, подразумевались «Двенадцать биографий цезарей» Гая Светония Транквилла, слывшего собирателем дворцовых сплетен. Иван Грозный, видимо, захотел познакомиться с содержанием этой книги и поэтому приказал перевести ее одной из первых. В Париже Клоссиус видел лучший из сохранившихся списков «Истории» Светония, но в нем был большой пропуск в самом начале. Имелся ли этот пропуск и в московском экземпляре? Клоссиуса не мог не интересовать такой вопрос.

*Тацитовы истории.*

Из двенадцати томов этого сочинения знаменитейшего римского историка Публия Корнелия Тацита уцелели только первые четыре и часть пятого, охватывавшие лишь два года после падения Нерона. Какой же период Римской империи отражали тома, находившиеся в библиотеке Ивана Грозного? К досаде Клоссиуса, пастор не догадался это отметить.

*Вергилия Энеида и Итх...*

Знаменитая поэма Вергилия дошла до нас во всей своей античной красе. Но тут еще стояло некое таинственное «Итх» – начальные буквы какого-то другого неизвестного сочинения крупнейшего поэта эпохи императора Августа. Может быть, «Итхифалеика»? Произведение под таким названием приписывалось Вергилию. Как важно было бы найти хотя бы одну его копию. Такая находка устранила бы все сомнения.

### *Оратории и поэмы Кальвуса.*

Современные справочники упоминают о поэте Кае Лицинии Кальвусе, сопернике Цицерона в ораторском искусстве. Но они молчат об его произведениях потому, что о них до сих пор не было никаких сведений. Исследование его поэм, хранившихся в библиотеке Ивана Грозного, возможно, показало бы, что Кальвус был не только талантливым оратором, но и поэтом.

### *Юстинианов кодекс конституций и собрание новелл.*

Как специалист по римскому праву, Клоссиус, конечно, был знаком со сводом основных законов – конституций Восточной Римской империи, – изданным в VI веке при императоре Юстиниане. Но рядом с этим сборником в списке Дабелова упоминалось еще «собрание новелл». Юстиниан не был писателем-новеллистом. Вероятно, это были еще более ранние конституции его предшественников, известные под названием «Феодосиевых новелл». Этот сборник, конечно, тоже заинтересовал Клоссиуса, так как первый официальный свод указов римских императоров – «Кодекс Феодосия» полностью не дошел до наших дней.

*Сии манускрипты писаны на тонком пергамене и имеют золотые переплеты.*

*Мне сказывал также царь, что они достались ему от самого императора и что он желает иметь перевод оных, чего, однако, я не был в состоянии сделать.*

Слова «от самого императора» означали, что речь идет о последнем византийском императоре Константине Палеологе, не сумевшем удержать накопленные его предками книжные сокровища. Иван Грозный, очевидно, знал им цену, если он так настойчиво требовал «перевода оных». Но, если царь говорил, что эти рукописи в золотых переплетах были присланы самим Константином XI, следует ли отсюда, что остальные попали в Москву другим путем?..

Вряд ли составитель списка имел возможность познакомиться со всеми книгами, имевшимися в библиотеке Ивана Грозного, и тщательно исследовать их тексты. А вдруг под этими текстами обнаружились бы еще более древние, совсем неизвестные ученым или знакомые им по названиям или коротким отрывкам? Клоссиус уж постарался бы вернуть их к жизни. Но только не дубильной кислотой! Он не завидовал славе великого библиотекаря Ватикана Анджело Май, воспетого поэтами и даже возведенного в сан кардинала, но впоследствии заслужившего далеко не лестное прозвище «могильщика древностей». Подвергнутые им химической обработке пергамены почернели, а древние тексты навсегда угасли, даже раньше, чем он успел полностью расшифровать все непонятные места.

Не менее ста двадцати тысяч древнегреческих книг погибло при взятии турками Константинополя – столицы возникшего на развалинах Римской империи Византийского государства.

Ходили слухи, что наиболее ценные произведения древнегреческих авторов все же уцелели и попали в личную библиотеку султана. Но попытки некоторых иностранцев проникнуть в султанское книгохранилище и удостовериться в этом ни к чему не привели.

Еще в 1778 году в Египте арабы предложили одному европейцу приобрести пятьдесят свертков древних папирусов, покрытых греческими письменами, но он согласился взять только один. Раздосадованные продавцы бросили остальные в костер, и все они сгорели, распространяя ароматный дым. Купленный же европейцем папирус был приобретен кардиналом Борджиа, обнаружившим в нем ценные для историков сведения. Но никто в то время еще не догадывался, что таких папирусов в Египте имеются тысячи и что их надо искать в могилах, точнее в картонных коробках, служивших гробами мумиям. Эти картонажи делались из склеенных между собой папирусов. Когда их отделили один от другого, оказалось, что они покрыты древнейшими надписями.

Так были найдены неизвестные тексты из сочинений величайших писателей древности: Гомера, Платона, Еврипида.

Многим из этих рукописей было больше двух тысяч лет. На папирусах же был написан считавшийся утраченным трактат великого греческого ученого Аристотеля об афинской конституции из его знаменитого сочинения «Политии», посвященного государственному

строю Афин и соседних варварских стран. Трактат этот содержал такое количество новых сведений, что после его находки пришлось переделать все учебники. Из ста пятидесяти восьми трактатов Аристотеля, составлявших «Политии», только этот один сохранился полностью, от остальных уцелели лишь жалкие обрывки.

Интереснейшие документы были обнаружены и на другом кладбище, также расположенном на берегу Нила, в мумиях священных крокодилов. Их высохшие трупы тоже оказались завернутыми в папирусы. Некоторые крупные крокодилы, достигавшие 13 футов длины, обертывались в пять слоев папирусов, склеенных из рукописей. Даже крохотные крокодилы, очевидно вылупившиеся из яйца незадолго до смерти, были завернуты в саваны из стихов Гомера!

Но все эти открытия были сделаны во второй половине прошлого века, уже после смерти Клоссиуса. Вот почему увлеченный поисками исчезнувших древних рукописей ученый так обрадовался, прочтя в первых строках дабеловского списка: «Большая часть суть греческие». На обороте были перечислены и важнейшие из них.

*Греческие рукописи, которые я видел, были Полибиевы истории,* – отмечал неведомый пастор.

Вторая половина списка открывалась названием произведения знаменитого греческого историка Полибия. Сын стратега и сам военачальник, он был участником кровопролитных войн с римлянами, закончившихся поражением его родины. Прожив после этого шестнадцать лет в Риме, куда он был сослан как заложник, образованный и вдумчивый грек написал историю возвышения врагов своей отчизны – сорок томов, из которых уцелело полностью всего лишь пять. Из остальных же удалось найти и восстановить только восемнадцать отрывков. К сожалению, пастор опять не указал, какие из этих сорока томов обнаружены в библиотеке Ивана Грозного. А ведь это могли быть как раз те тома, которых не было в европейских библиотеках!

*Аристофановы комедии.*

Точное число комедий, написанных гениальным древнегреческим драматургом Аристофаном, до сих пор не установлено. Но и те, которые нам известны, неравноценны. Составитель списка, будучи пастором, вряд ли интересовался античными комедиями и поэтому не стал их перечислять.

*Пиндаровы стихотворения.*

Уж не те ли самые, которые Клоссиус видел в знаменитой Амброзианской библиотеке в Милане, когда нашел там отрывки из «Кодекса Феодосия»? Нет, там были не стихи, а песни, и притом рукопись была с изъянами, гораздо хуже ватиканской. Что же это за стихи? Новый список тех же песен или еще никому не известных? Клоссиус, конечно, не мог знать, что еще одна рукопись неизвестных стихов Пиндара будет найдена на границе Ливийской пустыни, в Оксиринхе, при раскопках в 1905 году.

Из восьмисот рукописей, хранившихся в библиотеке Ивана Грозного, в каталоге неизвестного пастора было названо всего несколько десятков, но и по ним можно было составить представление об ее огромной ценности. Находка их позволила бы восполнить огромные пробелы в наших знаниях об эпохах расцвета великих древних культур Греции и Рима.

«Вот список творений, которые, во всяком случае, если даже и отнести иное к неточности и неосведомленности автора, должен возбудить величайшие ожидания», – записал Клоссиус в своем черновом блокноте, где он обычно накапливал материал для будущих статей.

«Как выглядел подлинник этого списка?» – продолжал настойчиво допытываться Клоссиус у Дабелова. Уступая его настойчивым расспросам, шверинский юрист мог только повторить, что рукопись эта состояла всего из двух небольших страниц и была написана на пожелтевшей бумаге на редкость неразборчивым почерком. Чернила сильно выпцвели. Дабелов не мог восстановить в памяти имя автора списка, так как он почему-то забыл его записать. Это внушало подозрения: не был ли этот анонимный список фальшивкой? Юрист



помнил только, что подпись была не Веттермана. Иначе это и не могло быть. Ведь Веттерман отверг предложение царских дьяков заняться переводом иноязычных книг.

Но тогда кто же?

Клоссиус перебирал в памяти знакомые ему по «Хронике Ниенштедта» и другим документам имена немецких пасторов, которых мог видеть Иван Грозный. В Дерпте в то время были всего две немецкие церкви, обслуживавшиеся тремя пасторами. Имена их удалось установить. Но как узнать, для кого из них мог еще раз открыть тайники своего драгоценного книгохранилища Иван Грозный?

Только подлинник найденного Дабеловым и отосланного им назад в Пярну краткого каталога книжных сокровищ мог дать точный ответ на этот вопрос. И Клоссиус поспешил съездить в этот маленький приморский городок. Но в пярнском архиве документа не оказалось.

Престарелый архивариус не мог даже вспомнить, куда девалась эта злополучная тетрадь с дабеловской пометкой на обложке: «Коллектанеа пернавиэнсиа № 4». Он утверждал, что не видел этого списка и двадцать лет назад, когда вместе с главным смотрителем в последний раз составлял опись всего архива. Поиски злополучного списка в других местах также оказались напрасными.

Потеряв надежду увидеть почерк пастора собственными глазами, Клоссиус все же не усомнился в подлинности найденного Дабеловым каталога и в необходимости продолжать поиски всех перечисленных в нем уникалов.

Если еще знаменитый русский историк Карамзин, не подозревавший о «списке Дабелова», а поверивший только впечатлениям Максима Грека и Веттермана, дошедшим до него из вторых рук, писал о существовании библиотеки Ивана Грозного, как о неоспоримом факте, то теперь, когда «содержимое ее приведено в известность и она стала почти осязаемой реальностью», эти рукописи следовало найти во что бы то ни стало. Таков был вывод, сделанный профессором Клоссиусом и ставший для него программой действия.

В течение нескольких лет ученый продолжал поиски остатков сокровищ Ивана Грозного во многих книгохранилищах вплоть до библиотеки Вознесенского монастыря в бывшей Александровой слободе, куда царь, как известно, переехал в 1565 году, после учреждения опричнины.

По просьбе Клоссиуса иеромонах Афанасий навел справки у игуменьи этого монастыря и получил неутешительный ответ, что в библиотеке числится только два десятка рукописей позднейшего происхождения и вообще в монастыре не осталось никаких следов пребывания в нем Ивана Грозного.

Только через семь лет после своего приезда в Россию, убедившись в бесплодности дальнейших поисков, Клоссиус решился, наконец, признать, что книгохранилище Ивана Грозного «не смогло спастись от губительных опустошений, испытанных Россией в прежние времена. Оно исчезло, не оставив после себя никаких следов, и все старания получить какие-нибудь сведения о нем остались тщетными»...

«Если библиотека и была взята царем в слободу, – с горечью писал Клоссиус, – то она погибла во время смятений при Лжедмитриях или, может быть, при страшном пожаре Москвы в 1626 году».

## **ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛЕЙДЕНСКОГО МАНУСКРИПТА**

Неутешительные выводы Клоссиуса о бесполезности дальнейших поисков библиотеки Ивана Грозного казались очень убедительными. Неумолимый охотник за рукописями пришел к этим выводам после тщательного изучения всех доступных ему сведений о ней.

Интерес к исчезнувшим книжным сокровищам остыл и, быть может, загдох бы совсем. Но через полстолетия он возник снова благодаря случайному сопоставлению фактов, сделанному другим, не менее предприимчивым иностранным ученым, тоже немцем.

Живя на полвека позже Клоссиуса, филолог Эдуард Тремер не был даже знаком с его выводами, опубликованными в малораспространенном дерптском литературном ежегоднике и в давно ставшем библиографической редкостью петербургском журнале. Этот ученый никогда не бывал в России и ничего не слышал о библиотеке Ивана Грозного.

В 1890 году приват-доцент Эдуард Тремер читал в Страсбургском университете курс лекций об «Илиаде» и гимнах Гомера. Готовясь к своим лекциям, он заинтересовался вопросом о древних рукописных текстах этих гимнов. Самым лучшим и наиболее полным из всех считался текст так называемого «Лейденского манускрипта». Происхождение этой «драгоценной рукописи» (так обычно ее называл сам Тремер) было окружено ореолом таинственности.

Написанная, судя по почерку, приблизительно в XIV веке, но довольно хорошо сохранившаяся рукопись гимнов Гомера и несколько песен из его «Илиады» попали в библиотеку Лейденского университета не из солнечной Греции, а из... утонувшей в снежных сугробах Москвы, где она была открыта в 1777 году известным немецким филологом и палеографом Христианом Фридрихом Маттеи.

Еще задолго до Клоссиуса Маттеи изучал хранившиеся в московских синодальных библиотеках латинские и греческие рукописи и по предложению мецената князя Потемкина составил их подробное научное описание. О своей ценной находке он еще тогда поспешил оповестить европейский ученый мир. Копию с рукописи он послал голландскому ученому Рункену. При этом, однако, Маттеи проявил странную для палеографа забывчивость: посылая копию, он не упомянул, где именно находится оригинал.

Предполагая, что Маттеи нашел эту рукопись в бывшей Московской патриаршей библиотеке, славившейся богатым собранием древнегреческих текстов, Рункен издал в 1780 году перевод полученного от Маттеи Гомерова «гимна Церере», сопроводив его примечанием, что оригинал принадлежит именно этой библиотеке в Москве.

Вскоре после этого голландский ученый получил опять письмо из Москвы. Маттеи считал своим долгом уведомить Рункена, что последний допустил ошибку. Рукопись с гимнами Гомера, разъяснял Маттеи, никогда не принадлежала библиотеке московского патриарха. В этом письме Маттеи довольно подробно рассказывал о том, с каким трудом, после долгих уговоров, он приобрел эту рукопись у одного частного коллекционера, коллежского асессора Карташова, которому она была подарена его тестем протопресвитером<sup>3</sup> Успенского собора в Кремле. Но, добавлял Маттеи, в Москву она попала, по всей вероятности, из Греции или из Афонского монастыря. Узнав, не без некоторого удивления, что владельцем этой ценной рукописи оказался сам Маттеи, Рункен убедил его уступить свое сокровище за 25 золотых дукатов Лейденской библиотеке.

Эдуард Тремер удовлетворился бы, вероятно, этими сведениями, если бы не сопоставил их с одним любопытным фактом, обнаруженным им при чтении лондонского издания гимнов Гомера, выпущенного в 1850 году немецким филологом Христианом-Готтлибом Гейне, также переписывавшимся с Маттеи. В одном из примечаний к гимнам Гомера Гейне, ссылаясь на Маттеи, сообщал, что в Главном архиве министерства иностранных дел в Москве имеются еще две греческие рукописи XIV века с текстом «Илиады». Одна из них начинается первой песней и кончается отрывком 9-й песни на 434-м стихе.

Но в Лейденской рукописи, к радости Тремера, отрывок из «Илиады» как раз начинался с 435-го стиха 9-й песни.

Не был ли находящийся в Москве список «Илиады» началом этой рукописи? Но почему они разъединились и очутились в разных местах?

В поисках ответа на этот вопрос профессор Тремер раскрыл нумизматический словарь Бутковского. Наряду с подробными справками о старинных монетах и кладах он нашел там небольшую заметку и о Лейденской рукописи.

3 Протопресвитер – старший священник в соборе.

Ссылаясь на сведения, полученные им от самого директора Московского главного архива министерства иностранных дел князя М. А. Оболенского, составитель справочника утверждал, что Лейденская рукопись находилась раньше в библиотеке великой княгини Софьи Палеолог, родной бабки Ивана Грозного.

Там же сообщалось, как о достоверном факте, что для этой библиотеки при Иване Грозном в 1565 году был составлен каталог дерптским пастером Веттерманом.

Каким образом могли попасть гимны Гомера в Московский архив министерства иностранных дел? Вот что интересовало теперь Тремера. Он узнал, что именно в этом архиве хранятся все уцелевшие дела созданного еще при Иване Грозном Посольского приказа.

Если рукопись «Илиады» и гимнов Гомера попала в архив министерства из библиотеки Ивана Грозного – значит, там же могут находиться и другие, не менее ценные рукописи из этого богатейшего книгохранилища, решил Тремер.

В 1891 году страсбургский филолог предпринял путешествие в Россию.

В Петербурге, куда Тремер отправился сначала за разрешением на проведение намеченных им поисков, он узнал о бесплодной попытке разыскать библиотеку Ивана Грозного, предпринятой его соотечественником, профессором дерптского университета Клоссиусом. Болезнь заставила Клоссиуса вернуться на родину, где он вскоре и умер, так и не закончив задуманного им трехтомного труда о русских книжных архивах. Единственное книгохранилище, о котором он успел кое-что написать, была не найденная им библиотека Ивана Грозного.

Профессор Тремер с большим интересом ознакомился со статьей своего коллеги, подводившей итоги его неудачам.

Но стоило ли предпринимать такое далекое путешествие в чужую страну только для того, чтобы узнать о безотрадных выводах своего соотечественника?

И Тремер, молодой ученый с практическим складом ума, решил не отступать.

Ведь Клоссиус, рассуждал он, подбадривая себя, изучал главным образом рукописи церковных и монастырских библиотек. Древних текстов, хранящихся в Московском главном архиве министерства иностранных дел, он не видел. Он не держал в руках ни одной рукописи или старопечатной книги, о которой можно было бы наверняка утверждать, что она была в библиотеке Ивана Грозного. Другое дело, он, Тремер, изучавший гимны Гомера по рукописи, находившейся раньше в этой библиотеке, видевший эту рукопись собственными глазами. Клоссиус даже не подозревал, что такая рукопись могла храниться в московском архиве.

С этого архива Тремер и решил начать свои поиски. Он был глубоко убежден, что оказавшаяся в его руках тоненькая нить – уточнение «биографии» Лейденской рукописи – приведет его к выяснению судьбы всей библиотеки Ивана Грозного.

Познакомившись с приведенным в статье Клоссиуса «списком Дабелова», Тремер ясно представил себе, какой успех ждет его, если он действительно обнаружит казавшиеся навсегда утраченными сочинения Цицерона, Тацита, Полибия, Кая Лициния Кальвуса!.. Какой-то немецкий пастор держал их в руках и даже переводил!..

В Петербурге Тремеру теперь нечего было делать.

Тоненькая ниточка, за один конец которой ухватился ученый, вела его прямо в Москву, туда, где находилось начало Лейденской рукописи.

## **ЗНАТОК ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ТЕКСТОВ**

Приступая к поискам следов библиотеки Ивана Грозного в Московском главном архиве министерства иностранных дел, Тремер захотел прежде всего выяснить, откуда бывший управляющий этим архивом, покойный князь Оболенский, получил сведения о Лейденской рукописи.

Результат был неожиданным. Источником справки, заставившей Тремера предпринять такое далекое путешествие, оказалась все та же статья его незадачливого коллеги, профессора Клоссиуса.

Познакомившись раньше Тремера с приведенным в этой статье списком Дабелова, князь Оболенский сделал поспешный вывод, что и гимны Гомера должны были находиться в том же книгохранилище. Сведения о том, что составителем каталога библиотеки Грозного был Веттерман, он почерпнул в «Истории государства Российского» Карамзина, который, в свою очередь, взял их из сочинений немецких историков. Первоисточником же этих сведений оказалась все та же «Хроника Ниенштедта».

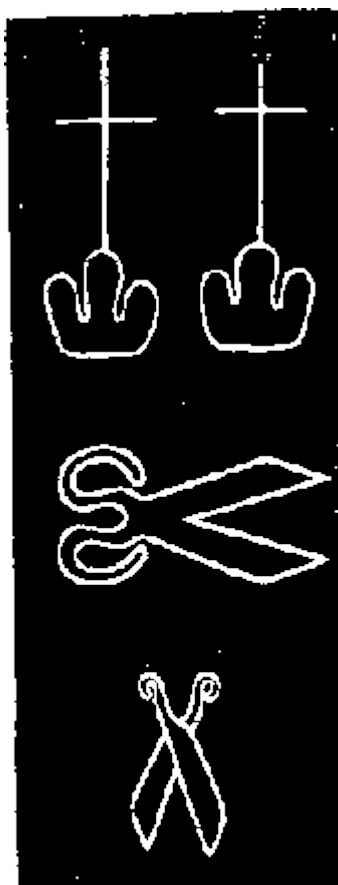
Как и Клоссиус, Эдуард Тремер с «высочайшего соизволения» получил доступ в старинный особняк с дощечкой на дверях «Московский главный архив министерства иностранных дел».

«С великой радостью и удивлением, – признавался он впоследствии, – нашел я здесь значительную библиотеку греческих и латинских рукописей»... Это было то самое собрание древних документов, которое Клоссиусу не удалось осмотреть, несмотря на полученное им разрешение: тогдашний управляющий архивом сенатор А. Ф. Малиновский держал это собрание запечатанным.

Но, как только Тремер, вооружившись лупой, приступил к изучению древних рукописей, ему пришлось сделать печальный вывод: большинство текстов относилось к XVII столетию, следовательно, они не могли находиться в библиотеке Ивана Грозного, умершего в конце XVI века (в 1584 году). Было несколько рукописей и более древних, но и они, как затем выяснилось, лишь в XVII веке попали в этот архив.

Здесь хранились старинные рукописи на двадцати четырех языках. Среди них под порядковым номером 797/6 значился в описи и текст «Илиады», составлявший когда-то одно целое с Лейденской рукописью.

Тремер сразу же узнал «свою драгоценность». Такой же формат и почерк, чернила слегка порыжели, как и в той, которую он видел в Лейдене. Такая же плотная бумага. Тремер стал рассматривать ее на свет. На некоторых листах, как и в Лейденской рукописи, просвечивали водяные знаки в форме ножниц, на других – в виде короны или шапки. Стихи, так же, как и в той рукописи, были расположены двумя столбцами по 13 строк в каждом. На 434-м стихе рукопись обрывалась. Если она раньше составляла одно целое с Лейденской, то когда же и при каких обстоятельствах они разъединились?



**Эти водяные знаки,  
обнаруженные на  
листах Лейденской  
рукописи,  
помогли выявить  
ее происхождение.**

За несколько веков рукопись, конечно, успела побывать во многих руках. Во всяком случае, можно было установить без особых затруднений, что она побывала в руках все того же знатока древнегреческих текстов немецкого ученого Христиана Фридриха Маттеи.

Заглянув в составленный Маттеи в 1780 году, по поручению князя Потемкина, каталог греческих рукописей бывшей патриаршей библиотеки, Тремер нашел в нем сведения и о греческих рукописях московского архива, с которыми Маттеи, видимо, имел случай познакомиться. Из всех греческих рукописей архива Маттеи счел нужным особо отметить только три, в том числе «бумажную рукопись Гомера».

Научный сотрудник архива С. А. Белокуров, к которому Тремер обратился за справкой, высказал предположение, что Маттеи просматривал «бумажную рукопись Гомера» не позже 1780 года, когда был выпущен тот самый каталог, в котором он упоминал об этой рукописи. Значит, в то время она находилась в архиве и, по-видимому, еще не была разделена надвое.

Не была ли часть рукописи изъята именно во время этого просмотра? И как раз та часть, которая через несколько лет оказалась собственностью Маттеи? Вот какой напрашивался щекотливый вопрос!

Профессор Тремер, осведомленный о безупречной репутации знаменитого эллиниста, не допускал, конечно, такой оскорбительной мысли. Но тут ему пришлось столкнуться с новыми фактами, установленными опытным архивным следопытом С. А. Белокуровым. После встречи с Тремером Белокуров тоже заинтересовался судьбой ценной греческой рукописи. Он решил во что бы то ни стало выяснить, каким образом она раздвоилась и как могла потом одна ее половина таинственно исчезнуть из московского архива и очутиться через некоторое время на родине изучавшего ее иностранного ученого?

Белокуров решил прежде всего навести кое-какие справки в канцелярии Московского университета, по приглашению которого Маттеи еще в 1772 году впервые приехал в Россию. Но архив этой канцелярии сгорел вместе с университетской библиотекой во время пожара Москвы при нашествии французов в 1812 году.

По случайно уцелевшим в университете документам удалось установить, что указом Екатерины II от 28 апреля 1782 года ординарному профессору<sup>4</sup> Московского университета Христиану Фридриху Маттеи было присвоено звание коллежского асессора. В 1784 году он стал уже надворным советником, но в том же году неожиданно уволился «по нездоровью своему и семейным нуждам» и вернулся на родину.

Когда же князь Потемкин через русского посла при саксонском дворе предложил ученому снова приехать в Россию для занятия кафедры древней филологии в создаваемом в Екатеринославе университете, Маттеи опять сослался на недомогание, не помешавшее ему, впрочем, исполнять хлопотливую должность ректора известной Мейссенской провинциальной школы, а также преподавать в Виттенбергском университете. Но в 1804 году эллинист после двадцатилетнего перерыва все же возвратился в Москву, где в 1811 году и умер. Могила его и сейчас выделяется на бывшем Немецком кладбище своим огромным гранитным памятником.

«Христиан Фридрих Маттеи, – прочел Белокуров в «Словаре профессоров и преподавателей Московского университета», – был истинно ученый и просвещенный муж, пользовавшийся величайшим уважением не только при Московском университете и вообще в России, но и во всем ученом европейском мире. Он обладал обширными и разносторонними познаниями по различным отраслям наук».

Но Белокурова интересовала не столько служебная деятельность маститого ученого, сколько та, которая протекала вне стен университета. О ней тоже не забыл упомянуть словоохотливый биограф.

«Два наших книгохранилища, библиотеки святейшего синода и синодальной типографии, представляли обильный и драгоценный материал для искусного деятеля на поприще классической древности», – сообщал автор этой большой биографической статьи.

Двенадцать лет подряд занимался Маттеи описанием рукописей двух московских синодальных библиотек и в течение этого времени издавал свои труды, неизменно посвящая их какому-нибудь влиятельному лицу: князю Потемкину, самой императрице, а позже – ее сыновьям и внукам.

Так, Александру I он сделал пять «всеподданнейших подношений», за которые каждый раз получал от царя бриллиантовый перстень. Кроме того, ему была выдана еще тысяча талеров из «кабинета его величества».

В списке древних рукописей, ставших известными научному миру благодаря Маттеи, был упомянут – это не ускользнуло от внимания Белокурова – и не находившийся в патриаршей библиотеке Гомеров «Гимн Деметре».

Все, что узнал Белокуров о Маттеи из официальных источников, сводилось к тому, что «он был одним из тех знаменитых иностранцев, которые вполне оправдали свое призвание и сделались достойными уважения и благодарности при жизни и после смерти».

Такой бескорыстный служитель науки, конечно, не мог похитить драгоценную рукопись и продать ее за границу. Но Белокуров привык верить только фактам и поэтому решил собрать исчерпывающие сведения о вероятном похитителе рукописи, установив прежде всего, кто такой коллежский асессор Карташов.

Белокуров выяснил, что чиновник с такой фамилией никогда не служил в Главном архиве министерства иностранных дел. Белокуров просмотрел сведения, представленные московскими домовладельцами вплоть до 1793 года, и нашел одного майора, одного купца и

<sup>4</sup> О р д и н а р н ы й п р о ф е с с о р – штатный профессор университета, входящий в его Большой академический совет. Из ординарных профессоров выбираются ректор и деканы факультетов.

одного дворового человека, носивших фамилию Карташов. Коллежский же ассессор с такой фамилией нигде не числился.

Маттеи писал Рункену, что господин Карташов (имени и отчества его он почему-то не указал) был родственником профессора красноречия в Московском университете и зятем протопресвитера Успенского собора. Белокуров проверил и эти сведения. Выяснилось, что в то время обучал студентов ораторскому искусству профессор А. А. Барсов; никакой родственной связи его с «господином Карташовым» установить не удалось. Оставался открытым также вопрос, могла ли эта таинственная личность быть зятем протопресвитера Успенского собора. Белокуров смог только узнать, что должность протопресвитера занимал то время брат московского митрополита Александр Левшин.

Зная существующие в архиве порядки, Белокуров пришел к выводу что протопресвитер не мог завладеть рукописью уже потому, что даже библейские тексты хранились в то время в запечатанных сургучной печатью шкафах.

Все это заставляло предположить, что названный ученым-эллинистом владелец рукописи был лицом явно вымышленным. Но такое предположение еще не могло служить основанием для того чтобы заподозрить самого Маттеи.

Неожиданно на помощь Белокурову пришли авторитетные свидетели, хотя и давно вычеркнутые из списков живых.

## **НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ УЛИКИ**

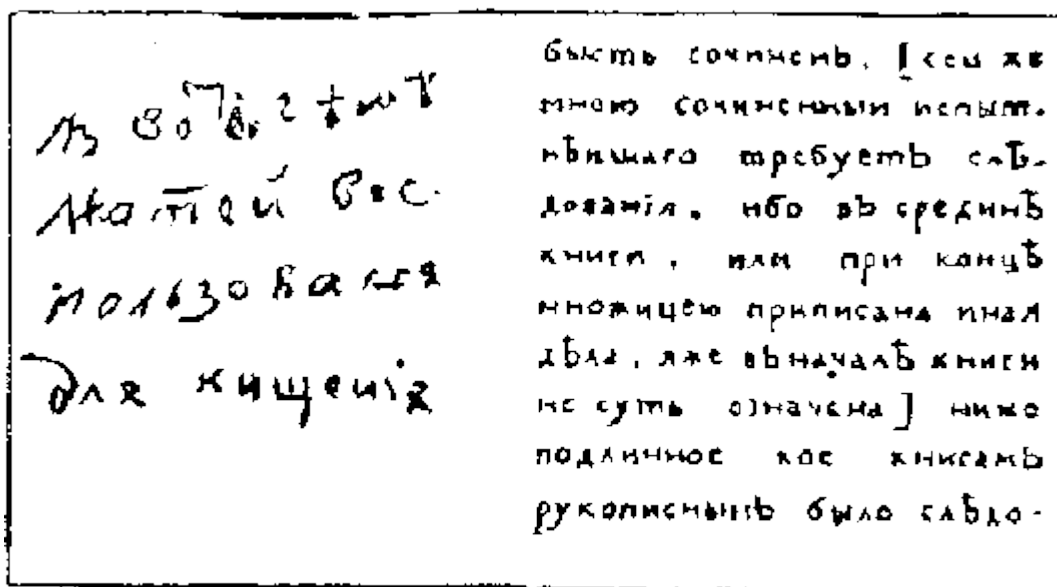
Неизвестно какими путями попавший в Россию уроженец острова Кефалонии Афанасий Скиада был зачислен сначала «аудитором» (делопроизводителем) в один из конных полков. Но Петр I вскоре определил его профессором греческого языка в Московское типографское училище.

Скромный кефалониец на этом, по всей вероятности, и закончил бы свою карьеру, если бы приехавший в 1722 году в Москву голштинский герцог Христиан Фридрих Август не захотел осмотреть библиотеку московского патриарха.

Скиаде было предложено срочно составить для высокого лица список хранящихся в этой библиотеке древнегреческих рукописей.

Недавний письмоводитель кавалерийского полка сначала растерялся — ведь многие рукописи не имели даты! Он подготовил для герцога краткий список только тех рукописей, «в коих означено время письма».

Во второй каталог Скиада включил триста четыре рукописи, «неизвестно когда писанные», которым сам он, по приметам, «означил век». И, наконец, ему пришлось составить еще один каталог, в который вошли рукописи, числившиеся в патриаршей типографской библиотеке. Все эти каталоги он соединил вместе и, отпечатав в типографии, посвятил «своему благодетелю» Петру I.



«Н. В. Вот чем Матей воспользовался для хищения. Эта пометка по полям каталога Скиады подтверждала подозрения Белокурова.

Один экземпляр этого каталога, очень скоро ставшего библиографической редкостью, имелся и в библиотеке Главного архива министерства иностранных дел.

Белокуров достал его с книжной полки и стал перелистывать. Он сразу же заметил, что несколько строчек предисловия, написанного составителем, были обведены красным карандашом, а на поле виднелась какая-то пометка.

«Сия предражайшая библиотека великороссийская, – рассуждал Скиада, – всегда бысть заключена, и положенные в ней книги иностранным не сведомы быша, каталог о них ни един бысть сочинен...» Далее следовали строчки, обведенные красным карандашом, в которых говорилось о несовершенстве составленного Скиадой каталога, умалчивающего о том, что «в середине книги или при конце множицею прописана иная дела, яже в начале книги не суть означена»...

Иными словами, в середине и в конце некоторых рукописей встречался текст, не отраженный в каталоге.

Против этих строк тем же красным карандашом, довольно четким, но не современным почерком, показавшимся Белокурову знакомым, было написано:

«Вот чем Матей воспользовался для хищения».

Кто мог это написать? И о каком именно хищении, прикрытом пробелом в каталоге, могла здесь идти речь?

Во всяком случае, уже одно то, что какое-то «хищение» связывалось с именем известного эллиниста, побуждало продолжать поиски. Белокуров решил во что бы то ни стало установить автора пометки, сделанной красным карандашом.

Библиотекой архива со дня его основания пользовались все его сотрудники от управляющего, имевшего обычно звание «академика», до простого «актуариуса». <sup>5</sup> Но, конечно, далеко не каждый разрешил бы себе делать пометки на полях редких книг. Такое нарушение строгих архивных правил могла себе позволить только очень высокая персона. Красным карандашом также пользовались не все служащие, а главным образом высокое начальство и прежде всего управляющие архивом, резолюции и замечания которых Белокурову не раз приходилось видеть на разных документах. Вот почему этот почерк и показался ему знакомым.

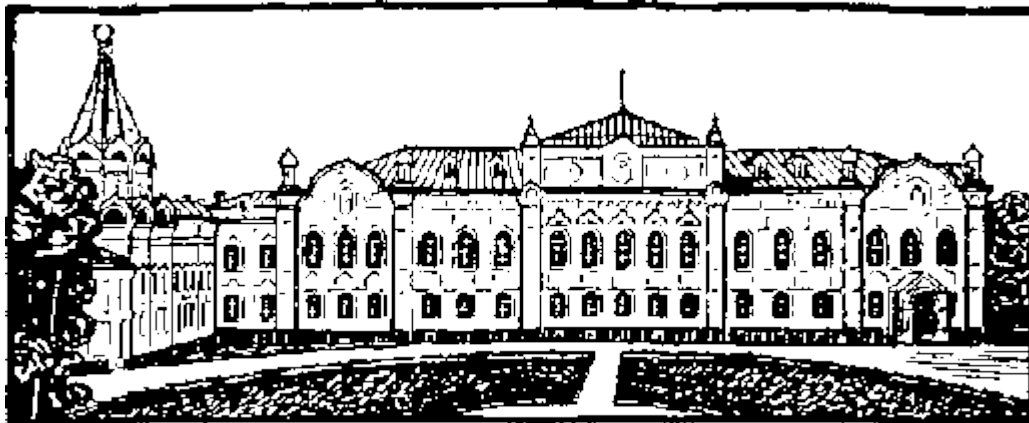
Перебирая имена управляющих архивом со дня его основания, Белокуров пришел к выводу, что автором пометки не мог, конечно, быть самый первый из них, не знавший Маттеи

<sup>5</sup> Актуариус – документов писец, регистратор поступающих в архив



Собакин. Его сменил известный историограф академик Миллер, покровительствовавший Маттеи и предпочитавший, при всей своей приверженности к изучению русской истории, думать и писать по-немецки. Да и почерк Миллера не совпадал с почерком сделанной на рукописи пометки.

Скорее всего это был один из преемников Миллера, ближайший ученик его и помощник Николай Николаевич Бантыш-Каменский, первый настоящий хозяин архива, взявший на строгий учет все его богатства и спасший его от французов в 1812 году. Современником Маттеи был и Алексей Федорович Малиновский, младший брат первого директора Царскосельского лицея, воспитавшего Пушкина. А. Ф. Малиновский начал свою работу еще при Миллере простым актуариусом и прослужил в архиве целых шестьдесят два года, из них двадцать семь в должности управляющего. Про него говорили, что он знал архив как свой кабинет и любил без памяти, считая его как бы «своей колыбелью и могилой».



Здание Московского главного архива министерства иностранных дел.

Почерки этих двух выдающихся архивистов были так схожи, что трудно было решить, кто же из них мог быть автором пометки.

Наконец все сомнения отпали. В одной из бумаг Малиновский сделал именно такую закорючку в букве «щ», какая была в написанном на полях предисловия Скиады слове «хищение». Н. Н. Бантыш-Каменский писал эту букву иначе.

Ну, разумеется, это должен был быть Малиновский! В юные годы он заигрывал с музами, писал и переводил с французского слащаво-сентиментальные пьески и благодаря этому начал приобретать известность в литературных кругах. Но эти литературные опыты он совмещал со службой в архиве, в которой была своя романтика. Исследование и описание древних рукописей постепенно стало его второй, а затем и главной специальностью. Дослужившись до должности управляющего, Малиновский застегнулся на все пуговицы и стал смотреть на посетителей архива как на своих личных врагов. Каждый выданный из архива и опубликованный в печати документ уподоблялся в его глазах обесценившейся бумажной ассигнации. Однако при нем архив не понес никаких потерь, наоборот, обогатился многими ценными рукописями, причем некоторые из них он покупал на свои средства. Именно при нем в архиве были введены такие строгости, что Клоссиус, несмотря на «высочайшее соизволение», так и не смог осмотреть рукописи, лежавшие в запечатанном шкафу. Когда же он пожаловался на это Малиновскому, тот очень любезно послал немецкому ученому список всего, что его интересовало. Но одно дело послать список, другое – допустить к самим рукописям, как это практиковал, например, предшественник Малиновского Миллер, разрешавший Маттеи брать рукописи даже домой.

Не потому ли Малиновский стал таким «цербером», что на примере Маттеи убедился, как опасно доверять некоторым иноземным гостям архивные сокровища? Но почему же он не решился все-таки объявить об этом вслух? Почему не сказал, какую именно рукопись и откуда похитил Маттеи?

У директора архива, очевидно, были какие-то основания не делать этого. С другой стороны, пометка на полях общедоступного каталога говорила о том, что он не очень заботился о сохранении в тайне своей догадки.

Малиновский, кроме должности управляющего архивом, занимал еще пост члена сената по уголовным делам. Не имея веских доказательств, он вряд ли отважился бы бросить Маттеи даже анонимное обвинение. Но он, конечно, заметил, что драгоценная рукопись «Илиады» с гимнами Гомера после «изучения» ее Маттеи уменьшилась вдвое...

То, чего не хватало в пометке Малиновского, Белокуров нашел в другом письменном свидетельстве, оставленном не менее авторитетным лицом.

Этим лицом был крупнейший русский писатель и знаменитый историк конца XVIII – начала XIX столетия, знаток древнерусских рукописей, автор «Истории государства Российского», Николай Михайлович Карамзин.

В 1789 году, еще в самом начале своей литературной деятельности, Карамзин предпринял длительную заграничную поездку. Находясь в Германии, он не упустил случая посетить такой богатый памятниками искусства и культурными ценностями город, каким был в то время Дрезден. Он осмотрел знаменитую Дрезденскую картинную галерею и, конечно, заглянул и в городскую библиотеку, где он прежде всего заинтересовался хранившимися в ней старинными книгами и рукописями.

В одном из писем, передавая свои впечатления от посещения библиотеки, Карамзин сообщил:

«Между греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Еврипидовой трагедии, проданной в библиотеку бывшим московским профессором Маттеи. За этот манускрипт вместе с некоторыми другими взял он с курфюрста около 1500 талеров. Хотел бы я знать, где г. Маттеи достал, свои рукописи?»

Но Карамзин, так же как и Малиновский, не решился публично заклеить обласканного высокими покровителями иностранного ученого. Автор «Истории государства Российского» был прежде всего царедворец и дипломат.

На вопрос Карамзина, где Маттеи взял проданную им Дрезденской библиотеке рукопись, дал ответ небезызвестный в середине прошлого века литературовед Степан Шевырев. В изданной им в 1859 году «Истории русской словесности» было сказано вполне отчетливо, что виденную Карамзиным в Дрездене рукопись Еврипидовой трагедии Маттеи взял из Московской патриаршей библиотеки.

Итак, не только Гомер, но и Еврипид, и не только архивная, но и патриаршая библиотека сделались жертвами Маттеи! Лейденская нить обрывалась. Но вместо нее появилась другая, уводившая исследователей в бывшую библиотеку московского патриарха – одно из самых древних книгохранилищ Москвы.

Оно зародилось еще в конце XVI века, при митрополите Филарете, обладателе ценного собрания из почти пятисот рукописных церковнославянских книг. Разрослась библиотека при фактическом ее основателе – патриархе Никоне.

Именно на эту тему, еще девятнадцатилетним юношей, С. А. Белокуров написал свое первое самостоятельное исследование под названием «Собрание патриархом Никоном рукописей с Востока».

Эта работа привела Белокурова к другой, тесно связанной с ней теме – описанию жизни человека, выполнившего важное поручение патриарха: просвещенный и расторопный старец Арсений Суханов из чужих земель привез для патриаршей библиотеки пятьсот иноязычных старопечатных книг и древних рукописей – почти столько же, сколько их, судя по «списку Дабелова», было в библиотеке Ивана Грозного.

арсенин

Автограф  
старца Арсения.

Большинство рукописей и книг, привезенных Сухановым, кроме, может быть, нескольких десятков, прихваченных им в своем личном багаже, имели один отличительный признак: отбирая их для отсылки в Москву, Суханов обычно писал свое имя «Арсений» на нижнем поле одного из первых листов. Вряд ли кто-нибудь другой из его современников оставил потомству столько автографов! Вот по этим-то пометкам, а в тех случаях, когда первые листы были оторваны по другим признакам, Белокуров сумел через двести с лишним лет разыскать четыреста тридцать три древнегреческие книги из четырехсот девяноста восьми, доставленных Сухановым с Востока.

Казалось бы, можно было удовлетвориться этим великолепным результатом! Не хватало всего какой-нибудь полусотни рукописей. Но неутомимому следопыту этого было мало! «Синодальные библиотеки, – говорил он, – это не бакалейные лавки, в которых некоторую недостачу всегда можно объяснить усушкой или утруской. Куда могли эти рукописи деваться?!»

Перебирая в памяти фамилии людей, которым на протяжении двух веков разрешалось пользоваться архивными богатствами (знатоков древнегреческого языка было не так уж много), Белокуров самостоятельно, не имея еще в руках лейденской ниточки, подошел к вопросу: не мог ли часть этих рукописей присвоить Маттеи? Ведь именно в патриаршей библиотеке в течение двенадцати лет проводил свои научные исследования знаменитый эллинист!

Запрос Белокурова в Дрезденскую библиотеку, где Карамзин видел неизвестно откуда взятую Маттеи рукопись Еврипида, дал неожиданный результат.

## ТОРЖЕСТВО СЛЕДОПЫТА

Даже при поверхностном ознакомлении с любезно присланным Белокурову из Дрездена каталогом нетрудно было догадаться, где находится большинство исчезнувших из Московской патриаршей библиотеки рукописей. Но, чтобы иметь право громко заявить об этом, Белокуров нуждался в некоторых дополнительных справках.

Как раз в это время одному немецкому филологу, Оскару фон Гебгардту, профессору того самого Лейпцигского университета, в котором когда-то преподавал и Маттеи, понадобились сведения о некоторых древних книгах, поступивших в 1690 году в московский Посольский приказ. Посылая иностранному коллеге эти сведения, Белокуров, в свою очередь, обратился к нему с просьбой навести подробные справки о кое-каких греческих рукописях, принадлежащих Дрезденской библиотеке. Добропорядочный саксонец внимательно отнесся к просьбе русского ученого.

Белокуров сообщил Гебгардту приметы некоторых древнегреческих рукописей патриаршей библиотеки, имеющих те или иные изъяны, сохранившихся неполностью, утративших несколько листов. По этим приметам лейпцигский филолог мог установить, не попали ли утраченные части московских рукописей в какую-либо из немецких библиотек.

Искушенный в палеографии профессор Гебгардт предпринял тщательную проверку всех рукописей, приобретенных у Маттеи, и сообщил Белокурову о возникших у него в процессе этой проверки сомнениях и подозрениях.

Превратившись из исследователя в следователя, молодой русский ученый прежде всего внимательно изучил и сличил все каталоги, в составлении которых принимал участие и которыми мог пользоваться пресловутый эллинист.

Изучение и сопоставление описей и каталогов, прослеживание путей, по которым странствовали рукописи на протяжении ряда веков, всегда было любимым занятием московского источниковеда. И Белокуров стал упорно искать те лазейки в описях, которыми мог воспользоваться в преступных целях опытный палеограф Маттеи.

Первое, что он должен был отметить со всей объективностью, – это что общее количество греческих рукописей по сравнению с прежними каталогами отнюдь не уменьшилось.

В патриаршей библиотеке одной из лучших считалась опись 1773 года, составленная тремя церковнослужителями: игуменом Софроном, иеродиаконом Гедеоном и протоиереем Харламовым. Так как никто из них не знал древнегреческого языка, то к описанию греческих текстов был привлечен только что приехавший в Москву Маттеи.

Рукописи были переписаны в алфавитном порядке, разделены по формату – в лист, в четверть и в осьмушку, названия написаны на двух языках: русском и греческом или латинском. Сопоставляя эту опись с другими, Белокуров все же обнаружил, что названия и другие приметы некоторых рукописей не совпадают. Не меняясь по количеству, они не всегда оказывались одинаковыми по содержанию. Объем некоторых рукописей также вызывал сомнения. Но так как в старых каталогах они были описаны очень неточно, характер происшедших с ними изменений трудно было установить.

Не было ли первое описание греческих рукописей составлено после того, как Маттеи успел отделить от них какую-то часть или заменить одни рукописи другими?

Эти подозрения углубились еще больше, когда Белокуров от изучения каталогов перешел к исследованию самих рукописей.

Старинные рукописи обычно состоят из сшитых вместе тетрадей. Восемь согнутых пополам листов пергамена образуют тетрадь из шестнадцати страниц. Корешок тетради прошивался веревкой или тонким ремнем, концы которого прикреплялись к обтянутым кожей или тканью доскам переплета. Достаточно было вытащить или перерезать веревку, и тетрадь свободно извлекалась из переплета. Порядковый номер в виде цифровой буквы ставился не на каждой странице, а только на лицевой стороне первого и на обороте последнего листа. Так как остальные листы не нумеровались, то при незнании языка, на котором была написана рукопись, пропажа одного или даже нескольких листов могла не сразу броситься в глаза.

Но Белокуров знал греческий язык и, исследовав тексты, сразу же установил, что во многих рукописях недостает одной или даже нескольких тетрадей. В некоторых, особенно древних, были утрачены отдельные листы. Это можно было объяснить их ветхостью. Однако Белокурову бросилась в глаза своеобразная закономерность: исчезли не случайно выпавшие листы, а чаще всего имеющие самостоятельное значение, представляющие и в отдельности какую-нибудь ценность. Если рукопись состояла из нескольких глав и статей, они не были разрознены как попало, а отдельные главы были выдраны целиком.

Белокуров сначала очень удивился, когда Гебгардт сообщил ему, что ни на одной греческой рукописи, находящейся в Дрезденской библиотеке, он не нашел подписи Арсения. Гебгардт обнаружил на них только пометки об их бывшей принадлежности какому-то Афонскому монастырю.

Теперь Белокуров нашел этому объяснение. Тщательно маскируя следы своих хищений, Маттеи вырывал тетради и отдельные листы, чаще всего из середины или же из заключительной части рукописи. Если же он изымал какой-нибудь отрывок из начала, то ту страницу, на которой стояла подпись Суханова, он «обходил».

Просматривая одну за другой все греческие рукописи патриаршей библиотеки, Белокуров делал открытие за открытием. Так, проверяя уже виденную им раньше пергаменную рукопись поучений Иоанна Златоуста, написанную в IX веке, значившуюся по каталогу под № 128, Белокуров обнаружил, что цифры, определяющие последовательность поучений, были смыты, а поля с номерами страниц обрезаны. Он сверился с оглавлением.

В рукописи не хватало одиннадцати поучений, которые могли занимать примерно сорок два – сорок три пергаменных листа. Московский ученый написал об этом Гебгардту и

попросил исследовать числившиеся в дрезденском каталоге под № А66а сочинения того же автора. Гебгардт ответил, что они состоят как раз из одиннадцати поучений Иоанна Златоуста, занимают сорок три листа и были приобретены у Маттеи.

В принадлежащей патриаршей библиотеке древнейшей пергаменной рукописи X века, записанной под № 131, не хватало восьмидесяти девяти листов, вырванных из самой середины. Они нашлись в Дрездене под № А67а. Конец этой рукописи оставался в Москве. Маттеи пощадил его, щадя себя. Но и Дрезден он не хотел обидеть: как сообщал Гебгардт, к дрезденской рукописи Маттеи добавил окончание, переписанное собственноручно.

Рассматривая старинное евангелие, числившееся в каталоге патриаршей библиотеки под № 47 и состоявшее из повествований двух апостолов Матфея и Марка, Белокуров не нашел в нем никаких дефектов. Станным казалось только то, что в каталоге Скиады оно было отнесено к 1482 году, а на самой рукописи не было этой даты.

Узнав из немецкого каталога, что и в Дрездене есть древнегреческое евангелие, состоящее из повествований двух других апостолов, Луки и Иоанна, Белокуров попросил Гебгардта сообщить, какая дата стоит на дрезденском экземпляре. Ответ пришел очень быстро – 1482 год!

Затем по другим сообщенным Гебгардтом приметам Белокуров убедился, что рукопись патриаршей библиотеки № 47 первоначально состояла из повествований четырех авторов евангелия, но набожный католик Маттеи решил разделить ее пополам так же, как «Илиаду» и гимны Гомера. Евангелие «От Матфея» и «От Марка» он милостиво оставил в Москве, а «От Луки» и «От Иоанна» продал в Дрезден.

Стараясь поискусней замаскировать кражу, Маттеи часто прибегал к такому приему: как составитель описи он делал в ней пометку: «Рукопись с изъяном, не хватает столько-то страниц». Само собой разумеется, что такая пометка должна была создать впечатление, будто рукопись пострадала где-то в другом месте, до того как попала в руки к Маттеи.

Так, по поводу находившейся в той же библиотеке рукописи № 230 Маттеи сделал оговорку, что «после 290 листа имеется недочет». Недостающие страницы оказались, конечно, в Дрездене.



Заставка из древней рукописной книги.

Из рукописи № 392 «Притчи Соломона» он вырвал целиком семь тетрадей. Они составили дрезденскую рукопись под № А107. Из рукописи № 295 улетучилось третье, шестое и двенадцатое поучения Иоанна Богослова. Два из них нашлись в Дрезденской библиотеке, третье Маттеи, очевидно, пристроил еще куда-то.

Но с присущим ученому беспристрастием Белокуров должен был в то же время отметить и другое: если для маскировки хищения нужно было украсить рукопись, изворотливый Маттеи не жалел для этого труда.

В древние времена писцы любили украшать рукописи затейливыми заставками, тщательно выписанными золотом или киноварью заглавными буквами, иногда даже

нарисованными с большим мастерством миниатюрами. Вырезая как-то из одной рукописи целую главу, Маттеи заметил, что в верхней части первой страницы остались три строчки из предыдущего не тронутого им текста. Опытный палеограф не растерялся. Счистив с помощью какого-то химического средства эти строчки, он нарисовал на том же месте четырехугольную заставку.

Но чаще всего Маттеи обходился без химии и ножниц. Пользуясь тем, что составители общего каталога не владели древнегреческим языком, он подменял одни рукописи другими, а некоторые и без всякой замены ухитрялся присваивать целиком.



Так рисовали заглавные буквы «Г» и «Н»  
в древних книгах.

В 1789 году, после отъезда Маттеи из России, новоспасский архимандрит Павел, осматривая собрание рукописей патриаршей библиотеки, обратил внимание на некоторое несоответствие их названий с содержанием.

Так, под № 358 в каталоге числилась трагедия великого древнегреческого драматурга Софокла.

Просмотрев эту рукопись, любознательный архимандрит, очевидно понимавший по-гречески, счел нужным в каталоге пометить: «Не Софоклова трагедия, а духовная книга». Обнаружив эту пометку, Белокуров выяснил через Гебгардта, что Софоклова трагедия находится там же, где Карамзин видел трагедию Еврипида.

Под № 340 оказались «Полидоровы писания», под № 386 – старый греческий учебник физики, не числившиеся под этими номерами в старом каталоге. Выкраденные Маттеи в каком-нибудь другом месте, они были подброшены взамен изъятых им несравненно более ценных рукописей. Простодушный архимандрит этого не заметил. Только против рукописи № 270, записанной в каталоге под названием «Галеновы две книги медицинские», он деликатно пометил: «Одна, а не две».

Добросовестный Гебгардт, собравший во время этих розысков обширный материал для специальной работы на щекотливую тему «О происхождении дрезденских рукописей», стал постепенно входить в азарт. Он съездил в Геттинген и разыскал в цветной библиотеке купленные у Маттеи творения Пиндара. Разумеется, Гебгардт не обошел и Лейден. Кроме знаменитых гимнов Гомера, в книгохранилище тамошнего университета оказалось еще четыре московские рукописи, купленные у Маттеи.

Оставалось еще проверить, не запустил ли Маттеи свою корыстную руку и в бывшую библиотеку при патриаршей типографии. Белокурову удалось выяснить, что Маттеи сумел подменить «Оппиана философа вирши» малоценными выписками из сочинений Симеона Фессалоникийского. Такой же участи подверглись еще один список песен Гомера, замененный записью какой-то речи на новогреческом языке, и сочинения Афанасия Великого.

Вместо них Маттеи подсунул ничем не примечательный сборник из произведений безымянных авторов.

Совместными усилиями двух ученых, путем сличения каталогов и тщательного исследования самих текстов, удалось документально доказать хищение двадцати восьми

рукописей из московских книгохранилищ и продажу их в немецкие библиотеки. При дальнейшем расследовании эта цифра удвоилась.

Из присланной директором Дрезденской библиотеки выписки Белокуров узнал, что первую большую партию рукописей Маттеи продал еще в 1788 году, вскоре после своего возвращения из России. В Дрездене сохранился также набросок письма Маттеи к известному коллекционеру графу Марколини от 14 октября 1788 года, в котором он предлагал купить за две тысячи талеров рукописи, «собранные» им в Москве.

Осыпанный милостями меценатов – князей Потемкина и Юсупова и четырех «особ царской фамилии», «почтенный профессор» Маттеи за время своего долголетнего пребывания в России сумел разными способами изъять из московских библиотек и продать за границу более полусотни древних рукописей. Как раз такого количества и недосчитался Белокуров, прослеживая судьбу привезенных Арсением Сухановым из Афона рукописных книг.

Белокуров разыскал в пострадавшем от пожара архиве Московского университета и в некоторых других местах несколько документов, относящихся к последнему периоду пребывания Маттеи в Москве.

В одном из них говорилось, что, по представлению попечителя университета графа Разумовского, профессор Маттеи утвержден деканом факультета.



Букву «М» сплели  
иногда из тел  
мифических чудовищ.

В архиве синода сохранилась копия решения, позволяющего Маттеи снова заниматься в патриаршей библиотеке, по «под наблюдением синодального ризничего»<sup>6</sup> и с обязательным условием «книг домой не брать». Маттеи нашел, однако, лазейку для обхода этого решения. Он перенес свои занятия в библиотеку синодальной типографии. В старом каталоге греческих рукописей, изданном этой библиотекой, под № 25 числилась древняя «Оривасиева лекарственная книга». На той же странице Белокуров обнаружил следующую запись: «Сия книга, по сообщению из императорского Московского университета, отослана в оный университет, где и отдана профессору Маттеи. 1806 года февраля 13 дня».

Книга эта, как выяснил Белокуров, в библиотеку больше не вернулась.

## **НАСЛЕДСТВО» ВЕЛИКОГО ПРОТОСИНКЕЛЛА<sup>7</sup>»**

Пока профессор Тремер, о котором читатель успел уже, наверное, забыть, производил в Москве свои розыски, Белокуров еще не смог определить полностью размеров ущерба,

<sup>6</sup> Р и з н и ч и й – хранитель церковной утвари.

<sup>7</sup> П р о т о с и н к е л л – должностное лицо при патриархе, имеющее монашеский сан и начальствующее над всеми живущими в патриаршем доме монахами. После смерти патриарха протосинкелл нередко возводился на его место.

нанесенного Маттеи московским книгохранилищам. Поэтому во время своих бесед со страсбургским филологом о библиотеке Ивана Грозного, Белокуров сообщил ему только часть разоблачающих Маттеи фактов. Тремер недоверчиво качал головой. Ему казалось неправдоподобным, чтобы тот самый «великий Маттеи», который, по убеждению Тремера, «открыл ученому миру сокровища Московской синодальной библиотеки», собственноручно их расхищал.

Но сообщение Белокурова все же произвело на страсбургского ученого достаточно сильное впечатление, потому что после своего возвращения в Германию Тремер сам стал наводить справки о Маттеи, и первые результаты этого расследования изложил в статье, помещенной в «Мюнхенской всеобщей газете» за 1892 год в номере от 4 января. В этой статье Тремер признал, что Маттеи похитил в России шестьдесят одну рукопись, из которых «большая часть находится в библиотеке саксонского курфюрста в Дрездене, а небольшая часть приобретена Лейденской библиотекой».

«Частная библиотека Карташова, – вынужден был со всей прямотой заявить Тремер, – обман, на ее место выступает Государственный архив, как, по всей вероятности, богатый источник для бессовестного собирателя рукописей. Бывшее у Маттеи собрание греческих рукописей образовалось через похищения из Государственного архива и синодальной (патриаршей) библиотеки».



Золотая монета изотоп  
с изображением  
несовершеннолетних царей  
Ивана и Петра Алексеевичей.

По мнению Тремера, гораздо важнее, чем установление этого возмутительного факта, был другой вывод, также сделанный им с помощью Белокурова. На полях хранившейся в Главном архиве министерства иностранных дел рукописи «Илиады», составлявшей раньше одно целое с Лейденской, Тремер увидел какие-то замечания. Занимаясь расследованием хищений Маттеи, Белокуров мимоходом установил, что такие же пометки имелись и на ряде других рукописей, хранящихся в архиве.

– Не означает ли это, спросил Тремер, – что все эти рукописи, так же как и Лейденская, были когда-то в знаменитой библиотеке Ивана Грозного?

Но Белокурову пришлось его разочаровать. Он выяснил, что такие пометки имеются только на рукописях из собрания архимандрита Дионисия и написаны его почерком.

– А кто же был этот Дионисий? – заинтересовался Тремер.

Белокуров достал из письменного стола выцветшую грамоту. Это был указ вступивших на престол молодых царей Ивана и Петра, в котором упоминалось имя архимандрита Дионисия.

«Великие государи, – говорилось в этой грамоте, – указали царского величества подданному, гетману И. С. Мазепе сыскать в Нежине греческие книги, которые оставил



Македонския земли Николаевского монастыря архимандрит Дионисий у гречанина у Зофиря или у кого он, Зофирь, скажет; а сыскав и описав их имянно, как которая книга имянуется, прислать в Севск, к воеводам»... для отправки в Москву.

Гетман Мазепа, тот самый, который пятнадцать лет спустя изменил Петру I и России, выполнил указ. С нарочным казаком он прислал в Севск две коробки оставшихся после смерти архимандрита Дионисия греческих книг и рукописей, которые потом и были доставлены в Москву.

Просматривая сохранившиеся на полях этих книг и рукописей пометки и записи, Белокуров смог выяснить, что в 70-х и 80-х годах XVII века архимандрит Дионисий жил в Константинополе, точнее в предместье его, Галате, и занимал там почетную должность «великого протосинкелла» при патриархе. Потом он переселился в Валахию,<sup>8</sup> но в конце XVII столетия снова оказался в Московском государстве. Белокурову не удалось установить причину переезда архимандрита Дионисия в город Нежин, где жило много бежавших из Турции греков, у одного из которых он и оставил свои книги. Но это и не интересовало Тремера. Самым важным было то, что Белокуров положил перед ним на стол подлинную перечневую роспись книг и рукописей Дионисия, составленную по указу гетмана Мазепы. Этот очень старательно написанный полковым грамотеем примитивный каталог окончательно выяснил вопрос о происхождении Лейденской рукописи.

Опись состояла из двух списков, одного на украинском, другого на русском языках. Белокуров сообщил, что был список еще и на греческом, но он, к сожалению, затерялся.

На девятой строке описи, перечислявшей содержание первой коробки, Тремер прочел по-русски показавшиеся ему непонятными слова

*ОМИРОВА ТВОРЦА О ТРОАДЕ*

и с недоумением посмотрел на Белокурова.

– Омир, – поспешил объяснить его собеседник, – так звали Гомера, по убеждению пыхтевшего над этим каталогом нежинского канцеляриста, а Трояда – это, конечно, Троя. Да вот, сверьтесь с украинским списком, там это выражено гораздо проще.

В самом деле, девятая строка украинского каталога состояла всего из двух слов:

*ОМИР ИЛИЯДО*

– Теперь, – продолжал Белокуров, – остается только проверить это по более позднему каталогу 1784 года, где эта же рукопись значится под № 92, и по последнему, где она числится под № 797/6. Это уже настоящий каталог, составленный не недоучкой Скиадой и, – не сердитесь на меня, – без участия вашего маститого эллиниста Маттеи, а Вуколом Михайловичем Ундольским, одним из наших лучших библиографов, известным собирателем памятников древней русской письменности, страстным любителем и большим знатоком старины.

Белокуров раскрыл страницу печатного каталога, озаглавленную:

«ГРЕЧЕСКИЕ И ЛАТИНСКИЕ РУКОПИСИ

БИБЛИОТЕКИ МОСКОВСКОГО ГЛАВНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

А. ГРЕЧЕСКИЕ РУКОПИСИ IV.

По старому каталогу № 797, по новому № 6.

ГОМЕРОВА ИЛИАДА, ПИСАНО НА ТОЛСТОЙ БУМАГЕ С ЗАВОДСКИМИ ЗНАКАМИ НОЖНИЦ, А НА ДРУГИХ ЛИСТАХ ЧЕГО-ТО ПОХОЖЕГО НА КОРОНУ ИЛИ ШАПКУ. ТЕКСТ ПИСАН В 2 СТОЛБЦА, СРЕДНЕЮ СКОРОПИСЬЮ НАЧАЛА XVI ВЕКА, А НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, ПОМЕЩЕННЫЕ НА ПОЛЯХ И МЕЖДУ СТРОКАМИ, ПОПОЗЖЕ. ЦВЕТ ЧЕРНИЛ ТЕКСТА ПОРЫЖЕЛ, А В ПРИМЕЧАНИЯХ, ВПИСАННЫХ МЕЛКИМ ШРИФТОМ, СОХРАНИЛ СВОЮ СВЕЖЕСТЬ, РУКОПИСЬ СОСТОИТ ИЗ 91 ЛИСТА.

ЛИСТ 1 ПЕСНЬ 1-Я

«13 «2-Я

«26 (ОБОРОТ) ПЕСНЬ 3-Я

«35 «„4-Я

«46 ПЕСНЬ 5-Я

«64 «7-Я

«74 «8-Я

«83 (ОБОРОТ) ПЕСНЬ 9-Я НЕ ПОЛНА,

ОКАНЧИВАЕТСЯ 434-М СТИХОМ, А ВСЕХ В ЭТОЙ ПЕСНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 551 СТИХ.

ЭТА РУКОПИСЬ БЫЛА ПОСЫЛАЕМА МИЛЛЕРОМ К МАТТЕИ (СМ. ПРЕДИСЛОВИЕ К ЕГО КАТАЛОГУ ГРЕЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ СИНОДАЛЬНОЙ И ТИПОГРАФСКОЙ БИБЛИОТЕК, СПБ (1780 г.)),

– Вукол Михайлович не пометил здесь, – продолжал свои объяснения Белокуров, – что эта рукопись есть начало Лейденской, так как он, наверное, считал, что правильнее было бы указать в лейденском каталоге, что она происходит от Московской. Но вы здесь сами можете сравнить примечания на ее полях с пометками на других рукописях из собрания архимандрита Дионисия. Их в нашем архиве больше двадцати. Как видите, круг замкнулся. Выяснение происхождения Лейденской рукописи увело нас в сторону. Я принялся за расследование хищений Маттеи, а эти розыски, в свою очередь, помогли нам узнать, как попали в наш архив «Илиада» и гимны Гомера. Теперь вы знаете, что так называемая Лейденская рукопись не могла находиться в библиотеке Ивана Грозного, если бы мы даже убедились, что эта библиотека действительно когда-то существовала.

– Ну, а куда же все-таки, по-вашему, она девалась? – спросил Тремер. – Или, может быть, вы станете меня уверять, что ее надо искать не в России, а в Германии, потому что находившиеся в ней рукописи тоже украл Маттеи?

Белокуров, улыбнувшись, ответил:

– Нет, что именно было похищено Маттеи, уже установлено.

Жаль только, что ваши библиотеки не отдадут нам обратно эти рукописи. Что же касается исчезнувшей «либереи» Ивана Грозного, то след ее действительно трудно отыскать...

После Октябрьской революции государственные архивы пополнились ценнейшими документами, и некоторые рукописи, считавшиеся навсегда утраченными, нашлись.

Но энтузиаста архивного дела С. А. Белокурова уже не было в живых, когда снова вернулись на свое место и почти все похищенные Маттеи рукописи.

Это произошло в 1945 году, после вступления советских войск на бывшую землю саксонского курфюрста, умевшего покупать древние рукописи по сходной цене, не слишком интересуясь их происхождением.

## **«НЕ НА ЗЕМЛЕ, А ПОД ЗЕМЛЕЙ»**

Итак, несмотря на все разочарования, профессор Тремер мог поздравить себя с несомненной удачей: происхождение Лейденской рукописи, наконец, было установлено.

Он мог бы осенью 1891 года, возвратясь в Страсбург, начать свою первую лекцию сообщением о том, что наиболее полный текст гимнов Гомера попал в Москву из Византии. Его последним обладателем был вовсе не Маттеи и не выдуманный им мифический московский чиновник Карташов, якобы продавший ему эту рукопись, а великий протосинкелл греческой церкви в Константинополе архимандрит Дионисий. Притесняемый турками, он искал покровительства в Москве. Щекотливый вопрос о том, каким образом гимны Гомера все же очутились в Лейдене, на лекциях можно было бы не уточнять. Но что ответить, если любознательные студенты спросят, чем же кончились предпринятые им поиски библиотеки Ивана Грозного, слухи о которых просочились и в немецкую печать? Что эта библиотека – миф? Что сведения, сообщаемые о ней справочником Бутковского,

нуждаются в серьезной проверке? Что вопрос о существовании библиотеки Ивана Грозного оспаривается теперь даже некоторыми русскими учеными? И он, Тремер, несмотря на все свои старания, не обнаружил ни малейших ее следов?

Тремер даже самому себе не хотел признаться, что выяснение истории Лейденской рукописи не могло вознаградить его за эту неудачу. Восемьдесят четыре дня провел он в крупнейшем из русских архивов, пересмотрел сотни древнейших рукописей и книг – и все напрасно!

«Ни одной книги из библиотеки Ивана Грозного в архиве нет!» – пришлось ему согласиться с Белокуровым. Но, не желая возвращаться домой с пустыми руками, Тремер все же решил продолжать поиски в других местах. Он отправился в бывшее патриаршее книгохранилище, где успел так основательно похозяйничать Маттеи и где работал Клоссиус. Каталоги хранилища были в образцовом порядке – все тщательно прошнурованы, скреплены сургучными печатями и внушительными подписями. Познакомившись не только с этими каталогами, но и с самими рукописями, Тремер должен был признать, что подавляющее большинство их, в том числе и очень древние, поступили сюда уже в XVII веке, и поэтому «между синодальной (патриаршей) библиотекой и библиотекой Ивана Грозного не существует ни малейшей связи».

К таким же выводам пришел он и после обследования других старейших московских книгохранилищ, в частности бывшего Печатного двора.

В библиотеке Чудова монастыря не оказалось вообще ни одной греческой книги. В книжных шкафах Успенского собора Тремер нашел лишь одно древнегреческое евангелие, а в Троице-Сергиевской лавре – два евангелия и один служебник.

Приходилось признать, что не только в архиве и в патриаршей библиотеке, но и вообще «нигде нет и следа потерянных книжных сокровищ царя Ивана IV».

«Неужели мне не остается ничего другого, как только согласиться во всем с этим неисправимым скептиком Белокуровым, с самого начала советовавшим отказаться от бесплодных поисков и присоединиться к мнению неудачника Клоссиуса?» – спрашивал себя Тремер. Однако он еще раз перечитал статью Клоссиуса и решил, что его вывод о гибели царских книжных сокровищ во время пожара также нуждается в тщательной проверке.

«Если действительно верно, что из восьмисот рукописей Ивана Грозного ни одна не перешла в какую-либо из нынешних библиотек, – объявил он Белокурову, – то сам собой возникает вопрос: действительно ли этот обширный и драгоценный клад совсем погиб или, быть может, он до сих пор остается сокрытым в своем тайном хранилище?»

Тремер решил не упаковывать своих чемоданов, прежде чем не изучит досконально историю подземного хозяйства Москвы и, в частности, Кремля. Кроме того, он считал необходимым перечитать подлинные документы и свидетельства летописцев обо всех пожарах, опустошавших Москву с древнейших времен. Тут ему опять пришел на помощь Белокуров, откопавший в архиве все нужные сведения, в том числе любопытную грамоту – подлинный текст проекта пожарной сигнализации, составленный в 1668 году лично царем Алексеем Михайловичем.

«...Будет загоритца в Кремле городе, в котором месте нибудь, и в тою пору бить во все три набата в оба края поскору.

А будет загоритца в Китае,<sup>9</sup> в котором месте нибудь, и в тою пору бить (оба же края полехче) один край скоро же. А будет загоритца в Белом городе от Тверских ворот по правой стороне где-нибудь до Москвы реки, и в тою пору бить в Спасской же набат в оба ж края потише.

А будет в Земляном, в обои же края и тово тише...»

– Сколько же раз должна была гореть Москва для того, что бы сам царь взялся за составление пожарной инструкции? – спросил Тремер.

9 Подразумевается один из районов Москвы, называвшийся Китай-городом.

Белокуров молча протянул ему исписанный цифрами листок: 6839, 6843, 6845, 6851, 6862, 6873, 6890, 6897, 6932, 6953, 6954, 6961, 6966, 6978, 6981, 6983, 6984, 6988, 6993, 7001, 7055, 7079.

– Что это? Таблица логарифмов? – пошутил Тремер.

– Нет, – поспешил объяснить Белокуров, – это всего только краткий перечень годов по старому летосчислению,<sup>10</sup> когда в Москве были такие крупные пожары, что сгорал почти весь город. Я сделал эти выписки из древних летописей.



Тремера интересовали только кремлевские пожары со второй половины XV столетия. Тогда московским великим князем был правнук и тезка Ивана Калиты – Иван III, первый владетель библиотеки, ставшей потом собственностью четвертого Ивана – Ивана Грозного. При Иване III, в 1470 году, Москва сгорела дотла. «Только три двора осталось», – бесстрастно отметил летописец. Следующий большой пожар был через три года. Он начался в Кремле от лампадки или от церковной свечки, как и знаменитый «всехсвятский» пожар 1365 года, когда весь деревянный город сгорел от опрокинутой лампадки в церкви «Всех святых». В 1473 году отстояли только царские хоромы, а весь «Житный двор»<sup>11</sup> погиб в огне. После этого пожара город целых двадцать лет отстраивался. В одном только 1493 году, когда Иван III взял себе жену из Византии и, следовательно, стал обладателем привезенной ею «либерии», Москва

10 Старое летосчисление. – До конца XV века начало года в русском календаре исчислялось с 1 марта, а затем оно было перенесено на 1 сентября.

Летосчисление велось от так называемого «сотворения мира», отнесенного к 25 марта 5509 года до нашей эры. Такое счисление лет было отменено указом Петра I, установившим новое начало года. Вслед за 31 декабря 7208 года «от сотворения мира» наступило 1 января 1700 года нашей эры.

11 Ж и т н ы й двор склад для хранения зерна, поступавшего из дворцовых имений.

горела еще два раза – в апреле пламя уничтожило почти весь город, а в июле огонь сожрал весь Кремль с новым царским двором и все примыкавшие к нему посады.

Тогда было приказано расчистить большое пространство вокруг обгоревшего Кремля, чтобы огонь больше не мог до него добраться, и стали возводить на пепелище каменные стены. Отец Ивана Грозного Василий III жил уже в благоустроенном кирпичном дворце и таким и передал его своему сыну. Но 21 июня 1547 года в этом обновленном Кремле опять бесновался огонь, о чем в «Царственной книге» сохранилась такая запись:

«...И Оружничая полата вся погоре с воиньским оружием, и Постелная полата с казною выгоре вся; и в погребех на царьском дворе, под полатами, выгоре вся деревяная в них».

Приумолкший в начале этого разговора немецкий ученый задумчиво проговорил:

– Пожаров в деревянной Москве в те тревожные времена, как видно из вашего списка, было очень много. Но в конечном счете совсем не важно, сколько раз они пожирали Кремль и сколько раз обходили его... Интересно установить по «Хронике Ниеншtedта», в каком приблизительно году были показаны Веттерману книги из библиотеки Ивана Грозного?

– Это можно сейчас высчитать, – предложил Белокуров, – Иван Грозный выслал немцев из Дерпта в июне 1565 года и разрешил им вернуться ровно через пять лет – в июле 1570 года. Значит, и разговор с Веттерманом о переводе книг должен был происходить не позже этого времени.

– Совершенно верно, – подхватил Тремер, – иными словами, через каких-нибудь двадцать с небольшим лет после этого опустошительного пожара приближенные к Ивану Грозному дьяки как ни в чем не бывало спускаются в подземелье, выносят оттуда отлично сохранившиеся редчайшие книги, принадлежавшие деду царя, и показывают их Веттерману и еще трем немцам. Веттерман утверждал, что библиотека Ивана Грозного помещалась, «как драгоценный клад, около покоев царя в трех двухсводчатых подвалах», то есть, по-видимому, под теперешним теремным дворцом. Эти тайники находились, очевидно, на очень большой глубине и отличались такой массивной постройкой, что огонь не мог им повредить. Таким образом, – с воодушевлением закончил Тремер, – история кремлевских пожаров, повергнувших в такое уныние Клоссиуса, ободряет меня. Надо продолжать поиски уже не на земле, а под землей.

С тем же рвением, с каким Тремер начал изучать историю московских пожаров, он занялся теперь исследованием вопроса о существующих под Кремлем подземельях. «Три двойных сводчатых подвала, – решил он после беседы с московскими архитекторами, – это «тайные подвалы с двойным дном». Как раз такие подвалы могли находиться в подклеточном этаже теремного дворца, возведенного на белокаменных погребках. Строил этот дворец приглашенный Иваном III итальянский архитектор Алевиз.

По сохранившимся в архивах старинным планам и чертежам дотошный немецкий ученый познакомился с расположением зданий в древнем Кремле. Но особенно полезные сведения, подкрепившие его собственные умозаключения, он нашел в трудах Ивана Егоровича Забелина, неутомимого и самоотверженного исследователя старой Москвы.

В своих работах Забелин доказывал, что сложенные еще под наблюдением Алевиза каменные фундаменты теремного дворца оставались неизменными в течение нескольких веков. После каждого пожара их только надстраивали. В них-то на большой глубине и должны были находиться тайники.

Профессора Тремера особенно обрадовало почерпнутое им из газетных вырезок сообщение, что еще совсем недавно, уже в XIX столетии, в том же теремном дворце под мусором и бочками с дегтем была неожиданно обнаружена небольшая дворцовая церковь. Такая находка подавала надежду на успешный розыск подземного тайника.

Тремер захотел сам возглавить поиски и так же, как когда-то Клоссиус, обратился за разрешением к царю. Александр III удовлетворил просьбу иностранного ученого, и специализировавшийся на древнегреческой литературе страсбургский филолог неожиданно для самого себя превратился в археолога.

Проведенные Тремером на территории Кремля обследования, однако, не дали никаких результатов.

– Осмотренные подвалы в восточной части царских теремов в Кремле (стены из белого камня, связанные со сводами из больших кирпичей), – заявил Тремер после окончания поисков, – оказались отлично сохранившимися частями дворца Василия IV (Тремер, видимо, ошибся: этот дворец был построен Василием III), но разыскиваемые тайники не могли быть там найдены. В нескольких местах был взломан пол и стены и исследована почва: за искусственным сооружением оказывался материк<sup>12</sup> разрушавший все надежды обнаружить за ним желанные тайники или подвалы со сводами.

Тремер вынужден был прекратить дальнейшие поиски, требовавшие больших денежных средств, которыми он не располагал. Но неудача этих розысков не расколодила ученого. Он продолжал верить в существование библиотеки Ивана Грозного.

– При первом зондировании мы начали не с того пункта, откуда нужно было производить раскопки, – уверенно заявил Тремер перед своим отъездом и посоветовал возобновить поиски в другом месте – в ближайшем соседстве с церковью Святого Лазаря, той маленькой дворцовой церквучкой, которая была найдена в теремном дворце под мусором и старыми бочками.

Одну из своих последних бесед с русскими учеными Тремер закончил словами:

– Наука поздравит Россию, если ей удастся отыскать свой затерянный клад.

## ТАИНСТВЕННАЯ ПОКЛАЖА

Читатель вправе задать вопрос: почему книжные сокровища Ивана Грозного так усердно разыскивали главным образом иностранцы? Ну, а что же русские ученые? Относились к этим поискам равнодушно и лишь помогали иностранцам справками и советами?... Нет, такой вывод был бы ошибочным.

Интерес иностранцев к библиотеке Ивана Грозного понятен. Ведь, судя по свидетельствам Максима Грека и Иоганна Веттермана, в ней было много иноязычных, давно разыскиваемых учеными всего мира сочинений древнегреческих и римских писателей. Русских исследователей их произведения, конечно, тоже интересовали, но они лучше иностранцев знали историю и состав своих книгохранилищ. Некоторые из русских ученых давно уже самостоятельно пришли к тому же заключению, которое впервые высказал в печати Вальтер Клоссиус; другие поспешили согласиться с ним. Находились и скептики, которые, не утруждая себя кропотливыми исследованиями, авторитетным тоном утверждали, что все, что уцелело от Ивана Грозного, поступило в книгохранилище московского патриарха и растворилось в нем; следовательно, рукописи эти нечего и искать.

Приезд в Москву страсбургского филолога Тремера и предпринятые им поиски все же вызвали среди русских ученых горячие споры. Появилась потребность пересмотреть и проверить все, что было сказано и написано о библиотеке Ивана Грозного, и выработать программу дальнейших действий.

19 марта 1893 года один из крупнейших русских палеографов Николай Петрович Лихачев выступил в Петербургском обществе любителей древней письменности со специальным докладом о библиотеке московских государей.

Он не отрицал, что Максим Грек и Иоганн Веттерман знакомились с богатствами этой библиотеки. Но не все в их отзывах казалось ему правдоподобным. Каким образом, например, мог Иоганн Веттерман видеть, что тайники были открыты или взломаны, если дьяки Ивана Грозного показывали ему не самую библиотеку, а только несколько хранившихся в ней книг? Более же всего подозрений внушал Лихачеву каталог этих книг, составленный каким-то неизвестным немцем, найденный правоведом Дабеловым и затем бесследно исчезнувший.

<sup>12</sup> Материк – подпочва, твердый нетронутый пласт земной поверхности.

Разгоревшаяся в Петербурге дискуссия не могла, конечно, ускользнуть от внимания московских историков и исследователей старины, объединенных в Московском обществе истории и древностей российских. Ведь если эта библиотека, вопреки утверждениям петербургских скептиков, все же уцелела, то искать ее надо было в древнем Московском Кремле. Особенно сильно задели эти споры крупнейшего знатока старой Москвы и, в частности, кремлевских древностей Ивана Егоровича Забелина.

Все ждали с интересом, что скажет маститый ученый: где искать библиотеку и следует ли ее вообще искать?

Забелин уже давно пытался с помощью летописей уточнить предполагаемое местонахождение библиотеки. При жизни Грозного оно могло быть известно лишь немногим его приближенным. Но почти все они были царем казнены.

В «Хронике Ниенштедта» было только одно наводящее указание: библиотека помещалась в двух или трех каменных сводчатых подвалах «вблизи царских покоев». И. Е. Забелин не придавал значения разногласиям в тексте рукописей. Говорилось ли в них о подвалах или склепах, то есть подклетах, двух или трехсводчатых, ясно было одно: Иван Грозный хранил свою библиотеку под землей в тщательно спрятанном от посторонних глаз помещении.

Присутствие при осмотре книг Веттерманом царского казначея, также казенного впоследствии Никиты Фуникова, свидетельствовало, по мнению Забелина, о том, что «книгохранилище» состояла в его ведении и находилась где-нибудь на казенном дворе, — так называлось здание, стоявшее возле Благовещенского собора, у его алтаря с южной стороны. Оно соединялось с царскими палатами переходами или сенями. Поэтому и собор назывался «Что на сенях».

К казенному двору, утверждал Забелин, относились также и белокаменные подклеты, на которых был воздвигнут Благовещенский собор. Эти подклеты, по-видимому, имели особое устройство, так как их в то время называли «казнами».

Установив по древним летописям, что до постройки казенного двора царская казна помещалась под одной церковью, своды которой при Иване III внезапно рухнули, Забелин, основываясь на свидетельстве летописца, допускал, что библиотека Ивана Грозного могла помещаться в каком-нибудь сводчатом казенном подклете, расположенном позади средней золотой палаты, недалеко от жилых деревянных царских хором.

Допуская также, что библиотека могла уцелеть при всех пожарах, происходивших до 1570 года, когда книги из нее были показаны Веттерману, Забелин, однако, ставил под сомнение ее сохранность после жесточайшего пожара 1571 года, уничтожившего всю Москву. Тогда «на царском дворце, в каменных палатах, даже и железные связи перегорели и разрушились от огня, а в городе церкви каменные от пожара расседились и люди в каменных церквях и каменных погребках горели и задохались... Всякое богатство и все добро погорело».

Если библиотека помещалась в казенных подклетах Благовещенского собора или рядом с церковью Святого Лазаря, как предполагал Тремер, она не могла бы уцелеть и, по мнению Забелина, непременно погибла бы от огня.

В качестве веского довода в защиту своего предположения, что библиотека Ивана Грозного сгорела вскоре после осмотра книг Веттерманом, Забелин привел еще один аргумент: о существовании библиотеки не упоминается ни в одном документе, относящемся к более позднему времени. Грозный не имел основания скрывать ее от своего сына, ставшего впоследствии царем, Федора Иоанновича. О ней должен был бы знать и такой просвещенный государственный деятель, каким был патриарх Филарет. Он сам был обладателем ценного собрания рукописей, положившего основу патриаршей библиотеке. Составляя опись царской казны, дьяки не всегда приводили названия находившихся в ней иностранных книг, но обязательно указывали их внешние приметы, так как книги в то время были большой ценностью, а книги царские украшались особенно дорогими переплетами. Могло ли

ускользнуть от учета упоминаемое в «списке Дабелова» собрание восьмисот редчайших книг в ценных золотых переплетах?

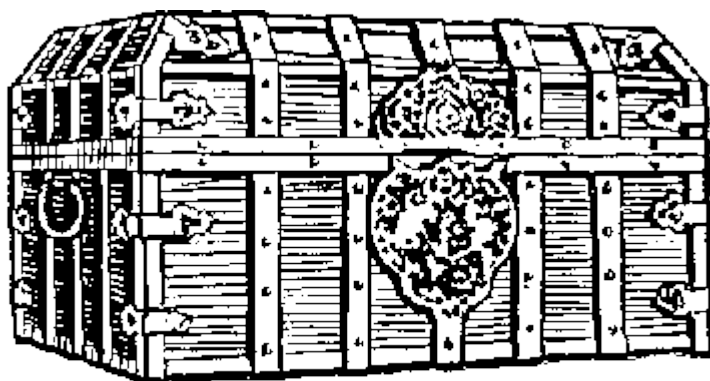
«Такое количество книг, – утверждал Забелин, – не могло быть потеряно не только из памяти дьяков и казначеев, но и простых дворцовых служителей, близких к царскому книгохранилищу, потому оно не могло быть по небрежности или по забвению закладено и замуровано в каком-нибудь казенном подвале».

Все эти доводы казались убедительными, почти неотразимыми. Но как раз в разгар этих споров один скромный сенатский чиновник, М. Г. Деммини, сообщил Забелину, что, роясь в старых делах правительствующего сената, он нашел в архиве монетной канцелярии пачку документов большой давности, относившихся к началу XVIII века и рассказывавших о многолетних розысках в Кремле подземного сокровища, проводившихся по повелению самого царя Петра.

В декабре 1724 года в Петербург на попутной подводе прикатил из Москвы бывший пономарь московской церкви Рождества Иоанна Предтечи, «что за Преснею», Конон Осипов и подал в канцелярию фискальных дел пространное «доношение», в котором писал:

«Есть в Москве под Кремлем-городом тайник, а в том тайнике есть две палаты, полны наставлены сундуками до стропу (то есть до сводов). А те палаты за великою укрепою; у тех палат двери железные, поперег чепи в кольца проемные, замки вислые, превеликие, печати на проволоке свинцовые, а у тех палат по одному окошкы, а в них решетки без затворов.

А ныне, – сообщал пономарь, – тот тайник завален землею, за неведением, как веден ров под Цехаузной двор и тем рвом на тот тайник нашли на своды, и те своды проломаны и, проломавши, насыпали землю накрепко».



**Не в таких ли дубовых сундуках, окованных железом,  
хранились сокровища Ивана Грозного?**

Пономарь писал, что об этих подземных палатах он доносил на словах еще в 1718 году ведавшему в то время всякого рода тайными делами Преображенского приказа князю Ивану Федоровичу Ромодановскому. «И князь велел его допросить, почему стал он о тех палатах сведом. И он сказал: стал сведом Большие казны от дьяка Василья Макарьева. Сказывал он, был де он по приказу благоверные царевны Софии Алексеевны посылай под Кремль-город в тайник и в тот тайник пошел близ Тайницких ворот, а подлинно не сказал, только сказал подлинно, куды вышел – к реке Неглинной, в круглую башню, где бывал старый точильный ряд.

И дошел оный дьяк до вышеупомянутых палат и в те окошка он смотрел, что наставлены сундуков полны палаты; а что в сундуках, про то он не ведает; и доносил обо всем благоверной царевне Софии Алексеевне, и благоверная царевна по государеву указу в те палаты ходить не приказала.

А ныне в тех палатах есть ли что, про то он не ведает...»

Пономарь сообщал также, что после снятия допроса князь Ромодановский приказал ему с одним подьячим осмотреть место расположения тайника.



«...И дьяки Василий Нестеров и Яков Былинской, – продолжал свой рассказ Осипов, – послали с ним подъячего Петра Чечерина для осмотра того выхода; и оной подъячий тот выход осмотрел и донес им, дьякам, что такой выход есть, токмо завален землею. И дали ему капитана для очистки земли и 10 человек солдат и оной тайник обрыли в две лестницы обчистили и стала земля валиться сверху...»

Руководивший земляными работами капитан потребовал еще людей для предотвращения обвала; но «дьяки, – жаловался пономарь, – людей не дали и далее им идти не велели, и по сию пору не исследовано...»

Это «доношение» было оглашено в Сенате в присутствии самого императора Петра I, который наложил на нем резолюцию: «Освидетельствовать совершенно вице-губернатору».

Как видно из найденных в архиве Сената документов, обратный путь из Петербурга в Москву пономарь совершил уже на казенный счет. По приговору Сената ему была предоставлена ямская подвода и выданы «кормовые» и прогонные деньги – по гривне в день. Столько он должен был получать ежедневно и в Москве, «пока оное дело освидетельствуется».

Московскому вице-губернатору Воейкову в тот же день расчетливый Сенат послал указ, подписанный четырьмя государственными деятелями: князьями Репниным и Юсуповым и графами Апраксиным и Петром Толстым, «чтобы он свидетельствовал о той поклаже без всякого замедления, дабы пономарю кормовые деньги даваны туне не были».

На связанные с «исканием поклажи» земляные работы было истрачено всего пятьдесят один рубль шесть копеек, когда из московской сенатской конторы в Петербург уже было отправлено донесение, что «с начала де искания той поклажи ничего не сыскано, да и впредь начаться<sup>13</sup> невозможно». Ввиду того что «к пользе никакого виду нет», контора запрашивала, «впредь ему, Осипову, у того изыскания быть ли и на материалы и корм деньги давать ли?»

В это время Петра I, давшего ход «доношению» пономаря, уже не было в живых, и из канцелярии фискальных дел прибыл приказ: «той поклажи больше не искать и кормовых денег Осипову не давать».

Должно быть, рассказ о хранящихся под землей сундуках, поведенный перед смертью бывшим дьяком Большой царской казны Василием Макарьевым, произвел неизгладимое впечатление на пономаря Конона Осипова и был очень убедительным, если через девять лет, 13 мая 1734 года, несмотря на неудачу первых поисков, этот же пономарь подал в Сенат новое донесение, в котором сообщал:

«Повелено было мне под Кремлем-городом в тайнике две палаты великие, наставлены полны сундуков, обыскать; и оному тайнику вход я сыскал и тем ходом итить стало нельзя...»

По предположению Забелина, землекопы наткнулись на сооруженный еще в 1492 году при деде Ивана Грозного тайник для добывания воды из речки Неглинной. Осипов доложил о встретившемся препятствии вице-губернатору, передавшему этот вопрос на разрешение городского архитектора, который, однако, запретил все дальнейшие работы.

Ссылаясь на то, что он уже «при старости», и ни словом не упоминая о своем первом обращении в Сенат, пономарь просил дать ему «повелительный указ, чтоб те помянутые палаты с казною отыскать». Работы, по его мнению, нужно было начать «в самой скорости, дабы земля теплотою не наполнилась». В помощь себе он просил двадцать человек арестантов «безпеременно до окончания дела».

«А ежели я, – писал, очевидно уверенный в удаче затеянного им предприятия, пономарь, – что учиню градским стенам какую трату, и за то я повинен смерти».

Поднятый пономарем вопрос о возобновлении раскопок в Кремле Сенат обсуждал дважды. Сначала, в мае 1734 года, пономарю было предложено представить точные сведения, где он предполагает найти поклажу. Осипов указал четыре места: «...в Кремле-городе, первое – у Тайницких ворот, второе – от Константиновой пороховой палаты, третье – под

церковью Иоанна Спасителя лестницы, четвертое – от Ямской конторы поперек дороги до Коллегии Иностранных Дел, а что от которого по которое место имеет быть копки, – добавил он от себя, – того я не знаю. А та поклажа в тех местах в двух палатах и стоит в сундуках, а какая именно, того не знаю».

Разрешение было дано 19 июня при условии... «ежели для искания, по показанью его, поклаж от вынимания земли не будет какого в строении повреждения и казне большого убытку...»

И уже через две недели после начала поисков в московскую сенатскую контору из Петербурга полетело предписание «подать ведомость немедленно, поклажа в Москве под Кремлем-городом в тайнике свидетельствована ль и что явилось?»

Одновременно сенатские чиновники начали наводить справки об Осипове и выяснили два подозрительных обстоятельства: что за ним числится недоимка казне и что «онный Осипов в 1734 году о позволении в искании тех поклаж просил, утая прежнее правительствующего сената определение, за что подлежит наказанию».

Как именно должен был быть наказан предприимчивый пономарь, в определении не упомянуто. В архиве сохранилось только донесение секретаря Сената, что рвы были копаны даже не в четырех, а в пяти местах: у Тайницких ворот, за Архангельским собором, против колокольни Ивана Великого, у цейхгаузной стены – в круглой башне, и в самих Тайницких воротах. «И той работы было не мало, но токмо поклажи никакой не отыскал».

Поиски таинственной поклажи, проведенные пономарем Осиповым с разрешения Петра I и после его смерти с ведома императрицы Анны Иоанновны, указывают на то, что в кремлевских подземельях, возможно, имелись секретные хранилища, о которых было известно лишь очень немногим.

Прекращение поисков помешало выяснить вопрос окончательно и узнать, находились ли в тайниках книжные сокровища Ивана Грозного или какие-нибудь другие ценности. Упоминание в донесении пономаря большого количества сундуков, виденных в подземных палатах дьяком Василием Макарьевым, заставило И. Е. Забелина высказать еще одну догадку: не эти ли сундуки перечислены в самой древней из всех дошедших до нас описей тоже пропавшего царского архива? Из этой описи явствует, что Иван Грозный хранил документы в двухстах тридцати одном сундуках, коробьях, ящиках и ларцах.

«Утрата этих ящиков, – заявил теперь И. Е. Забелин, – несравненно горестнее для русской истории, чем утрата всей библиотеки Ивана Грозного... Не о них ли осталось предание от дьяка Большой казны Василия Макарьева? В особом тайнике они могли быть помещены для сохранения именно от пожаров».

## **БЕЛОКУРОВ РАЗМАТЫВАЕТ КЛУБОК**

Неожиданный вывод, сделанный глубоким знатоком истории Кремля – под землей надо искать не книгохранилище Ивана Грозного, а весь его архив, – ободрил, против ожидания, сторонников продолжения поисков библиотеки.

Вслед за Забелиным выступил известный ученый Алексей Иванович Соболевский. Он утверждал, что там, где находится архив, должна быть и библиотека. Пусть пономарь ничего не нашел – из этого вовсе не следует, что тайник перестал существовать.

«Сундуки с книгами, – заключал ученый, – где-то существуют, засыпанные землей или невредимые, и от нашей энергии и искусства зависит их отыскать!»

Профессор Соболевский предлагал немедленно начать под Кремлем раскопки. Этих надежд не разделял скептик Белокуров, считавший, что поиски в земле царского архива будут безуспешны, потому что архив этот находится... на земле.

Даже в показаниях пономаря Осипова о двух подземных палатах Белокуров нашел зацепку для подтверждения своих выводов. «Ведь там говорилось, – напоминал он, – о крепко запертых сундуках, о дверях железных, цепях и замках превеликих, печатях на проволоке свинцовых», и спрашивал не без ехидства: «Каким же образом из-под такого

крепкого запора выскочил один из ящиков царского архива, содержимое которого находится ныне в Московском главном архиве министерства иностранных дел?» На этот каверзный вопрос у него, конечно, был уже готов ответ: «Древнейшая, дошедшая до нас архивная опись вовсе не является описью царского архива. В ней утрачены как раз заглавные листы, где об этом должно было быть сказано. На самом же деле это опись бумаг Посольского приказа, хранившего важные государственные документы, переданные впоследствии в министерство иностранных дел».

Лучший знаток фондов Московского главного архива министерства иностранных дел Белокуров утверждал, что искать царский архив бессмысленно. Однако сторонники продолжения поисков библиотеки во главе с профессором Соболевским не могли с этим согласиться.

– Из того, – возражали они, – что несколько ящиков с грамотами великих князей Ивана III, его сына Василия и его внука Ивана Грозного были когда-то взяты в Посольский приказ для справок и там застряли, вовсе не следует, что у московских царей не было своего архива.

Но Белокуров не сдавался. Он заявлял, что из перечисленных в древнейшей описи двухсот тридцати одного ящика более половины содержали дипломатические документы и все они уцелели. Кроме документов по внешним сношениям, в Посольском приказе хранились и всякого рода грамоты, характеризовавшие внутренний быт Московской Руси. Остальные, вероятно, попали в другие приказы или пришли в негодность. Если еще в 1614 году о некоторых из них в описи было сказано, что они «ветхи добре и розпались, а иные згнили», то как они могли дожить до наших дней?

Спор московских архивистов и историков с петербургскими, возглавляемыми Соболевским, принимал все более ожесточенный характер. Обе стороны не скупилась на язвительные выражения и резкие выпады.

Между тем подстегиваемый этими спорами директор Исторического музея князь Щербатов с разрешения московского генерал-губернатора приступил к раскопкам в Кремле. На площади между Благовещенским и Архангельским соборами была вырыта глубокая траншея, обнажившая каменные стены древнего «казенного двора». Ломать их землекопы не стали, но вскрыли пол поблизости – в нижнем этаже Благовещенского собора. Под ним оказалось пустое пространство, кое-где засыпанное землей и мусором. После его расчистки нащупали второй каменный пол, под которым тоже не было ничего, кроме мусора. Поиски подземного хода под Грановитой палатой оказались также безуспешными.

Тогда князь Щербатов стал вести подкоп под Троицкую башню со стороны Александровского сада и через месяц, наконец, обнаружил большую и высокую подземную палату с отлично сохранившимися белокаменными сводами. Посередине этого тайника лежала каменная плита. Под ней оказался вход во второй тайник, тоже пустой. В стене первого тайника был узкий проход, в котором можно было передвигаться лишь согнувшись, ведущий в третий просторный тайник с разрушенным люком посередине. Спустившись в этот люк, землекопы нашли под ним четвертую подземную палату, почти доверху заваленную землей и мусором. Каменный свод над этой палатой был настолько сильно поврежден, что наблюдавший за работами инженер запретил дальнейшие раскопки, и вопрос о том, сообщаются ли эти пустые палаты посредством подземного хода с каким-нибудь другим тайником, остался невыясненным.

Просторная подземная палата была найдена и при раскопках под Боровицкими воротами, но она была на четыре аршина засыпана землей и не имела выхода в другое помещение.

Предполагая, что таинственный ход, которым шел дьяк Василий Макарьев, а после него пономарь Конон Осипов, находится в фундаменте кремлевской стены, князь Щербатов в двух местах обнажил ее до основания, но и там не обнаружил прохода в тайник. Внутри некоторых зубцов этой стены зияли подозрительные отверстия – «продухи». «Не для вентиляции ли тайника они устроены?» – всполошились исследователи, но оказалось, что их пробили для просушки стен.

Последней была тщательно осмотрена круглая Арсенальная башня, построенная в XVI веке прибывшим в Москву из Италии искусным зодчим Пьетро Антонио Солари. В первом ее надземном этаже землекопы нашли замурованную дверь, возможно служившую когда-то выходом из тайника. За ней действительно оказался подземный ход, круто уходящий вниз на глубину восьми аршин и разветвлявшийся в двух направлениях. Едва сделав по этому ходу несколько шагов, рабочие наткнулись, однако, на серьезное препятствие – огромный белокаменный столб, составлявший, по-видимому, часть фундамента построенного в начале XVIII века кремлевского арсенала. Такой же столб мешал продвижению и по уходящему вправо второму проходу.

На этом раскопки прекратились. Ломать столбы князь Щербатов не стал, надеясь потом перехватить тайник за пределами арсенала. Но отпущенные на раскопки средства иссякли, и осуществление этого плана было отложено на неопределенное время.

Неутешительные итоги подземных работ подтверждали мнение Белокурова о бесполезности дальнейших поисков. Но он знал, что противники его на этом не успокоятся и будут говорить, что князь Щербатов искал библиотеку не там, где следует, что она спрятана в другом месте. Поэтому он решил, не дожидаясь возобновления работ, доказать их бесполезность специальным научным исследованием, посвященным вопросу: «А существовало ли вообще когда-нибудь книгохранилище Ивана Грозного?»

«...Входя в присутственную залу архива, всегда можно было застать его за письменным столом, наклонившимся над какими-нибудь старыми рукописями, которые он просматривал или перебирал. Не было, вероятно, в этом собрании ни одного картона, книги или связки, о которой он не имел бы более или менее подробного представления».

Эти строки были написаны в связи со смертью С. А. Белокурова – последнего управляющего Московским главным архивом министерства иностранных дел, прослужившего в нем более тридцати лет и умершего в 1918 году, в разгар захватившей его работы по созданию нового, уже советского архивного управления.

В некрологе подчеркивалось, что Белокурова увлекал самый процесс розыска, независимо от достигаемого им при этом результата. Ради краткой справки, состоящей иногда из одной строчки, он был способен просмотреть сотни книг и рукописей. Чем запутаннее и сложнее была проблема, тем с большей энергией брался он за исследование, не страшась никаких преград.

Именно такое неистощимое упорство проявил этот опытный архивный следопыт, изучая вопрос о происхождении библиотеки Ивана Грозного. Задетый за живое разгоревшимися спорами, Белокуров решил во что бы то ни стало доказать правоту своей точки зрения. Он приступил к проверке самых древних источников, в которых впервые упоминалась библиотека московских царей. Поскольку было известно, что книгохранилище Ивана Грозного досталось ему от его предков, Белокуров перечитал тексты всех древних летописей. Ни в одной из них не было ни слова о том, что кто-либо из московских великих князей или царей владел большим собранием иноязычных книг.

«Если эти книги погибли в огне войн и пожаров, – рассуждал Белокуров, – летописцы обязательно об этом упомянули бы. С другой стороны, они могли и не знать о существовании библиотеки, потому что она была запрятана глубоко под землей и местонахождение ее тщательно скрывалось». Во всяком случае, Белокуров счел своим долгом подчеркнуть, что первое свидетельство о библиотеке Ивана Грозного появилось не в древних летописях, а в таком второстепенном документе, как неизвестно кем сочиненное жизнеописание выдающегося мыслителя XVI века Максима Грека.

Изучая же собственные сочинения ученого грека, пытливым источниковед с удивлением обнаружил, что в них не было ни слова о царской библиотеке.

Белокуров стал собирать дополнительные сведения о Максиме Греке. Он послал запросы в архивы старинных русских городов – во Владимир, Тверь, Ярославль, Кострому, Казань, Суздаль. В результате он собрал более двухсот пятидесяти новых документов, содержащих сведения об ученом старце или выдержки из его сочинений. Но ни один из этих

документов не давал ответа на законный вопрос: почему свидетельство о знаменитой царской библиотеке отсутствует в собственных сочинениях Максима Грека?

А как обстояло дело с Веттерманом? Немецкий пастор попал в Москву позже Максима Грека, совсем другими путями, и тоже, по его словам, видел знаменитую библиотеку. Белокуров должен был признать, что известия о посещении Москвы Веттерманом с трудом поддаются проверке.

Первое сообщение об этом появилось в ливонской хронике, составленной жившим в XVI веке в Риге немецким купцом и бургомистром Ниенштедтом. Белокуров выяснил, что эта хроника долго ходила по рукам в списках и с нее было снято не менее семи копий. Список, которым пользовался профессор Клоссиус, был самым худшим из всех. В нем, например, говорилось, что библиотека Грозного хранилась под тремя сводами его покоев, в то время как в других списках это место читалось иначе: «в одних покоях», возможно, вовсе не в кремлевских.

Веттерман был в Москве недолго, сопровождая в ссылку своих прихожан, но как раз это-то и показалось Белокурову подозрительным. Ссылному священнику царские министры – а именно такое положение занимали при Иване Грозном беседовавшие с Веттерманом дьяки – вряд ли стали бы показывать книжные сокровища Кремля. Этот священник был иноверец; как же они могли доверить ему перевод книг, касавшихся, например, истории православной церкви? Белокуров высчитал, что Веттерман мог прибыть в Москву не раньше июля 1570 года. Но как раз в это время Иван Грозный приблизил к себе двух других ливонских немцев – Таубе и Крузе; они оставили впоследствии подробные воспоминания о своей жизни в Москве, но почему-то ни словом не обмолвились о царской библиотеке.

В отличие от Максима Грека, сообщившего – если верить жизнеописанию, – что драгоценные книги были привезены в Москву бабкой Ивана Грозного, византийской княжной Софьей Палеолог, Веттерман утверждал, что они были присланы константинопольским патриархом еще при крещении Руси. Но почему же среди них тогда оказались еретические латинские и иноверческие еврейские рукописи? Большие сомнения внушало и заявление Веттермана, что царское книгохранилище не открывалось более ста лет. После приезда Софьи Палеолог прошло меньше века, когда Веттерман посетил Кремль, а лет за пятьдесят до него те же книги якобы видел Максим Грек.

Очевидно, вспоминая через десятки лет рассказ Веттермана, Ниенштедт не только перепутал многие подробности и фамилии царских дьяков, но и прибавил кое-что от себя. Белокуров допускал, что Веттерману было сделано предложение переводить документы для Посольского приказа. Все, что касалось перевода книг из таинственной царской библиотеки, вероятно, присочинил фантазер Ниенштедт.

Но названия этих книг были перечислены в так называемом «списке Дабелова»! Этот спорный документ Белокуров решил совсем не принимать всерьез.

«Список Дабелова» состоял главным образом из светских произведений римских и греческих авторов. Московские же цари в частности Иван Грозный, по мнению Белокурова, должны были гораздо более интересоваться творениями «отцов церкви» первых веков христианства. Именно за такими книгами ездил Арсений Суханов на Афон.

Белокурову внушали также большие подозрения анонимный характер списка и его бесследное исчезновение. Как мог опытный исследователь, снимая копию с каталога царских рукописей, опустить его заглавие и имя составителя? Почему такой ценный документ остался неизвестен даже его хранителям, архивариусам города Пярну?

После сделанного Белокуровым на археологическом съезде в Риге запроса о судьбе «списка Дабелова» прибалтийские газеты напечатали призыв возобновить его розыски, но откликнувшиеся на него рижские ученые так и не смогли ничего найти. Очевидно, этот список был фальшивкой, и поэтому-то Дабелов постарался «потерять» его.

Белокуров еще не закончил свое исследование, когда в петербургской печати появились новые веские документы, опровергавшие его главный тезис. Подогревая интерес к начатым в Кремле раскопкам, профессор Соболевский обратил внимание на забытый историками

документ – письмо гостившего в Москве в конце XVII века газского<sup>14</sup> митрополита Паисия Лигарида к царю Алексею Михайловичу, начинавшееся цветистой фразой о некоем «запечатанном источнике». «Давно уже известно, – писал выпестованный римскими иезуитами ученый грек, – о приобретении вашим величеством из разных книгохранилищ многих превосходных книг, почему нижайше и прошу дозволить мне свободный вход в ваше книгохранилище для рассмотрения греческих и латинских сочинений». Соболевский видел в этом письме доказательство того, что библиотека Ивана Грозного продолжала существовать по крайней мере еще сто лет после его смерти.

Другим веским доводом Соболевского были выдержки из наказа Ивана Грозного русскому послу Михаилу Сунгулову, ездившему к ногайским татарам: «Если Минехмат-князь спросит посла об обещанном царем знаменитом сочинении иранского ученого Казвини «Аджейбу-ль-Махлукат» («Чудесаприроды»), ответить: «Государь наш тое книги в казнах своих искати велел и доискатись ее не могли».

Значит, Веттерман был прав: в библиотеке Ивана Грозного были не только греческие и латинские рукописи. Так называемое «куфическое» арабское письмо было похоже на древнееврейское; отсюда Веттерман мог ошибочно заключить, что у царя есть и еврейские рукописи.

Белокуров принял вызов и продолжал свои наземные раскопки в архивных шкафах. И ему повезло. В расходных тетрадах XVII века он нашел подлинные записи о том, что Паисий Лигарид по царскому указу пользовался привезенными Сухановым с Востока иноязычными книгами из патриаршей библиотеки. Запечатанным же источником он их называл потому, что после удаления патриарха Никона из Москвы патриаршая библиотека была опечатана и ключ от нее находился у царя.

Исследуя историю патриаршей библиотеки, Белокуров досконально изучил описи не только келейной казны московских патриархов, хранившей их личное имущество, но и домовою казны, в которую записывался весь инвентарь патриаршего двора. Собрание греческих рукописей патриаршей библиотеки оказалось очень богатым, но ни об одной из них нельзя было сказать, что она могла принадлежать Ивану Грозному.

У этого московского царя, как и у его предшественников и наследников, была, конечно, своя личная библиотека, по мнению Белокурова состоявшая главным образом из русских и небольшого количества греческих рукописей, а также московских и литовских старопечатных книг. Но и эта домашняя библиотека Ивана Грозного, по убеждению Белокурова, должна была погибнуть во время бурных событий конца XVI – начала XVII века. Исследование Белокурова о библиотеке московских государей заняло около тысячи страниц печатного текста и произвело большое впечатление в научном мире. Когда он сделал сообщение об этой работе на заседании Московского общества истории и древностей российских, председатель этого общества знаменитый историк и бывший учитель Белокурова Владимир Осипович Ключевский согласился с выводами докладчика.

За это исследование Белокурову была присуждена почетная премия.

«После обстоятельного и подробного исследования Белокурова вопрос о царской библиотеке может считаться исчерпанным. Отыскивать следы мнимых рукописных сокровищ Ивана IV станет только ученый, увлекающийся беспочвенным воображением и не доверяющий исторической критике», – писал «Журнал министерства народного просвещения» в 1899 году.

И такой ученый, обладавший очень пылким воображением и поверявший только своему собственному опыту, нашелся. Это был Игнатий Яковлевич Стеллецкий, археолог и «пещеровед», упорно веривший в необходимость продолжения поисков книжных сокровищ Ивана Грозного и сумевший добиться их возобновления.

14 Газа древний город в южной части Палестины, центр Газской провинции.

## НЕИСТОВЫЙ КЛАДОИСКАТЕЛЬ

Сын сельского псаломщика, Игнатий Стеллецкий окончил церковную школу и в награду за прилежание был принят в Киевскую духовную академию, славившуюся в конце прошлого века своими профессорами, в особенности историками. Они разбудили в способном юноше острый интерес к прошлому родной страны. Участь в этой академии, Игнатий Стеллецкий часто посещал древний Киево-Печерский монастырь, олицетворявший в его глазах это далекое прошлое, полное неразгаданных тайн.

Романтически настроенного студента особенно привлекали вырытые почти тысячу лет назад знаменитые пещеры, служившие убежищем отшельникам и монахам задолго до основания наземного монастыря. Захватив с собой фонарь, лопату и длинную веревку, он мог часами бродить и ползать по замысловатым лабиринтам, разыскивая самую дальнюю и наименее обследованную пещеру. Ему казалось, что он откроет в ней какую-нибудь тайну, до сих пор еще никем не узнанную, найдет, может быть, спрятанный много веков назад клад.

Об одной из дальних, притаившихся в лесу пещер, примыкавших к киево-печерским и называвшихся «варяжскими», рассказывали, что, когда варяжские дружинники Аскольд и Дир собрались в поход на Царьград, они закопали в ней все свои сокровища, награбленные еще во время опустошительных набегов на западное побережье Европы. Это было главным образом золото и серебро, а также драгоценные латинские церковные сосуды. Поход на Царьград, как известно, кончился неудачно, и варяги больше не вернулись к своим сокровищам, которых, по преданию, было несколько возов.

Запомнивший эту легенду студент Стеллецкий предпринял попытку разыскать этот клад, но потерпел неудачу.



Вход в подземные лабиринты  
Киево-Печерского монастыря.

Затем Стеллецкий заинтересовался кладом украинского гетмана-изменника Ивана Мазепы, якобы замурованным в подвале его бывшего дворца в тогдашней казачьей столице – Батурине. После бегства предателя с поля Полтавской битвы посланцы императора Петра I три дня выстукивали молотками стены батуринского дворца, но так и уехали ни с чем.

Когда после успешного окончания духовной академии сыну псаломщика предложили отправиться в Палестину в качестве инспектора созданного там русскими «Палестинского общества» – очага духовного просвещения, он очень обрадовался: в гористой Палестине

было много знаменитых пещер, служивших убежищем ее жителям в годы раздиравших страну непрерывных войн. А тысячелетний Иерусалим, тридцать шесть раз взятый приступом и дважды до основания разрушенный! Бесчисленные подземные ходы, замурованные колодцы и тоннели! Под одной только мечетью Омара, воздвигнутой в VII веке на месте разрушенного храма царя Соломона, сохранилось огромное подземелье, в котором когда-то помещались знаменитые царские конюшни. Тайными ходами оно сообщалось с крепостью Сион. Как же было не поехать в Палестину!

Проникновение в тайны древности было часто связано с большими трудностями и даже риском для жизни. Итальянский археолог Пьеротти, вскрывший под Иерусалимом подземный коридор, чуть не задохся – такой хлынул на него спертый и сырой воздух; другой иностранный археолог, Уоррен, наверное утонул бы, если б не успел быстро заделать пробитое им отверстие, сквозь которое в подземелье внезапно хлынула вода. Но знакомого уже с подземными сюрпризами у себя на родине украинца такие опасности не пугали.

После затянувшейся на целые года поездки в Палестину бывший воспитанник духовной академии уже не колебался в выборе профессии – он будет не священником, а археологом! Для этого ему пришлось, однако, снова сесть на студенческую скамью и закончить еще одно высшее учебное заведение: только что открывшийся в Москве Археологический институт. В свободные от лекций часы он усердно знакомился с достопримечательностями древней столицы, и прежде всего, конечно, с ее подземным миром.

Захламленные, дышавшие сыростью и часто кишевшие крысами подвалы старинных московских домов и монастырей интересовали его больше, чем самые живописные наземные архитектурные памятники. Нет ли под ними какого-нибудь замурованного тайника или подземного хода? Как врач, прежде всего прослушивающий сердце больного, пещеровед начинал обычно свои обследования с простукивания стен и пола подземелья. «Почти под каждым московским старым домом, построенным не меньше, чем полтора-два столетия назад, – утверждал Стеллецкий, – есть какие-нибудь таинственные сооружения, подземные палаты и ходы, проложенные на случай непредвиденных событий. Известно, например, что слишком глубоко запустивший руку в казну царский свояк, знаменитый боярин Борис Иванович Морозов в 1648 году только потому спасся от народной расправы, что успел по тайному ходу ускользнуть в Кремль»,

Тщательно выискивая в древних летописях и рукописях сведения о всякого рода подземельях и тайных ходах, Стеллецкий особенно заинтересовался содержащимся в одной из них сообщением о том, что итальянский архитектор Пьетро Антонио Солари построил в Москве «две отводные стрельницы или тайники и многие палаты и пути к оным с перемичками по подземелью».

Ознакомившись с исследованием Белокурова, отрицавшим существование библиотеки Ивана Грозного, Стеллецкий, конечно, оказался в числе его противников.

Разрешить вопрос окончательно! – вот какую задачу поставил перед собой начинающий археолог. Стеллецкий высказал мнение, что правильнее было бы назвать знаменитую «либерею» Ивана Грозного библиотекой византийских императоров или греческой принцессы Зои, известной в России под именем Софьи Палеолог.





Принцесса стала женой московского великого князя Ивана III при прямом посредничестве римского папы Сикста IV, который надеялся таким путем укрепить в Москве свое влияние, быть может, даже склонить греко-российскую церковь к соединению с латинской.

По мнению же Стеллецкого, он преследовал и другую цель: после отъезда Зои в Москву завладеть доставшимися ей от умершего отца книжными сокровищами византийских императоров. Бесприданница, развивал свою мысль Стеллецкий, однако, спутала планы римского папы и увезла эти драгоценные книги с собой в Москву. Вероятно, она сначала жалела о том, что привезла их в деревянный город, плохо защищенный от пожаров.

Библиотеке угрожала опасность, и Софья Палеолог – так утверждал Стеллецкий – именно поэтому стала главной вдохновительницей перестройки деревянного кремля, превращения его в каменную крепость по образцу средневековых замков.

По ее совету Иван III, отправляя в Рим первого русского посла Семена Толбузина, дал ему задание привезти в Россию способных осуществить этот план итальянских архитекторов. Приглашение было принято знаменитым итальянским зодчим Родольфо Фиораванти дель Альберти (носившим также имя Аристотеля), отправившимся в далекую Московию вместе со своим учеником Пьетро Антонио Солари. За ними последовали и другие.

Известно, что Аристотель Фиораванти построил в Кремле Успенский собор с тайником под ним для хранения дорогих церковных сосудов и других ценностей. Стеллецкий смотрел на это иначе. «Постройка Успенского собора, – утверждал он, – была лишь завесой, с помощью которой он хотел скрыть от нескромных взоров творимые им чудеса в подземном Кремле». Именно им и его учеником Солари были сооружены под Кремлем, по утверждению Стеллецкого, многочисленные подземные палаты и ходы. На преемника Солари – Алевиза Стеллецкий указывал, как на строителя двух подземных палат для привезенной Софьей Палеолог библиотеки.

Ватикан долго не мог примириться с тем, что книжные сокровища Палеологов от него ускользнули, и через своих пронырливых разведчиков делал попытки их разыскать и вернуть.

Такое задание получили, например, как свидетельствуют найденные в архиве Ватикана документы, приезжавшие в 1601 году в Москву польский посол Лев Сапега и специально с этой целью включенный в состав делегации иезуит Петр Аркудий.

16 марта 1601 года он писал из Можайска кардиналу Сан-Джорджо «о греческой библиотеке, — относительно которой некоторые ученые люди подозревают, что она находится в Москве, — при всем нашем великом старании, а также с помощью авторитета господина канцлера не было никакой возможности узнать, что она находилась когда-нибудь здесь».

Одним из таких разведчиков был, по мнению Стеллецкого, и просвещенный грек Паисий Лигарид, подсланный Ватиканом в Москву, где он упорно добивался допуска в царское книгохранилище.



В своих далеко не всегда обоснованных выводах Стеллецкий шел дальше всех историков и археографов, исследовавших вопрос о происхождении библиотеки Ивана Грозного.

Теория археолога-энтузиаста выглядела очень стройной, но при проверке в ней обнаружились существенные недостатки. Доказательства часто притягивались искусственно и подменялись домыслами.

Однако это, видимо, не очень смущало ученого, так как он был глубоко убежден, что многолетний спор будет разрешен заступом. Археолог ждал только подходящего повода проникнуть в Кремль и возобновить раскопки.

В 1909 году Стеллецкого пригласили принять участие в осмотре пришедших в ветхость документов, скопившихся в Московском губернском архиве старых дел. Архив этот

размещался в Китайгородских и кремлевских древних башнях. Таким образом археологу представилась возможность попутно познакомиться с устройством кремлевских башен, сделать, так сказать, первую разведку.

С волнением поднимался сын сельского псаломщика по витой заржавленной лестнице в наугольную Арсенальную башню, возведенную в XVI веке. Суровая и строгая снаружи, она внутри производила впечатление обжитой, так как была доверху загромождена полками с архивными делами. Стеллажи сплошь покрывали стены, но Стеллецкий знал, что внутри одной из этих стен есть лестница, ведущая в обнаруженный князем Щербатовым подземный тайник с колодцем и загадочным тоннелем, наглухо загороженным белокаменным устоем арсенала. Хоть бы одним глазом заглянуть в этот тайник!

Но лишь спустя три года Стеллецкому как члену Военно-исторического общества удалось получить разрешение на осмотр кремлевских стен и башен. Обследовать подземелья, о чем он просил особо, ему, однако, не позволили. Оговорка сводила на нет выданное Стеллецкому разрешение, но он все же решил им воспользоваться.

В 1912 году в Кремле, в связи с приближающейся юбилейной датой – сотой годовщиной Отечественной войны 1812 года, – производились работы по оборудованию части арсенала под музей трофеев этой войны.

Археолог смекнул, что запрещение заглядывать в подземелья кремлевских башен не касалось подвала арсенала. Воспользовавшись тем, что ремонтировавшие его рабочие ушли на обед, Стеллецкий забрался в подвал и тщательно осмотрел его. Он даже простучал молотком все его земляное дно. В одном месте отчетливо послышался гул пустоты. Схватив оставленную рабочими железную лопату, Стеллецкий принялся поспешно копать землю. Выбросив щебень и известь, он вскоре наткнулся на твердый кирпичный свод, издававший при каждом ударе такой звук, словно это был не камень, а пустая бочка.

«Было очень соблазнительно пуститься в отважную авантюру: на свой страх и риск пробить свод и, юркнув в пролом, исследовать подземный Кремль», – записал археолог в своем дневнике. Но это было слишком опасно.



Одия из кремлевских тайников  
под Алевизовским рвом.

Вскоре непризнанному искателю царской библиотеки удалось поступить на работу делопроизводителем в Архив министерства юстиции. Директор его, профессор Цветаев, отнесся к археологу по-дружески, так как тоже интересовался судьбой исчезнувших книжных сокровищ и разыскивал сведения о них в своем архиве. В 1914 году Цветаев взял на себя смелость снова потревожить дворцовое управление Кремля. Он просил разрешить Стеллецкому производить «археологический осмотр» подземелий в башнях Арсенальной и Тайницкой «с целью восполнения и проверки содержащихся в документах архива о них сведений». На этот раз разрешение было дано.

Вдвоем со смотрителем губернского архива Стеллецкий спустился, наконец, в особенно интересовавшее его подземелье Арсенальной башни. Куполообразный свод отходившего от него подземного хода нетрудно было обнаружить; но как в него проникнуть? Тщательно исследовав подземелье, они нашли давнишний пролом, сделанный, очевидно, первооткрывателем тоннеля Кононом Осиповым, с торчавшей в нем деревянной лестницей.

«По ней мы и спустились в неведомую мрачную пустоту с фонарем в руках, – вспоминал впоследствии Стеллецкий, – ноги ступали по жидкому мусорному дну тайника. В центре тайника возвышалась сложенная из камней пирамида. Только налево чернело устье огромного сводчатого макарьевского тоннеля, ведшего когда-то под Тайницкую башню, а ныне перегороженного на пятом метре устоем арсенала...»

Где бы ни находилась библиотека, между соборами или в другом месте, Стеллецкий так же, как и князь Щербатов, считал, что раскопки надо вести из забитого каменной пробкой макарьевского подземного хода.

«Остановка за творческой инициативой, – писал он в газете «Утро России», – поиски, надо надеяться, не заставят себя ждать. Но кто возьмет на себя связанные с ними расходы?»

На его призыв никто не откликнулся.

Вскоре Московское археологическое общество и Архив министерства юстиции направили Стеллецкого в Прибалтийский край «для изучения подземных ходов и осмотра старинных архивов».

Ему было поручено обследовать архивы нескольких городов, в том числе таких древних, как Рига, Пярну и Юрьев. Археолога интересовал только один из них – архив Пярну – хранилище, где бесследно исчез подлинник «списка Дабелова». Разыскать его во что бы то ни стало было негласной, по главной цели предпринятой им поездки.

Приехав в Пярну, в тихий приморский эстонский городок, Стеллецкий прямо с вокзала помчался в местный архив.

Нетрудно себе представить волнение мало надеявшегося на успех археолога, когда, перелистывая одну из запыленных ветхих связок, он вдруг, по его словам, нашел то, что искал: два пожелтевших листка, исписанных выцветшими порыжелыми чернилами. Старинными немецкими буквами были выведены названия принадлежавших московскому царю редчайших книг.

Опрометчиво выпущенный из рук профессором Дабеловым, напрасно в течение многих лет разыскиваемый Клоссиусом и рижскими археографами, служивший предметом ожесточенных споров, драгоценный список был, наконец, в его руках!

«Скопировав наполовину с трудом разбираемый на немецком языке документ, – вспоминал он впоследствии об этой счастливой минуте, – я взглянул на подпись. Была как будто В (Веттерман?); первое мгновение я был ошеломлен... Я поспешно свернул связку, с тем чтобы вскоре приехать опять и сфотографировать драгоценную находку...»

О своей удаче археолог сообщил по возвращении в Москву только одному человеку – своему покровителю профессору Цветаеву. О поддельности «списка Дабелова» ходило столько слухов, что печатать сообщение о вторичной находке его без снимка и заключения авторитетных экспертов не имело никакого смысла. Опасаясь, что кто-нибудь все же сможет его опередить, Стеллецкий, посоветовавшись с Цветаевым, решил не предавать пока свою находку гласности. Но съездить еще раз в Пярну ему не удалось – вскоре разразилась мировая война.

Так, по крайней мере, излагает дело Стеллецкий. Однако некоторые подробности этого эпизода кажутся не менее подозрительными, чем первое «исчезновение» «списка Дабелова». Нельзя забывать, что Стеллецкий был кладоискателем-фантастом, своего рода фанатиком этого дела. Не вступил ли он на путь сознательной мистификации? Или это был неосознанный им самообман?

## ПОДЗЕМНЫЕ ПОИСКИ

Искателя библиотеки Ивана Грозного война забросила на Кавказский фронт, проходивший по территории турецкой Армении. Правда, и тут он работал по специальности – обследовал памятники древности во фронтовой полосе от Эрзерума до Трапезунда с целью их сохранения. Особенно много их было в древней столице Грузии – Испире, приютившейся у подножия Понтийского хребта. Эта гористая местность была известна также своими пещерами, никем еще не изученными. Стеллецкий, конечно, не хотел упустить такую возможность. Он принял участие в работах военно-археологической экспедиции, изучавшей недра Понтийских гор. Но едва до него дошла весть о всколыхнувшей родину революционной буре, археолог сразу же поехал домой. Сообщение о занятии Кремля Красной гвардией приобрело для него особый смысл: теперь уже никто не помешает ему заняться поисками библиотеки Ивана Грозного!

Однако в Москве кладоискателя ожидало новое огорчение: принадлежавший удравшим за границу хозяевам дом, в котором он жил до войны, был занят государственным учреждением, а оставшуюся в нем беспризорную библиотеку Стеллецкого случайно вывезли вместе с имуществом его прежних владельцев. С потерей книг он мог бы еще примириться. Но вместе с ними исчезла и снятая Стеллецкий точная копия «списка Дабелова».

О новой поездке в Пярну не могло быть и речи – Прибалтика тоже была охвачена гражданской войной. Юденич подступал к Петрограду. В Эстонии власть перешла в руки буржуазии. Враждебно относясь к молодому Советскому государству, ее правители вряд ли позволили бы русскому ученому рыться в своих архивах.

На немедленное возобновление поисков библиотеки в Кремле тоже было трудно рассчитывать. Туда из осажденного белогвардейцами Петрограда только что переехало Советское правительство во главе с Лениным. Естественно, что охрана Кремля в связи с этим была усилена. Да и раскопки потребовали бы еще больших средств, чем поездка за «списком Дабелова». Надо было сначала доказать, что эти средства не будут выброшены на ветер.

На этот путь и стал теперь неистовый кладоискатель. Куда только он не обращался в первые годы советской власти со своими проектами! И в Исторический музей, и в Наркомат просвещения, и в Моссовет.

Предложение возобновить поиски книжных сокровищ Ивана Грозного он связывал с широким подземным наступлением на все вообще московские тайники и клады. На страницах «Известий» Стеллецкий доказывал, что «очередной задачей переизбранных пролетарских жилтовариществ старых домов в Москве должно быть тщательное, в кровных интересах науки и реальной жизни, обследование подвалов и погребов».

Незадолго до появления этой статьи под лестницей старинного дворца в Хоромном тупике, принадлежавшего до революции князю Юсупову, в замурованной снаружи каменной нише были неожиданно найдены большие ценности.

Служившие когда-то в этом дворце уборщица и дворник обратили внимание на исчезновение ниши, заменявшей им раньше шкаф для хранения метел и швабр. Она была заделана кирпичом и выкрашена в такой же цвет, как и вся стена. Когда кирпичи разобрали, за ними оказался сундучок с изделиями из золота и серебра. Там же была найдена и редчайшая скрипка работы Страдивариуса, переданная потом в Московскую консерваторию.

Узнав об этом, Стеллецкий тщательно обследовал все подземные помещения дворца, но там больше не было никаких кладов. Неудача искупалась неожиданной находкой. Во дворе Стеллецкий обнаружил четыре загадочных люка. Два из них были плотно забиты землей,

третий оказался круглым цементированным колодезцем, и только последний был связан с подземным ходом, разветвлявшимся в двух направлениях. Пройти эти ходы насквозь Стеллецкому помешали подземные газы, но этого открытия было достаточно для провозглашения им на страницах «Известий» энергичного лозунга: «Настал час подземную Москву выверотить наизнанку».

В 1925 году в Москве было заложено девять буровых скважин для выяснения вопроса первостепенной важности: о направлении трассы первых линий будущего метро.

Исследуя почву во многих местах, метростроевцы часто натывались на подземные сооружения и пустоты, буравили древние кладбища, извлекали из земных глубин остатки старинной утвари и орудий труда.

Подземные работы развертывались широким фронтом. В подходе к Кремлю шахтах особенно часто можно было видеть мелькавшую то тут, то там долговязую фигуру ученого в резиновой спецовке. Если где-нибудь сносилось мешавшее метростроевцам ветхое здание, он первым забирался в подвал и тщательно, как дятел, выстукивал стены. Нельзя же было допустить, чтобы землекопы засыпали какой-нибудь еще не исследованный подземный ход! Спускаясь на самое дно шахт, он не уставал разъяснять проходчикам необходимость бережного отношения к находкам, хотя бы и не имеющим в их глазах никакой ценности.

Почти каждый день Стеллецкому что-нибудь приносили: стертую медную монету, ржавую подкову или шпору, черепок разбитого кувшина, глиняную трубку, печной изразец, человеческий череп с остатками волос и бороды, восьмиконечный крест. Но еще больше, чем такие находки, археолога интересовали подземные пустоты, в которых можно было подозревать пещеру доисторического человека, забытый ход или тайник. Как только обнаруживалась такая пустота, звали археолога. Но шахт было много, и Стеллецкий не мог повсюду поспеть. Иногда сообщение об обнаруженной пустоте приходило как раз в такой момент, когда он был на другой шахте.

В июле 1933 года на углу улицы Горького и Охотного ряда снесли отслужившее свой срок здание, принадлежавшее когда-то князю Василию Васильевичу Голицыну, государственному советнику правительницы Софьи.

Работы по сносу дома были уже закончены, когда на прилегающей к Охотному ряду Театральной площади случилось «чрезвычайное происшествие». Вблизи загороженной дощатым забором шахты № 11 начала оседать почва. Оказалось, что проходчики соседней с ней шахты № 12 перерезали никому не известный колодез. На землекопов посыпались сверху песок и мусор, а мостовая дала такую трещину, что в самом центре Москвы пришлось остановить движение. Аварийные работы были проведены в самом срочном порядке. Стеллецкий же узнал о происшедшем, когда повреждения уже были устранены.

Рабочие в один голос уверяли археолога, что засыпанная ими пустота была обыкновенным колодезцем. Сам же он был другого мнения. Не колодез, а подземный ход! Землекопы ведь могли не знать, что правительница Софья была влюблена в князя Голицына и по этому подземному ходу она, вероятно, и прибегала украдкой на свидания к своему Васеньке.

«Ход лежал на материковой горелой глине на глубине шести метров и состоял из толстейших дубовых колод, под которыми шел тротуар из толстых досок, – записал археолог в своем дневнике и с грустью добавил: – Картина ясная, как на ладони, только мне одному на целом свете».

Стеллецкому, быть может, казалось, что, если бы колодез не успели засыпать, он прошел бы по идущему от него подземному ходу прямо в Кремль и обнаружил бы по пути тайник с книжными сокровищами.

Несмотря на то что мнение археолога о причине провала мостовой на Театральной площади не было принято во внимание, в следующий раз, когда трещины появились уже не на мостовой, а на стенах старого здания Ленинской библиотеки, выстроенной вблизи того места, где некогда находился Опричный дворец Ивана Грозного, снова возник вопрос; кто в

этом виноват? Проходчики метро или изрывший Москву своими подземными ходами Иван Грозный?

Стеллецкий высказал предположение, что в этом районе должен быть подземный ход из-под Опричного дворца, построенного Иваном Грозным после того, как он покинул Кремль. Дворец этот был деревянный и сгорел в 1572 году при пожаре Москвы, подожженной татарским ханом Менгли-Гиреем. Выложенный; деревянными бревнами, подземный ход выгорел тогда же. Но после осмотра подвала построенного на этом месте здания Московского главного архива министерства иностранных дел, того самого, в котором работал Белокуров, ученый пережил еще одно разочарование.

«Никакого подземного хода, – должен был он признать и так и записал в своем дневнике, – по крайней мере, при современном состоянии подземных знаний, нет, а был он под другой дворец Грозного, что на Кисловке, выстроенный после этого пожара. Ход этот уклонялся на северо-восток, по направлению к Неглинной, а значит, все-таки к Кремлю».

Неудачи в отыскании пустот, которые могли быть когда-то подземными ходами, отчасти возмещались другими находками: человеческими и кабаньими черепами (попробуй-ка разберись, сколько веков назад и кто на кого охотился!); каменными и чугунными ядрами, предметами давно отжившего домашнего обихода. В особенности интересовали Стеллецкого глиняные черепки. Еще в Палестине арабские ребята прозвали его «Абу Шакиф» – «Отец Черепков». Ведь каждому археологу известно, что в глиняных черепках и кувшинах часто закапывались денежные клады...

Количество находок росло с каждым днем. Где же их хранить? Археолог поднял вопрос о создании «Музея подземной Москвы при научно-исследовательском секторе Метростроя». Не дожидаясь, когда для этого своеобразного музея будет подыскано подходящее помещение, он предоставил для размещения экспонатов свою собственную комнату, в шутку названную им «пещерой».

Еще до того как она превратилась в музей, эта комната поражала посетителей своим странным видом.

«Все стены его комнаты и даже потолок, – рассказывал бывавший у Стеллецкого знаток древнерусской архитектуры Н. Д. Виноградов, – были разрисованы изображениями черепов со скрещенными костями и даже целых скелетов. Рядом с рисунками гвоздями были прибиты к стене настоящие черепа и кости, найденные им при разных раскопках и производившие, конечно, довольно зловещее впечатление. Самого хозяина это, впрочем, ничуть не смущало. Он охотно объяснял, где и когда они были им извлечены».

## СИНЯЯ ПТИЦА В РУКАХ

– Какие места в Кремле вы хотели бы исследовать в первую очередь? – спросил однажды Стеллецкого успевший убедиться в настойчивости неистового кладоискателя, руководитель научно-исследовательского сектора Метростроя инженер Юдович.

Заметив, что вопрос этот был задан не из простого любопытства, Стеллецкий весь последующий разговор с инженером занес в свой дневник. Юдович был знаком с комендантом Кремля и предлагал при встрече с ним «замолвить словечко».

«Захватило дух...» – в двух словах выразил ученый свое волнение, вызванное этим предложением. Неужели это сбудется после стольких лет ожиданий?

6 октября 1933 года в кабинете начальника Метростроя зазвонил телефон. Комендант Кремля спрашивал, работает ли у него археолог Стеллецкий. Ответ был дан утвердительный. Тогда тот же голос сказал:

– Своими подземными ходами он начал нас беспокоить.

Настойчиво пробирается в Кремль. Между вашими шахтами и Кремлем не мешало бы установить нейтральную зону.

Через три дня в «Вечерней Москве» появилась статья Стеллецкого под интригующим заглавием «Подземная Москва». Археолог рассказывал в ней, между прочим, как,

переселившись в Опричный дворец, Иван Грозный неожиданно для всех исчезал. Уходил «обшитыми древом потайными ходами», известными ему одному и двум-трем приближенным. «Он проходил тайниками к болотам и чащобам острова Воздвиженки. Здесь в глубокой чаще, в потайном подземелье, нареклись приговоры Курбскому, Шереметеву, Турову, Бутурлину, Адашеву, Сильвестру».

Очевидно, комендант Кремля прочел эту статью, потому что, когда Стеллецкий принес в редакцию новый очерк, рассказывающий о спрятанных в Кавказских горах древнихкладах, ответственный секретарь поспешил сообщить ему:

– Вас ищет Кремль. – И тут же пояснил: – К нам звонили и спрашивали ваш телефон.

А еще через несколько дней, 13 ноября 1933 года, в дневнике кладоискателя, который он вел на своем родном, украинском языке, появилась новая, на этот раз восторженная запись:

*«Синяя птица!*

Да! Синюю птицу ухватил за хвост! Лишь бы только не вырвалась!

В десять часов тринадцатого я, наконец, был в заповедном Кремле...»

Комендант Кремля попросил Стеллецкого в двухдневный срок представить в письменном виде свои соображения о местонахождении библиотеки Ивана Грозного.

22 ноября, после вторичного посещения Кремля, пребывавший в состоянии радостного возбуждения археолог поспешил снова занести в дневник свои впечатления:

*«Опять синяя птица!*

Синюю птицу держу за крылья! Снова был в Кремле и подал докладную записку.

Обсудили все. Когда речь зашла об Арсенальной башне, условились, что созвонюсь с инженерами и пойду с ними в ее тайники.

...Так вот: двадцатипятилетняя мечта как будто близка к осуществлению! Неужели же синяя птица, на этот раз так крепко схваченная, опять вырвется?

Вспомнил, как председательница императорского археологического общества, графиня Уварова, при обсуждении вопроса о розыске библиотеки Ивана Грозного назвала меня мечтателем,

А сейчас эта мечта сбывается».

1 декабря 1933 года Стеллецкий снова записал в своем дневнике:

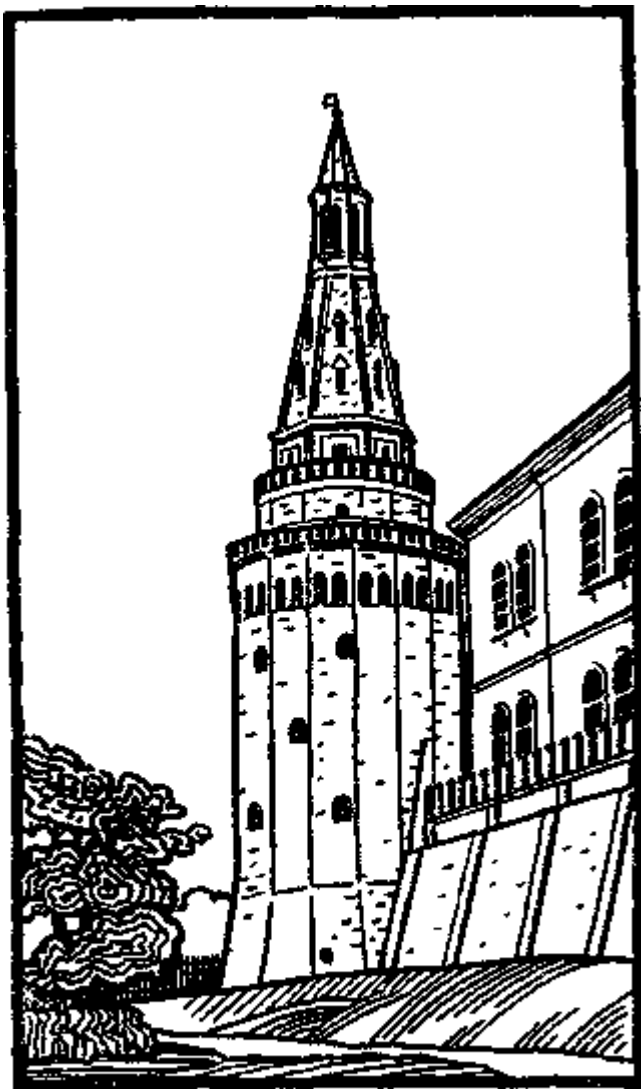
«...Мечта осуществляется после двадцатипятилетнего ожидания!.. Сегодня знаменательная дата – первый шаг большого дела: приступаю, впервые в веках, к розыску научным способом библиотеки Ивана Грозного в недрах Кремля. Уже 460 лет, как она спрятана под землей, начиная с приезда Софьи Палеолог, и за это долгое время, почти в полтысячелетия, сегодня впервые, с помощью технических и интеллектуальных сил могущественной державы, начинаются поиски этого удивительного, принадлежащего всему человечеству сокровища».

Всякий раз, когда археологу задавали вопрос, где же, по его предположениям, должно находиться его «Великое Искомое» – так он любил называть «либерею», – он отвечал по-разному. В 1913 году ему казалось, что ее следует искать под землей между тремя кремлевскими соборами. В 1924 году в опубликованной в «Известиях» статье «Подземный кремник» он утверждал, что она спрятана под дворцом; когда же Стеллецкий получил, наконец, возможность практически приступить к поискам, он все же начал их с Арсенальной башни, от которой шел уже нащупанный его предшественниками, подьячим Кононом Осинковым и князем Щербатовым, подземный тоннель.

«Из Арсенальной башни проникнуть в подземный Кремль совсем нетрудно, – уверял он еще в 1914 году после первого обследования этой башни, проведенного с разрешения дворцового управления. – Из подземелья первого этажа башни в направлении к Никольской ведет крутой спуск на четыре сажени как раз на месте ответвления вправо под Кремль, перегороженный мощным арсенальным столбом... Галерея отлично сохранилась и совершенно безопасна. Ею вышел к реке Неглинной дьяк Василий Макарьев. Единственное неудобство галереи – в заполняющем ее значительном слое грязи. Грязь нанесена стекающей



по ней, как по трубе, водой из находящегося в подземелье башни источника. В настоящее время вода исчезла...»



**Арсенальная башня Кремля,  
под которой вел раскопки  
Стеллецкий.**

Через двадцать лет после того как были написаны эти строки, 27 декабря 1933 года, Стеллецкий снова входил в Арсенальную башню. На этот раз его спутниками были работавшие в гражданском отделе Кремля советские инженеры. Они поднялись на кремлевскую стену через соседнюю Троицкую башню и остановились перед дверью с увесистым замком. Попробовали подобрать к нему ключ, но ни один не подходил. Кто-то догадался толкнуть дверь, и она подалась. Башня не была даже заперта. По заржавленной железной лестнице Стеллецкий первым стал спускаться вниз. Он сразу заметил, что архив был вывезен – стены башни выглядели внутри такими же угрюмыми, как и снаружи. Дно ее было засыпано землей и мусором. Посередине зияло отверстие ветхого колодца с плавающим в нем гнилым бревном.

«...Примечательны три входа, записал в тот же вечер Стеллецкий.

Один сверху, от Троицкой башни, самый древний, ныне заложённый свежим кирпичом. Другой – к Никольской, сравнительно узкий, тоже замурованный, и третий, знаменитый, «осиповский», загромождён мусором, досками, на дне вода на одном уровне с колодцем. Закладка белокаменная».

Заметив нелепо торчавший из этой закладки деревянный полосатый столб – часть сломанного шлагбаума, Стеллецкий вдруг усомнился, осиповский ли это ход?

По Конону Осипову, вспоминал он, сначала продолбили каменный арсенальный столб и уперлись в грунт. Здесь же белокаменная закладка не пробита насквозь. Если закладка и есть арсенальный столб, кирпичный свод тоже должен быть проломан, а тут он почему-то уходит вглубь, за тесаные глыбы белого камня...

«...Не понимаю, зачем тут мудрил пономарь Конон, – недоумевал археолог. – Строить крепления и продвигаться вперед – вот и вся недолга!»

«Большую загадку, – отметил он далее в своем дневнике, – представляет ход выше, из которого в пяте сферического свода башни пробита брешь и опущена деревянная лестница. В противоположную от лестницы сторону круто сползаешь по осыпи к замуровке, издающей под молотком гул... Словом, все здесь сложнее, чем я думал, и бесконечно интереснее, загадочнее. Здесь хоть купайся в тайнах!..»

Новый, 1934 год, как и можно было ожидать, принес археологу новые открытия. Кладовискатель неожиданно обнаружил, что его предшественники Конон Осипов и князь Щербатов ввели его в заблуждение.

«...Конон Осипов, – продолжал археолог свои записи, – ничего не понял относительно происхождения тайника, на который он напоролся, копая «ров», потому, конечно, он и не производил археологического исследования... Оказывается, не столб арсенала загородил вход, как думал Осипов, а этот вход был нарочно до дна заложен белокаменными глыбами на извести, после того как на него наткнулись и проломали. Заполнив середину камнем, сверху засыпали землей...

Этот ход, – заметил Стеллецкий, – заворачивал на соединение со ступенями, ведущими из подземелья к первому ярусу. Теперь главное – это выяснить, имеет ли этот замурованный тайник ответвления под Кремль? Если нет, то сенсационные рассказы дьяка Макарьева окажутся пустой болтовней...

На следующий день, 11 января 1934 года, археолог смог, наконец, поздравить себя с первым успехом.

«...Важное достижение: соединен нижний этаж Арсенальной с ее подземным старинным проходом! Это дает возможность, кажется, ударить в белокаменную закладку сзади. Есть признаки, что с противоположной от прохода на ступени стороны замуровки прячется «брешь» в тайник, о чем упоминал Конон Осипов».

Через восемнадцать дней в дневнике появилась новая заметка под рубрикой: «Заветная стена».

«...Стена, о которой я мечтал двадцать пять лет, найдена! Открытие исторического значения! Всегда я был убежден, что из Арсенальной башни есть белокаменный ход под Кремль. И вот, сегодня, 29 января 1934 года, именно в день моих именин, на конце пятого метра белокаменной замуровки показалась, наконец, справа такая же белая стена из тесаного камня... Уверен, что я на пороге большого открытия...»

А еще через две недели, 13 февраля, за этой записью последовала новая:

«Синяя птица, кажется, вся в руках!..»

Заметки в дневнике по поводу хода работ становятся все короче и реже. Их заменяют вложенные в тетрадь копии служебных записок, адресованных коменданту Кремля и главному инженеру. Они написаны карандашом на листках блокнота. В левом углу обязательно стоит дата и два магических слова, которые Стеллецкий, видимо, проставлял с особым удовольствием: «Москва, Кремль».

Производитель работ то доносит о найденном им древнем выходе в сторону Неглинной, то требует выделить больше рабочих для расчистки тайника и археологических обследований в связи с обнаруженным в фундаменте арсенала узким тоннелем. В донесениях говорится также о находке старинных пистолетов, ружей, топоров и ножей. Сообщая о появлении воды в подземелье, которую необходимо откачать, Стеллецкий ходатайствует о выдаче рабочим непромокаемой обуви. По этим запискам видно, что он особенно заботился об ускорении темпа работ. Археолог даже сам взялся за лопату и приходил домой настолько

усталым, что ему теперь уже было не до дневника. Лишь из ряда вон выходящие события заставляли Стеллецкого возвращаться к нему.

«...Обвал или смерть замахнулась, но... промахнулась, – записывает он 23 февраля 1934 года. – По крайней мере, на этот раз. По крайней мере, еще раз так, как уже было в 1912 году...»

Стеллецкий вспоминает, как в 1912 году он, затеяв в Лубнах раскопки, вырыл на валу огромный котлован. Рабочие ушли обедать, а он остался. За ним пришли мать с невестой. Он спустился вместе с ними в котлован.

«...А едва вылезли, – записал он в своем дневнике, – и я за ними поставил ногу на первую ступеньку, грохнуло за спиной несколько кубометров. Нечто подобное этому случилось со мной сегодня в тайнике Арсенальной башни. По краю исполинской арки, забитой землей, я вырыл проход... в пять часов отпустил рабочих и начал один раскапывать пустоту вроде ниши, забитую песком. Потом перешел на противоположную сторону раскапывать под сводом. Вдруг возле локтя выпал комок. Неужели, думаю, обвал? Едва успел подумать, как рядом со мною грохнуло несколько кубометров. Какое счастье, что ушли рабочие! А меня судьба бережет. Вероятно, не все сделал, чего она ждет. Во всяком случае, это суровое предупреждение. Следует быть очень осторожным. Неразумно погибнуть на последнем пути к мечте человечества благодаря собственному ротозейству».

«Охота пуще неволи», – шутили рабочие над ученым, не расстающимся с лопатой.

«Кто же учтет вашу работу?» – спрашивали они его, но Стеллецкий только усмехался. Ему хотелось первому проникнуть в «либерей».

«Сегодня уже нащупан шов, – отметил Стеллецкий 2 марта 1934 года, – которым связана белокаменная закладка 230 лет назад с белокаменным же ровным потолком итальянского хода четырехсоттридцатилетней давности... Завтра буду выбирать песок и искать противоположную стену. Если такую найду, библиотека Ивана Грозного, Ивана Губителя – так называл его Забелин – найдена!»

«Открыто обширное – шесть метров в диаметре – сводчатое помещение, забитое землею, забранное досками и засыпанное песком», – докладывал он коменданту Кремля.

Но подземный ход был заложен камнями глубже, чем предполагал Стеллецкий, и он вскоре наткнулся на еще одно серьезное препятствие – воду!

В 1912 году, исследуя в первый раз подземелье Арсенальной башни, Стеллецкий заметил в нем только грязь и пришел к выводу, что «в настоящее время вода исчезла».

Конечно, когда рабочие начали прокапывать ров вокруг стоявшего посреди башни ветхого колодца, археолог забеспокоился, как бы вода не прорвалась в тайник – ведь сруб был совсем гнилой. Он даже приготовил об этом докладную записку коменданту. Но все обошлось благополучно.

Поздно вечером 23 марта того же 1934 года, возвращаясь с заседания научно-исследовательского совета при Метрострое, Стеллецкий заглянул под башню. Работа там уже велась в две смены. Опасности никакой не было. Но, опустившись в подземелье на следующий день утром, ученый пришел в ужас.

«Вода совершенно залила ров, – сделал он вечером запись, – и полилась в тайник, вероятно, до самого песка. Вскоре после того, как я ушел, рассказывали рабочие, в левом углу тайника появилось пятно. «Кто это воду разлил?» – спросил один землекоп. Вдруг рядом показалось другое, еще более крупное. Вода начала пробиваться в разных местах, даже в глубине тайника».

О том, что под Кремлем имеется источник, было известно и раньше. Как свидетельствует летопись, угловая кремлевская башня была перенесена итальянцем Солари на новое место, именно туда, где был обнаружен источник. В 1894 году князь Щербатов обследовал колодец, но Стеллецкий пошел дальше его. Выкачав из колодца всю воду и вычистив его, землекопы нашли в центре башни вырезанную на ее дне круглую цистерну, сооруженную итальянцем Солари для снабжения всего Кремля в случае осады свежей питьевой водой.

Стеллецкий невольно вспомнил древние цистерны, виденные им тридцать лет назад в Константинополе и Иерусалиме. Особенно сильное впечатление произвели на него тогда глубокие кувшинообразные цистерны, высеченные в неприступной скале древней иудейской крепости Иотаната. Путеводитель умалчивал о ней. Ходили слухи, что местные проводники сами точно не знают, где она находится, и показывают обычно совсем другие развалины. Стеллецкий дважды пытался это проверить. В первый раз он чуть не заблудился в горах и к ночи, так и не найдя никакой крепости, еле добрался до Назарета. Через год, сопровождаемый учителем-арабом, преподававшим в русской школе, он, наконец, нашел изрытую пещерами круглую голую скалу. В двух прикрытых камнями цистернах, продолбленных в самой ее вершине, еще сохранилась вода.

Дальнейшие раскопки, произведенные Стелleckким в подземелье угловой кремлевской башни, показали, что в начале XVIII века при постройке арсенала место стыка акведука<sup>15</sup> с ведущей к цистерне каменной лестницей было разрушено. Опасаясь затопления арсенала, ставший ненужным акведуком тогда же забили каменной пробкой, заложили толстым слоем глины и речным песком, но вода все же пошла самотеком по каменному дну тайника, подмыла почву под фундаментом средней Арсенальной башни и арсенала и вызвала их осадку. Может быть, она была даже причиной трещин в его стенах, приписываемых взрыву, произведенному французами в 1812 году.

При расчистке дна Арсенальной башни были найдены монеты разных годов, вероятно оброненные работавшими в ее подземелье рабочими. По этим монетам Стеллецкий установил, что с затоплением башни боролись больше ста лет, засыпая ее землей и мусором. Но вода все же размывала стены башни почти на метр, а фундаменты соседней, средней Арсенальной, и самого арсенала двести лет мокли в стоячей воде.

Работы по откачиванию воды и расчистке подземелья от грязи затянулись. Они не требовали присутствия археолога, и Стеллецкий подал коменданту Кремля новую докладную записку – об изменении фронта работ.

Была уже глубокая осень 1934 года, когда в Кремле собралась авторитетная комиссия при участии видных специалистов: академика архитектуры Щусева, главного архитектора Кремля Виноградова и других.

В решении комиссии предлагалось дальше расчистить цистерну Арсенальной башни до «исторического дна», устроить новый водоотвод и реставрировать поврежденные водой стены башни, а также ведущую к цистерне кирпичную лестницу.

Самая важная для Стеллецкого часть решения, касавшаяся дальнейших поисков библиотеки Ивана Грозного, гласила: после того как будут закончены работы по реставрации подземелья башни и сооружен новый водоотвод, продолжать расчистку вновь открытого хода.

Стеллецкому уже было под шестьдесят; он почувствовал себя уставшим. Предложение коменданта Кремля съездить в Сочи отдохнуть пришлось очень кстати. Работы пока можно было продолжать и без него.

Проведя отпуск на черноморском побережье Кавказа, археолог в начале 1935 года вернулся в Москву. Первым его побуждением было позвонить коменданту Кремля. Но в телефонной трубке он услышал другой, незнакомый ему голос. Гражданский отдел Кремля, ведавший, между прочим, и археологическими раскопками, был тем временем упразднен, и эти раскопки прекращены.

## **МАКТАБА – «ВЕЛИКОЕ ИСКОМОЕ»**

Работы по сооружению нового водоотвода были закончены. Стеллецкий случайно узнал, что в Арсенальной башне опять поднялась вода. Он схватился за голову: а что, если она просочится в заветный тайник с библиотекой и промочит драгоценные книги?

<sup>15</sup> Акведук – сооружение в виде моста с желобом для пропуска воды над оврагами, ущельями и дорогами.

«Дамоклов меч над тайником!» – записал он в этот день в своем дневнике.

Бывший производитель работ каждый день звонил по телефону главному инженеру Кремля, осведомлялся о принимаемых мерах, как будто речь шла о спасении жизни опасно больного. Наконец тот его успокоил: вода из башни спущена в канализационную сеть.



Продолжая считать себя ответственным за судьбу «Великого Искомого», Стеллецкий подает в правительственные учреждения заявление за заявлением. Он просит разрешить ему продолжать подземные работы вне Кремля со стороны Москвы-реки, ходатайствует о возобновлении прерванных еще в 1930 году археологических изысканий в селе Коломенском, где, по предположению кладоискателя, помещался «филиал» библиотеки Ивана Грозного (в селе Коломенском находился когда-то загородный царский дворец, в котором якобы трудился над переводами иноязычных книг Максим Грек).

Незадолго до начала Великой Отечественной войны неутомимый Стеллецкий предложил Президиуму Академии наук СССР «обсудить вопрос о результатах вековых поисков библиотеки Ивана Грозного, в частности в советское время». Это заявление было передано в отделение общественных наук Академии, переславшее его в Институт истории, откуда оно поступило в «Комиссию по истории Москвы».

Секретарь этой комиссии профессор П. Н. Миллер попросил Стеллецкого представить краткий проект или тезисы своего доклада. Археолог ответил довольно заносчиво, что в результате произведенных им в Кремле поисков он открыл верный путь к тайнику, где

спрятана библиотека Ивана Грозного. Его заключения не нуждаются в подтверждении, так как они опираются на факты.

Профессор Миллер напомнил Стеллецкому, что вопрос о библиотеке Ивана Грозного уже достаточно выяснен Белокуровым, но все же посоветовал обратиться в московское отделение Института истории материальной культуры, занимающееся непосредственно археологическими раскопками. Но туда археолог не пошел, так как в этом институте у него было еще больше противников, чем в «Комиссии по истории Москвы».

«Вот если бы найти подлинник «списка Дабелова»!« – снова мелькнула мысль у Стеллецкого. Ведь на одном из диспутов, происходивших уже в советское время, академик Лихачев сказал: «Дайте мне пощупать этот список, и я поверю в существование библиотеки Ивана Грозного...»

Наступил 1941 год. Эстония была уже снова советской, и поехать в Пярну было теперь нетрудно. Стеллецкий, вероятно, так бы и сделал, если бы во второй раз этому не помешали чрезвычайные обстоятельства: гитлеровские захватчики перешли советскую границу – началась война...

Когда враг был отброшен и уничтожен, тысячи городов и сел лежали в развалинах, и было столько неотложных нужд, что никто не позволил бы себе поднимать вопрос о возобновлении поисков библиотеки, исчезнувшей несколько веков назад. Стеллецкий и не стал этого добиваться. Он даже не съездил в освобожденную от гитлеровских оккупантов Эстонию. Трудно было рассчитывать, что местный архив в Пярну мог уцелеть. Здоровье престарелого археолога с каждым днем ухудшалось, и в 1949 году он окончательно потерял трудоспособность. Внезапное тяжелое заболевание – поражение одного из важнейших мозговых центров – вызвало серьезное нарушение его деятельности, называемое неврологами «афазией»: археолог перестал понимать разговорную речь и сам стал произносить слова, как думали многие, «не принадлежащие ни к какому языку». В то же время он производил впечатление вполне здорового общительного человека; он ходил из угла в угол по своей «пещере», разговаривая сам с собой и произнося речи на этом, ему одному известном языке.

Обо всем изложенном в последних двух главах автор вряд ли смог бы рассказать так подробно, если бы однажды, наводя справки в Музее истории и реконструкции Москвы о результатах последних поисков библиотеки Ивана Грозного, он не наткнулся в архиве музея на очень тоненькую картонную папку. В ней лежало всего несколько сколотых скрепкой бумажек: переписка секретаря «Комиссии по истории Москвы» профессора Миллера по поводу предложенного Стеллецкий доклада «о вековых поисках библиотеки Ивана Грозного». Тут же было подколото и заявление самого Стеллецкого, не забывшего указать на том же листке и свой адрес.

Я знал, что неистового кладоискателя уже нет в живых, так же как и многих его противников, в том числе и Миллера, но все же отправился по этому адресу в надежде разыскать кого-нибудь из его родных.

Маленький двухэтажный домик на одной из старых, отписанных во времена Ивана Грозного «в опричнину» московских улиц, показался мне очень ветхим. На наружных дверях не было даже обычного списка жильцов, и, позвонив наугад, я приготовился уже к бесславному бегству, когда на мой робкий вопрос: «Не живет ли в этой квартире кто-нибудь из Стеллецких?» – последовало любезное приглашение: «Как же, пройдите, вдова его как раз дома».

Закутанная в платок пожилая женщина приветливо предложила мне войти в комнату, заставленную старомодной мебелью и увешанную портретами угрюмого старика с коротко подстриженными усами и такой же бородкой. На дверях с внутренней стороны бросались в глаза следы какой-то росписи.

– Нет, его последняя «пещера» была не здесь, а в соседней комнате, – пояснила Мария Михайловна, вдова археолога, и, заметив мой вопросительный взгляд, добавила: – Все, что представляло какую-нибудь археологическую ценность, я сдала в Исторический музей.

– И рукописи? – задаю я, наконец, особенно интересующий меня вопрос.

– Все его литературное наследство тоже стало теперь собственностью государства. У меня же остался только дневник – заметки, которые он делал во время поисков библиотеки Ивана Грозного в Кремле, да несколько черновиков разных заявлений, связанных с этими поисками. Ведь самые сокровенные свои записи он вел на украинском языке; я их перевела на русский...

Просмотрев дневник археолога и сделав из него уже знакомые читателю выписки, я не мог удержаться от дальнейших расспросов о последних днях последнего искателя легендарной «либерии».

– Ах, это были такие мучительные дни!.. Он был в полном сознании и непрерывно о чем-то говорил, но я, несмотря на все мои старания, не могла уловить в его речи ни одного понятного слова. Порой мне казалось, что он говорит на каком-то восточном языке, которого я не знаю. Я слышала, что при этой болезни бывали такие случаи, когда человек забывал только свой родной язык, но мог говорить на последнем из тех, которые он изучал.

– Какие же языки он знал?

– Позже других он изучил арабский. На нем он научился говорить во время двухлетнего пребывания в Палестине, но проверить, говорил ли он именно на этом языке перед смертью, я не могла...

Тут я вспомнил, что в студенческие годы, учась в Московском институте востоковедения, я изучал именно арабский язык, как вспомогательный к персидскому, и даже читал в подлиннике сказки из «Тысячи и одной ночи». Эти знания, к сожалению, давно выветрились, но некоторые арабские слова все же удержались в моей памяти, и я тут же их выложил:

– Мактаба... ахфурун... наббаша...

Мария Михайловна взглянула на меня с удивлением:

– Похоже, очень похоже на то, что он говорил. В некоторых из них я не совсем уверена, а вот первое – «мактаба» он повторял очень часто.

– Оно происходит от арабского глагола «катаба» – читать и значит «библиотека», – воспользовался я случаем блеснуть остатками своих знаний. – Другие два означают – «находку», «поиски чего-нибудь глубоко запрятанного», так же как, например, глагол «истанбата» означает «докапываться до источника».

О чем же другом он мог говорить перед смертью, как не о «мактаба», о драгоценной библиотеке, которую он мысленно уже привык считать своей, о своем «Великом Искомом»? О «мактаба», прославленной им в десятках лекций и статей.

Я перебираю черновики последних заявлений Стеллецкого в разные научные и общественные государственные учреждения, вчитываюсь особенно внимательно в зачеркнутые места – следы происходившей в нем внутренней борьбы, смены доводов и сомнений, упреков и требований, похожих порой на заклинания:

«...Путь к ней не только нашупан, он уже открыт. Ей никуда не уйти. Она взята в клещи с двух сторон. Двести лет назад Кононом Осиповым со стороны Тайницкой башни, теперь мной, со стороны Арсенальной.

...Двести лет искатели разбивали себе лбы о монументальную каменную стену, преграждавшую путь к либерее под землей. Я ее пробил.

...Я выяснил, что это была даже не стена, а еще более мощная каменная пробка, казавшаяся Конону Осипову стеной.

...Я нашел исторический подземный ход дьяка Макарьева, аристотелевский по плану, алевизовский по выполнению, тот самый, которым он прошел в первый раз от Тайницкой башни к Арсенальной, когда увидел заставленные сундуками палаты. Этим же ходом дважды пытался с разных сторон пройти Конон Осипов. Во второй раз чуть было не прошел, помешали дьяки, пожалели лес для крепления.

...Мне никто не мешал. Я первый пробил мощную закладку. За ней оказалась исполинская подземная улица, забитая песком. Оставалось ее очистить и взять сокровища голыми руками.

...Мне удалось одолеть приступом двухвековой каменный барьер и проникнуть в заповедный потайной ход из тесаных плит трехметровой ширины.

...Если бы работа была продолжена, я бы уже стучался в двери либерей...»

В одном из своих заявлений энтузиаст-кладоискатель даже уверял, что, если поиски не возобновятся немедленно, сокровище уже никогда не будет найдено и бесследно исчезнет, как в старину, по народным поверьям, исчезали «блуждающие» клады. Но такие не имевшие ничего общего с наукой доводы, разумеется, никого не могли убедить.

Стеллецкий не знал, что он стучится в открытую дверь. Подземные работы в центре Москвы продолжались. Но они велись уже без участия археолога, учреждениями; ведавшими строительством бомбоубежищ и газоубежищ. Однако «заставленного сундуками и книгами тайника» при этом обнаружить не удалось.

До конца своих дней Стеллецкий оставался бескорыстным и настойчивым кладоискателем-фанатиком. Поиски его были безуспешными. Но следует ли поэтому считать, что вопрос о существовании библиотеки московских государей уже решен отрицательно и что любая попытка возобновить розыски потерпит такой же крах?

С этим вопросом мы обратились к известному исследователю древнерусской культуры, ученому консультанту фундаментальной библиотеки Академии наук СССР – И. Н. Кобленцу и получили от него следующий ответ:

– Производившиеся в течение трех столетий поиски библиотеки Ивана Грозного по разным причинам не были доведены до конца. Раскопки не дали прямых подтверждений существования этой библиотеки. Но многочисленные косвенные указания исторических источников позволяют считать, что имеется достаточно научных оснований для дальнейших поисков.

Таково мнение ученого-книговеда. А вот что думает по этому вопросу известный советский историк, автор учебника по источниковедению, академик М. Н. Тихомиров:

«Может быть, сокровища царской библиотеки лежат еще в подземельях Кремля и ждут только, чтобы смелая рука попробовала их отыскать». Это было сказано совсем недавно на страницах журнала «Новый мир».

Находка этих сокровищ имела бы, по мнению многих ученых, огромное значение для науки.

## **глава 2**

### **ЗАГАДОЧНЫЕ ПРИПИСКИ**





РАЗГОВОР В БОЛЬНИЦЕ



Вы спрашиваете, за что вам теперь взяться? Какую тему выбрать для следующей работы? Что ж, я мог бы подсказать одну очень интересную тему, Я сам хотел ею заняться, но все как-то не удавалось. А теперь, вероятно, уж и не смогу...

Сказано это было с еле заметным оттенком горечи. Лежавший в постели еще не старый, но тяжело больной человек уже приучил себя к мысли о близкой смерти. Но этим его словам не хотелось верить, столько было еще бодрости и живости в его глазах. Больной с грустью посмотрел на свою исхудавшую руку.

– Да, мне бы еще лет пять пожить, ну, хотя бы годика три, пускай год – и я доделал бы по крайней мере самое важное. Но оставим этот разговор... Я хочу вам предложить одну нелегкую работу, которая, несомненно, вас заинтересует как будущего историка-источниковеда. Речь идет о весьма головоломной загадке. Решение ее имело бы огромное значение...

– Спасибо, Михаил Дмитриевич. А справлюсь ли я с такой, как вы сами говорите, нелегкой работой? Хватит ли мне моих студенческих знаний?

– Думаю, что справитесь. Ваши первые опыты – статья о летописных источниках, посвященных Куликовской битве, и книжка о нашествии Батыя – убеждают меня в этом. Одним словом, берите блокнот и записывайте! – Больной, как бы заранее отстраняя все возражения, сделал резкий жест рукой. – Вы, вероятно, знаете, что в шестнадцатом веке по желанию Ивана Грозного была создана многотомная всемирная история, так сказать «от сотворения мира» и почти до середины его собственного царствования.

– Вы имеете в виду так называемый Лицевой свод?

– Вот именно, большой, многотомный труд, написанный великолепным четким почерком – полууставом и исполненный «в лицах», то есть украшенный цветными миниатюрами – рисунками лучших художников того времени. Этих миниатюр было сделано около шестнадцати тысяч. Свод писался на специально закупленной во Франции отличной королевской бумаге. Короче, на создание этого монументального труда было затрачено немало усилий и средств. Разумеется, он должен был прежде всего прославить царствование самого Ивана Грозного. Однако как раз с посвященным ему последним томом и приключились всякие странности. Вы что-нибудь знаете об этом?



– Нет, не знаю.

– Ну, тогда слушайте внимательно. Последний том Лицевого свода принято называть Синодальным списком. Его так окрестили потому, что он когда-то принадлежал библиотеке Синода. В этом томе изложены события тридцати двух лет – с 1535 по 1567 год, то есть с того дня, когда Ивану Грозному исполнилось пять лет, и до разгара опричнины. И вот, на листах этого тома, начисто переписанного и, как можно судить по раскрашенным рисункам, уже полностью законченного, чья-то неизвестная нам рука сделала многочисленные поправки, приписки, вымарки... Пришлось переписывать его заново. Так родился второй вариант этой летописи, обнаруженный в XVIII веке историком князем Щербатовым среди всякого хлама в патриаршей библиотеке и названный Царственной книгой.

– Ну, и как же? – спросил внимательно слушавший больного собеседник. – В этом втором варианте были учтены поправки неизвестного автора?

– В том-то и дело, что все они, до единой, оказались внесенными в текст Царственной книги. Но самое удивительное случилось потом. Когда Царственная книга была уже готова, та же властная рука испещрила ее листы новыми замечаниями, добавлениями и поправками.

– Значит, и второй вариант летописи был испорчен тем же придирчивым редактором?

– Еще как! На этот раз он сделал в десять раз больше приписок и поправок, а главное, перечеркнул многое из написанного раньше им самим. Прежние свои вставки он заменил другими, большей частью с ними несовместимыми, даже опровергающими их. Видите, какая штука! Вот и надо выяснить, кто и зачем этим занимался.

– Не понимаю пока, что тут трудного, – пожал плечами юноша, – надо взять и сравнить почерк приписок с почерками живших в том веке государственных деятелей, и автор сразу обнаружится.

– Недурно для начала, – улыбнулся ученый. – Когда не знаешь сущности вопроса, всегда приходят в голову самые простые его решения.

Но почему же нельзя так сделать? – смутился студент. Да потому, мой друг, что до нас не дошли, за ничтожными исключениями, автографы тогдашних государственных деятелей.

Разве? А автографы самого Ивана Грозного?

– Ни одной буквы, написанной им, мы пока не знаем.

– То есть, как это «не знаем»? А его знаменитые послания к князю Курбскому и в Кирилло-Белозерский монастырь, письма к «пошлой девице» Елизавете, королеве английской, и другие?

– Все это дошло до нас только в списках, сделанных значительно позже, в семнадцатом веке, то есть лет через сто после написания подлинников. Что же касается официальных документов того времени, то все они переписаны руками писцов.

– А я всегда думал, что Иван Грозный сам писал, по меньшей мере, черновики исходивших от него бумаг, – удивился студент. – Ну и, наконец, подписывал он хотя бы грамоты, рассылавшиеся от его имени во все концы Руси?

– В том-то и беда, что в то время не было обычая хранить черновики. Поэтому мы и не знаем подлинной истории многих памятников древней письменности. Последний же том Лицевого летописного свода является в этом отношении счастливым исключением, потому что правка наносилась на листы уже готовой книги. Это редчайший и единственный известный науке случай, когда мы можем проследить черновую историю древнего памятника. Что же касается подписи Ивана Грозного, то искать ее безнадежно. Когда дьяк того или иного приказа приносил царю начисто переписанную грамоту, царь прикладывал к ней вместо подписи свою личную печать. Она была вделана в перстень, который он носил на указательном пальце правой руки. В некоторых случаях прикладывалась другая, так называемая «Большая Государева печать» с изображением орла.

– А скажите, Михаил Дмитриевич, приписки как исторический источник представляют какой-нибудь интерес?

– Не какой-нибудь, друг мой, а самый наипервейший. Целый ряд важнейших политических событий XVI века и много характеризующих ту далекую эпоху ценных деталей известны нам только из одного источника – из замечательных приписок неведомого редактора Лицевого свода. Ни в основном тексте свода, ни в других летописях вы этих сведений не найдете.

– Простите, Михаил Дмитриевич, – продолжал расспрашивать студент, – но вы, кажется, сказали, что приписки, сделанные при первом редактировании, противоречат последующим замечаниям того же редактора?

– Да, и вот в этом-то вся трудность. Надо определить, почему в первом случае сообщается одно, а во втором – иногда совсем другое.



«Большая Государева печать» Ивана Грозного.

– Но как же можно доверять такому источнику, даже если он единственный?

– Каждый источник надо исследовать. Только тогда можно решить: заслуживает он доверия или нет. А при изучении документа нередко выясняется, что если он в чем-нибудь отступает от истины, в нем все же можно найти ценные сведения. Даже искажающим факты источником нельзя пренебрегать. Внимательный исследователь должен выяснить причину их искажения. Это поможет ему понять обстановку, в которой появился документ. Если вы в самом деле возьметесь за исследование загадочных приписок, вы столкнетесь, например, с таким фактом. В одной из них сообщается, что в 1542 году трое русских воевод по своей нерадивости и трусости сдали несколько городов крымскому хану. Попробуйте проверить это известие по разрядным книгам – беспристрастным записям о назначениях и перемещениях военачальников. Вы обнаружите, что воевод обвиняли напрасно. Во время набега крымцев они находились в других местах. О чем же свидетельствует возведенное на них обвинение? Да о том, что к тому времени, когда была сделана приписка, воеводы, о которых идет речь, попали в опалу и на них свалили вину за чужие ошибки.

– Выходит, что надо не только установить, кто автор приписок, но и выяснить, что из написанного им – правда, а что – нет.

– Именно так, – кивнул ученый. – И, кроме того, конечно, вы должны установить и те мотивы, которые побудили автора излагать события в том или ином освещении. Он ведь не предполагал, что его черновики подвергнутся исследованию, а рассчитывал, что приписки будут включены в текст летописи, и ровные строчки полуустава навсегда скроют следы его вмешательства в описание исторических событий.

– Все это в самом деле очень увлекательно, Михаил Дмитриевич. Но, берясь за такую работу, надо обладать способностями, по крайней мере, Шерлока Холмса.

– Ваша задача, мой друг, значительно труднее, – оживился больной. – Шерлок Холмс имел дело с современными ему фактами, а вам придется разбираться в том, что было четыреста лет назад.

– Можно еще один вопрос? – нерешительно сказал студент. – Он будет последним. Я вижу, что очень утомил вас.

– Нет, нет, ничего, пожалуйста.

– Как могло случиться, что такие важные записи оставались чуть ли не двести лет вне поля зрения историков?

– Можно было бы обвинить в этом князя Щербатова. Наспех приведя в порядок разрозненные листы найденной им Царственной книги, он поднес ее Екатерине Второй, «яко достойную любопытства», и получил разрешение ее издать. Но он сделал это довольно неряшливо. Приписки неизвестного редактора он включил в основной текст без всяких оговорок и примечаний и, таким образом, как бы накрыл их шапкой-невидимкой. Изучая Царственную книгу по его изданию (подлинник-то не каждому был доступен), читатель не обнаруживал в ней никаких приписок. Они объявились снова лишь через много лет, когда было выпущено первое научное издание русских летописей. Но, строго говоря, взваливать всю ответственность на князя Щербатова нельзя. Содержавшиеся в приписках сведения историки использовали уже давно. Вы найдете их в любом учебнике, в любой популярной книжке об Иване Грозном, не говоря уже о посвященных ему повестях и романах. Вы тоже, конечно, читали о боярском мятеже 1553 года в дни опасной болезни Грозного... Все это так романтично выглядит: царь умирает, бояре взбунтовались у него на глазах, больной умоляет царицу бежать с маленьким царевичем за границу, мятежники выдвигают другого царя... И вдруг, к ужасу бояр, умирающий поправляется...

– Да кто же этого не знает!

– А было ли так на самом деле? Известно ли вам, что об этом столь важном событии молчат все летописи. Рассказ о мятеже 1553 года содержится только в приписке, сделанной неведомым автором при втором редактировании. Прежде он удовлетворялся кратким рассказом о болезни Ивана Грозного в основном тексте Лицевого свода... Больше того, в первых приписках их автор сообщает сведения, просто несовместимые с позднее сделанной вставкой о мятеже.

– Ну, а все-таки, как же историки? – Студент, видимо, забыл, что он обещал больше ни о чем не спрашивать больного.

– Да, да, я еще не полностью ответил на ваш вопрос. Дело в том, что Лицевой свод долгое время считался произведением XVII века, созданным через сто лет после событий, описываемых в его последнем томе. Отсюда вытекало, что автор приписок был не современником этих событий, а уже историком. Ну, а с историка, как говорится, взятки гладки. При первом редактировании он мог пользоваться одними материалами, а потом наткнулся на новые, более подробные сведения, ради которых он и стал вторично исправлять основной текст. Рассуждая так, позднейшие историки спокойно выбирали из противоречивших друг другу приписок более поздние, так как они были богаче разными подробностями. Оказываемое им предпочтение объяснялось и крайней скудостью сведений о тех давно прошедших временах. Вот когда академик Лихачев, изучая водяные знаки на старинной бумаге, доказал, что Лицевой свод создавался не в середине семнадцатого века, а на сто лет раньше и отсюда вытекало, что автор приписок – современник описанных им событий, тут уж, казалось бы, следовало пересмотреть отношение к этому историческому источнику. Но если современник события излагает его дважды и каждый раз по-другому, – значит, в одном случае он наверняка пишет неправду. В каком же именно? Это-то и надо узнать. К сожалению, после того как выяснилось, что приписки сделаны в шестнадцатом веке, никто из историков ими больше не занимался. Каждый брал оттуда то, что ему больше нравилось. Известие поподробнее да побольше размером всегда перевешивало. Вот и выбирали, так сказать, «на вес».



По этим водяным  
знакам академик  
Н. П. Лихачев  
определил, в каком  
веке было написано  
Царственная книга.

Рассказчик, казалось совсем забывший о своей болезни, засмеялся...

– Вот, только покойный- Александр Евгеньевич Пресняков, еще в молодом возрасте, обратил внимание на приписки. Он не на шутку заинтересовался ими и заметил многое из того, что я вам сейчас рассказал. Но он в то время целиком находился под влиянием академика Соболевского, считавшего Лицевой вод памятником семнадцатого века, и это помешало ему в них разобраться. Позднее, после того как Лихачев доказал, что Соболевский ошибся на сто лет, Александр Евгеньевич к припискам уже не возвращался. Это, собственно, и все, что я могу вам сообщить. Остальное, я надеюсь, вы выясните уже сами.

Прощаясь со своим учеником, больной достал из стоявшей возле его постели тумбочки незапечатанный конверт.

– Это письмо в издательство по поводу моей книги, – пояснил он. – Я хочу попросить поместить на титульном листе посвящение. Я посвящаю свой труд вам.

– Мне?!

– Не вам лично, а всем вам, моим дорогим и близким – студентам исторического факультета Ленинградского университета.

Этот разговор происходил 16 января 1941 года в одной из палат Ленинградского Рентгеновского института, где уже два месяца лежал больной раком выдающийся русский историк декан исторического факультета Ленинградского университета профессор Михаил Дмитриевич Приселков, автор известного труда «История русского летописания» и многих других интересных и смелых исследований.

Собеседником ученого был студент четвертого курса исторического факультета Даниил Натанович Альшиц. Ни учитель, ни ученик не подозревали в тот день, что они разговаривают в последний раз. Через три дня профессор Приселков скончался.

Не скоро, однако, удалось начинающему исследователю приступить к изучению загадочных приписок на листах Лицевого свода.

В июне 1941 года, когда экзаменационная сессия была в самом разгаре, началась Великая Отечественная война. Среди студентов исторического факультета, ушедших добровольцами на защиту Ленинграда, был и Д. Н. Альшиц. В течение всей войны он служил в частях Ленинградского фронта. Сразу же после победы над фашистской Германией демобилизованный старший лейтенант Альшиц вернулся в университет и сдал экзамены за последний курс. Дипломная работа его называлась «Приписки к Лицевому своду XVI века». Это был только первый вариант будущего обширного исследования, представленного им по окончании аспирантуры на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

## **ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ**

Не без трепета приступил молодой историк к самостоятельному изучению текстов знаменитого Лицевого летописного свода, создававшегося при Иване Грозном.

Подлинники их хранились в Московском Историческом музее. Но исследование текстов можно было начинать и в Ленинграде, так как они были хорошо изданы, а некоторые листы с приписками даже сфотографированы.

Рукопись Синодального списка дошла до наших дней с большими изъянами. В ней не хватало начала и многих листов. В результате этого в летописных сведениях образовались пропуски. В одном месте за целое десятилетие, в другом – за три года.

Но пробелы эти восполнялись по другим текстам, главным образом по сохранившемуся второму варианту этого списка – Царственной книге.

Внимательно исследуя Синодальный список – тот самый, на котором были сделаны первые приписки, – и сравнивая его с рассказывавшей о том же периоде русской истории так называемой Никоновской летописью, Д. Н. Альшиц пришел к выводу, что этот список, видимо, подвергался особенно тщательной обработке еще до представления на просмотр придирчивому редактору. Во многих местах он отличался от других списков более точным и четким слогом. Бросалось в глаза, что только здесь, так же, впрочем, как и в повторявшей этот текст Царственной книге, двоюродный брат Ивана Грозного, заподозренный им в намерении захватить власть и впоследствии умерщвленный князь Владимир Старицкий нигде не назывался «государевым братом». Там же, где писец по привычке все же употреблял это выражение, часто встречавшееся в других летописях, эти два слова были старательно вымараны. Создавалось впечатление, что Синодальному списку была предназначена какая-то особая роль.





Тот же в 3-м. среди панами сий в  
 тие чюмт цюмарины ласе мотас дин

**Выезд умирающей  
 царицы Анастасии,  
 любимой жены  
 Ивана Грозного  
 из горящей Москвы.**

Кончался он описанием событий августа 1567 года.

Значит, рассуждали обычно исследователи, редактор должен был просмотреть список и внести в него свои исправления после этой даты. Такой, на первый взгляд, очевидный вывод и сделали все историки, изучавшие Лицевой свод. После того как академик Н. П. Лихачев установил, что он создан не в XVII веке, как ранее предполагали, а в XVI, все считали, что приписки на Синодальном списке и на Царственной книге были сделаны почти одновременно, в конце 60-х – в начале 70-х годов XVI века. Но Альшиц в этом усомнился. Если первые и вторые приписки делались почти одновременно, чем объяснить столь резкие и несовместимые противоречия первого и второго вариантов? И еще одно важное соображение: испещренный поправками последний том Лицевого свода был заново переписан. Одних только миниатюр пришлось перерисовать больше тысячи. Такая кропотливая и трудоемкая работа тоже не могла быть проделана в короткий срок. Между первым и вторым редактированием должно было, видимо, пройти значительное время.

Продолжая изучать Синодальный список, исследователь заметил, что приписки на его полях распределены неравномерно. Последняя была сделана в том месте, где рассказывалось

о событиях 1557 года. К изложению истории дальнейших десяти лет почему-то не было сделано ни одной поправки.

А как раз это десятилетие было насыщено важными событиями. Оно начиналось смертью любимой жены Ивана Грозного царицы Анастасии, по-видимому отравленной его недоброхотами. Впервые предстал перед судом двоюродный брат царя князь Владимир Старицкий, заподозренный в измене. Умер царский наставник митрополит Макарий, составитель первой части Летописного свода. Изменил Грозному, сбежал в Литву его любимец князь Курбский. Разгневанный боярскими изменами и интригами, царь переехал из Кремля в Александрову слободу и «учинил опричнину», основал «особый двор государев» – свое особое государство в государстве.

Может быть, приписки на Синодальном списке прекратились потому, что автор их в это бурное десятилетие сам подвергся опале или предусмотрительно удалился от дел? Наконец он мог заболеть или даже умереть? Нет, все эти предположения тоже пришлось отбросить. Ведь, было известно, что редактор Синодального списка вносил потом свои поправки и во второй его вариант – Царственную книгу.

Тогда исследователю пришло в голову решение, которое, несмотря на свою простоту, сразу ответило на все недоумения и открыло дорогу важным выводам. Синодальный список был представлен требовательному редактору не весь. Сначала он получил только его первую часть, на которой и были сделаны первые приписки. После этого в редактировании произошел длительный перерыв. Пока текст переписывался набело и перерисовывались миниатюры, как раз и разыгрались бурные события, потребовавшие пересмотра написанного и новых вставок.

Такое предположение подтверждалось и внешним видом рукописи. Вся первая половина Синодального списка до известия о смерти жены Ивана Грозного пестрила яркими заголовками, выведенными киншварью. Их было более трехсот. В остальной же части, описывающей 1560–1567 годы, Д. Н. Алыниц насчитал их только четыре. Налицо была резкая разница в манере оформления этой части Лицевого свода по сравнению с предыдущей. Она могла быть объяснена смертью его составителя митрополита Макария, очевидно замененного другим лицом. Однако факт оставался фактом: части рукописи за 1535–1560 и за 1560–1567 годы были написаны по-разному, а следовательно, в разное время.

Сделанный молодым ученым смелый вывод о том, что Синодальный список был разделен на две части, подкреплялся еще одним наблюдением, касавшимся уже его содержания. Во второй, неотредактированной части под 1564 годом было записано сообщение о смерти казанского архиепископа Гурия. Рядом было оставлено свободное место для указания: сколько лет пробыл Гурий на своем посту. Но сведения об этом в первой части имелись. Отсюда напрашивался вывод, что, когда писалась вторая часть текста, посвященная 1560–1567 годам, этой первой части под рукой уже не было. Она, следовательно, была уже отослана редактору.



Но где же писалась эта первая часть до отправки редактору, а затем и вторая часть летописи? Это тоже удалось установить. Ученый исследовал дошедшую с времен Ивана Грозного опись царского архива. К большой своей радости, он обнаружил в ней следующую запись «Ящик 224. А в нем списки, что писать в летописец, лета новые. Прибраны от лета 7068 (1560) и до 76 (1568)».

Эта запись явно означала, что вторая часть Синодального списка за годы 1560–1568 была отдельно «прибрана» (хранилась) в архиве. Тем самым она подтверждала и догадку источниковеда: первая часть летописи, доведенная как раз до 1560 года, была послана на просмотр редактору раньше второй части и независимо от нее. Этот вывод сводил на нет заводившее в тупик предположение о том, что первые приписки делались после 1567 года, почти одновременно со вторыми. Теперь было доказано, что первая правка, вероятно, была сделана раньше, то есть после 1560 года.

Когда же именно? Этот вопрос и поставил перед собой молодой ученый.

Исследователь установил, что одни и те же события, упоминаемые как в тексте Синодального списка, так и на страницах Царственной книги, освещаются автором приписок по-разному.

Так, например, к рассказу о вражде между князьями Шуйским и Вельским, внесенному в летопись под 1539 годом, на полях Синодального списка было приписано, что в этой расправе пострадал боярин Михаил Васильевич Тучков, которого Шуйские «сослаша с Москвы в его село».

В Царственной же книге этот рассказ был изложен уже иначе. Теперь из жертвы боярской уособицы Тучков был превращен в ее зачинщика.

Д. Н. Альшиц обратил внимание на одно обстоятельство: Михаил Васильевич Тучков являлся дедом изменившего Ивану Грозному князя Курбского. Эта, казалось бы, маленькая деталь проливала свет на многое.

Приписка в Синодальном списке, где Тучков сочувственно изображался жертвой, могла быть сделана только до измены Курбского и до опалы, поразившей всех его родственников. Вторая – после нее. Курбский же бежал в Литву в 1564 году. Значит, Синодальный список редактировался до этого года, а Царственная книга – позднее.

Догадку надо было проверить. Вскоре после своего бегства Курбский написал Ивану Грозному оскорбительное письмо, на которое царь ответил длинной отповедью, известной под названием «Царево государево послание во все его Российское царство об измене клятвопреступников его – князя Андрея Курбского с товарищами». В этом письме он называл Тучкова изменником и сравнивал его со змеей: «а понеже еси порождение исчадия ехиднова – по сему тако и яд отрыгаеши». Письмо, в подлинности которого никогда не сомневались историки, хотя оно сохранилось только в списках, было датировано 5 июля 1564 года. Предположение исследователя подтверждалось: первая приписка, в которой Тучков рассматривался как жертва боярской распри, была сделана до 1564 года.

В этом же послании к Курбскому не менее резко отозвался Иван Грозный и о недавнем близком своем советнике Алексее Адашеве. Его он обругал «собакой», обвиняя Адашева в дружбе с изменником Курбским.

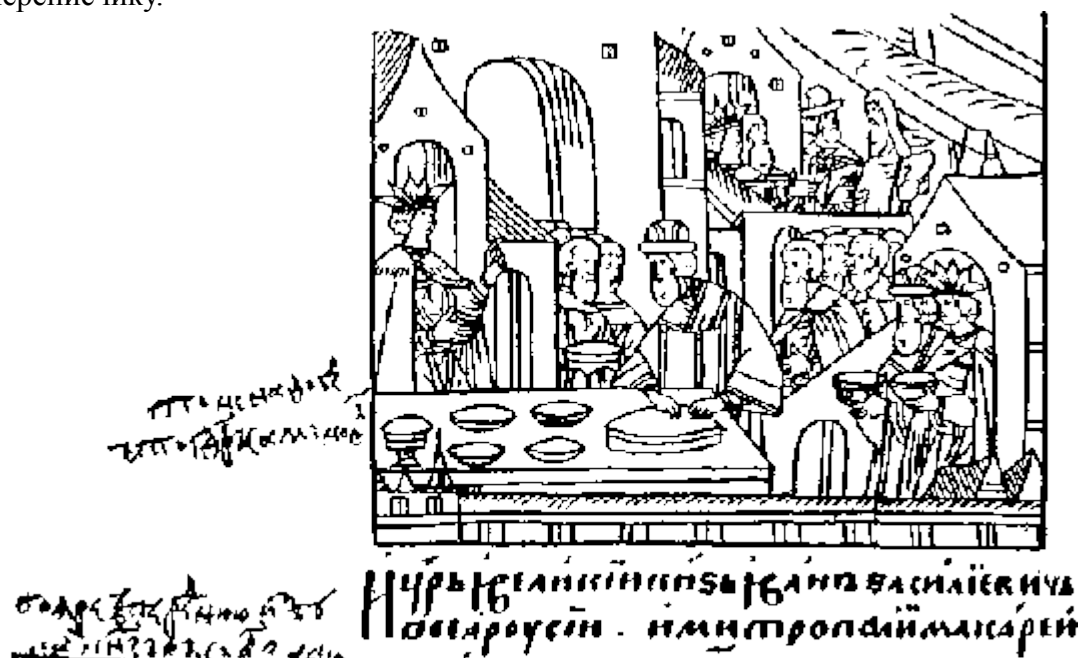


Содержавшиеся в важнейших приписках сведения давно находились в научном обиходе и были в основном известны Альшицу еще в бытность его студентом. Однако, приступив к исследованию подлинных текстов, он сумел узнать много нового.

Написанные скорописью XVI века на полях летописи приписки заполняли их почти целиком и, не укладываясь на одной странице, переходили на следующие листы; некоторые же были совсем короткими – исправляли только одну строку или имя, третьи – только букву или стоявшую над ней точку.

Во втором варианте, то есть в Царственной книге, приписок и исправлений было раз в десять больше, чем в первом.

«Вот как невнимательно, должно быть, читал редактор этот текст в первый раз!» – казалось, говорили испещренные пометками страницы книги. Но мы уже знаем, что исследователь сделал другой вывод: вот как много произошло событий и как резко переменил свои взгляды неведомый редактор этих страниц после того, как в первый раз отдал их переписчику.



Миниатюра из Царственной книги. Приписка на полях гласит: «То не надобно, что государь сам носил» (то есть не следует изображать царя, носящим какой-либо сосуд).

Самые пространные приписки, растянувшиеся на несколько листов, были вставлены в тех местах, где рассказывалось о наиболее важных периодах царствования Ивана Грозного. Разумеется, они были сделаны не простым очевидцем событий, а влиятельным государственным деятелем, привыкшим к беспрекословному исполнению своих распоряжений. Это выражалось прежде всего в том, что поправки, вносимые обычно в черновики, он делал на страницах уже готовой роскошной рукописи, предназначенной для царя и состоявшейся в одном экземпляре. Его, видимо, мало беспокоило, что этим он портил готовую книгу. Не говоря уже о стараниях писцов, пропадал труд и художников, украсивших текст большим количеством искусно исполненных рисунков. Его обширные вставки порой обрамляли и основной текст и рисунок, а иногда целый лист был безжалостно испорчен одной незначительной поправкой.

После автора приписок никто уже не прикасался к книге. На полях обоих вариантов хозяйничала одна рука. И это бесспорно была рука человека, облеченного неограниченной властью, присвоившего право по своему усмотрению исправлять и перекраивать официальную московскую летопись, «творить» историю.

Этот же требовательный редактор заставлял художников переделывать рисунки. Под некоторыми из них можно было прочесть сердитые замечания, вроде: «Здесь государь написан не к делу». На этом листе был как раз нарисован сам Иван Грозный. Иногда

редактор в повелительном тоне указывал, как именно должен быть исправлен рисунок: «Тут написать у государя стол без доспехов (то есть не накрытый), да стол велик» или «царя писат тут надобет стара». По мнению редактора, художник слишком омолодил Грозного. Не понравившееся редактору изображение свадьбы Ивана Грозного он потребовал «розписат на двое – венчание да брак», то есть дать на эту тему две новые миниатюры.

Д. Н. Альшиц проследил, как выполнялись эти распоряжения. Там, где в первом варианте рисунок был забракован, во втором был нарисован другой, точно соответствовавший сделанным указаниям. Приказывая на некоторых рисунках убрать царя, редактор в то же время всячески старался в тексте своих приписок представить Ивана Грозного находчивым, мудрым и великодушным. Это было особенно заметно в приписках к рассказу о взятии Казани.

Кто же мог быть автором подобных приписок?

Как известно, многие из приближенных Ивана Грозного в разное время подвергались опале. Кто из них удержался до того момента, когда могли быть сделаны вторые приписки? Кто мог быть так подробно осведомлен о тревожных событиях детства Ивана Грозного или дней его тяжелой болезни? Кто отважился бы, наконец, при Иване Грозном самостоятельно решать: к делу или не к делу нарисован государь, да еще требовать: нет, отсюда надо его убрать, «царя писат тут надобет стара»!

В поисках ответа на эти вопросы ученый составил перечень несомненных признаков, которыми обладал, судя по характеру приписок, их автор.

Он должен был быть в живых и находиться при дворе после 1564 года.

Он был лицом весьма полномочным, и в редактировании свода ему принадлежало последнее слово.

Его политические взгляды суть политические взгляды Грозного.

Царю он исключительно предан.

Он – человек с большим политическим кругозором.

Он в курсе всех важных событий, происходящих и в Кремле при участии царя и на самых отдаленных окраинах страны.

Он – очевидец взятия Казани (об этом бесспорно свидетельствуют живые подробности, добавленные им к рассказу об осаде и взятии этого города).

Он подробно знаком с хранившимся в царском архиве секретным делом об измене князя Лобанова-Ростовского, намеревшегося бежать в Литву, и с историей боярского брожения в 1553 году, не говоря уже о ряде других более мелких дел.

Всем этим признакам безусловно отвечало, по мнению Д. Н. Альшица, только одно лицо: сам царь Иван Васильевич Грозный.

Но это предположение, разумеется, нуждалось в веских доказательствах.

Приступая к самой ответственной части исследования, молодой ученый с огорчением вспомнил слова своего учителя, что после Ивана Грозного не осталось ни одной собственноручно написанной им буквы. Сохранилось много царских грамот XVI века, но подписаны они были не Иваном Грозным, а обычно кем-нибудь из его дьяков. На некоторых вместо подписи царя стояла его перстневая печать.

Итак, сличение почерков исключалось. Ну, а если предположить, что автором приписок является Иван Грозный, и, исходя из этого, сопоставить приписки с другими сочинениями царя и определить таким образом сходство или разницу между ними по мыслям, слогу и манере изложения?

По этому пути и пошел исследователь.

Сравнивая одну за другой ряд приписок с содержанием известного послания Ивана Грозного к Курбскому, в котором царь высказывал все обиды, накопившиеся у него против бояр, и излагал свои сокровенные думы об укреплении самодержавия, Д. Н. Альшиц установил до сих пор никем не замеченное совпадение. Все наиболее яркие мысли и факты, изложенные в приписках, встречались в этом послании в более сжатом виде, но порой почти в тех же выражениях.

«Изложение часто совпадает дословно, а там, где нет дословного сходства, ясно видны одни и те же краски, одни и те же мысли, одни и те же образы, одни и те же выводы», – попытожил свои наблюдения ученый.

В самом деле, в первых же двух приписках на полях Синодального списка, подчеркивавших жестокость, проявленную боярами Шуйскими в борьбе со своими соперниками, упоминались те же примеры, которые Иван Грозный, перечисляя преступления бояр, приводил впоследствии в известном послании к Курбскому. В третьей приписке встречались крамольные слова заговорщика князя Семена Лобанова-Ростовского, выписанные, по-видимому, из хранившегося в царском архиве секретного следственного дела. Эти же слова повторялись царем и в письме к Курбскому.

Совпадение имен и фактов бросалось в глаза и при сличении с посланием к Курбскому приписок, сделанных на полях Царственной книги. Так, в одной из приписок рассказывалось об очередной дерзкой выходке Шуйских и их приспешников, едва не убивших царского любимца боярина Федора Воронцова и оскорбивших митрополита Даниила. Один из них нарочно наступал убеленному сединами старцу на мантию, пока не разодрал ее. В тех же словах рассказывал об этом царь в письме к Курбскому.

Содержавшийся в приписке к Царственной книге рассказ о происходившем в 1547 году в одной из московских церквей самосуде над дядей царя боярином Юрием Глинским тоже нашел отражение в этом послании. Автор приписки добавлял, что самосуд был организован по наущению изменников-бояр. О том же говорит Иван Грозный в послании к Курбскому, бросившему царю обвинение, что он сам проливал в церквях кровь невинных людей.

Многое совпадало в пространной приписке о начавшемся во время болезни Ивана Грозного брожении среди бояр и в негодующем рассказе царя об их коварстве в том же послании. Некоторые выражения совпадали полностью. Веским доказательством единого происхождения обоих рассказов о боярской смуте 1553 года мог служить и еще один довод: рассказ этот, кроме приписки к Царственной книге, встречался только в письме Ивана Грозного к Курбскому.

Между посланием к Курбскому и приписками были, конечно, и различия в форме изложения и в количестве приводимых имен и подробностей. Но эти различия указывали только на то, что письмо и приписки были написаны в разное время и для разных целей. Авторы послания к Курбскому и приписок не могли быть разными лицами. Такое предположение было несовместимо с фактом, уже доказанным Альшицем: первые приписки появились до послания к Курбскому, а вторые – после него.

Если бы приписки к Синодальному списку делал не царь, а другое лицо, тогда, значит, царь, подобно школьнику, привыкшему списывать у соседа по парте, перенес из них свои примеры и даже отдельные выражения в послание к Курбскому. Зато потом автор приписок, в свою очередь, делая новые вставки на полях Царственной книги, должен был списывать свои примеры и выражения у Ивана Грозного из другой части его послания. Недопустимость такого предположения очевидна, и значит, автор приписок и автор послания к Курбскому – несомненно Грозный. Сходство и различия приписок с посланием к Курбскому снова убеждали в одном: автором их мог быть только царь.





Одно из древнейших изображений  
Ивана Грозного.

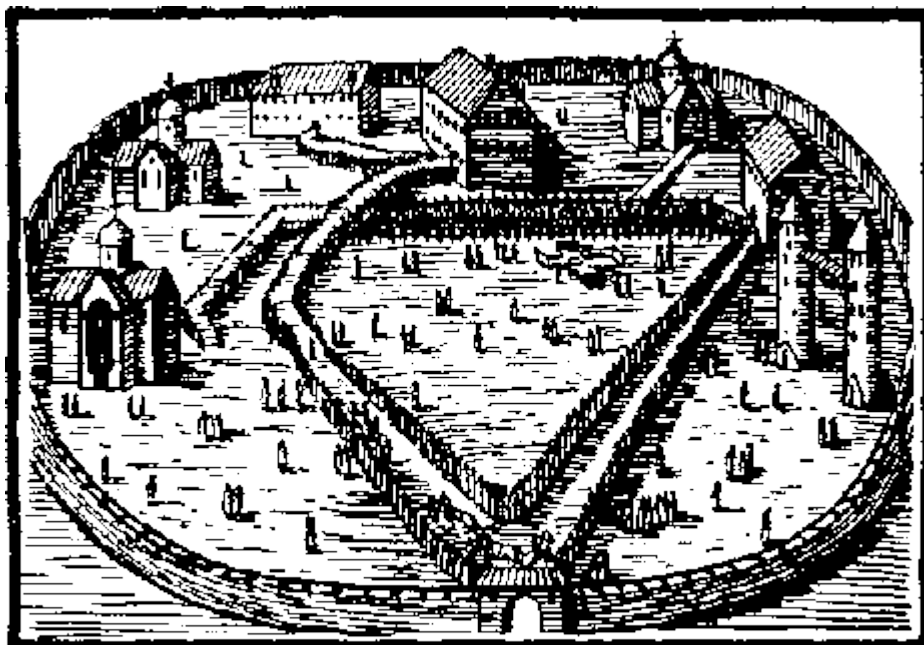
Веские указания на то, что приписки были сделаны Иваном Грозным, Д. Н. Альшиц нашел и в описи царского архива.

На полях описи имелась пометка о том, что 20 июля 1563 года ящик № 174 с находившимся в нем сыскным делом князя Семена Лобанова Ростовского был снова «взят ко государю».

Самая большая приписка в Синодальном списке, сделанная Иваном Грозным, как раз и касалась измены князя Лобанова-Ростовского. В ней было приведено много новых подробностей, неизвестных из других источников, например обстоятельные объяснения причины побега князя, и были перечислены имена бояр и дьяков, участвовавших в расследовании, – сведения эти были явно взяты из подлинного сыского дела.

Указанная в пометке на описи дата как раз совпадает с временем редактирования Синодального списка.

В описи царского архива имелась еще одна, очень важная пометка дьяка: «В 76 (то есть в 1568 году) летописец и тетради посланы ко государю в слободу». В свете известных теперь данных эти слова уже прямо указывали на Ивана Грозного, как на автора редакционных приписок к Лицевому своду. «Списки, что писати в летописец», посылались Ивану Грозному для просмотра и одобрения.



Александрова слобода — «косой двор государев».

Сопоставляя эти пометки о посылке черновиков к царю в Александрову слободу с другими пометками дьяков на описи царского архива, Д. Н. Альшиц заметил, что в августе 1566 года таких пометок было особенно много. Именно в этом году царь не только забирал к себе архивные документы целыми ящиками, но и сам часто бывал в архиве. За десять дней августа 1566 года он пять раз посетил свой архив и выбрал из архивных ящиков главным образом документы об опальных боярах, как раз о тех, имена которых упоминаются в приписках.

Теперь, когда ученый знал, что все приписки были сделаны Иваном Грозным, встречавшиеся в них противоречия его уже не удивляли. События, о которых говорилось в приписках, слишком близко касались царя, чтобы он мог писать о них беспристрастно. Смещение и искажение фактов наблюдалось главным образом в приписках к Царственной книге, а они делались Иваном Грозным в разгар напряженной борьбы со своевольными боярами, мешавшими царю укреплять свою власть и вместе с ней — силу и сплоченность Московского государства. Отступая от точной передачи событий, Грозный стремился подчеркнуть главное — свою правоту в борьбе. Царь настойчиво доказывал, что виновниками вражды были зачинщики всех смут — бояре. Он же карал их не как своих личных врагов, а как смутьянов и изменников. При этом он, разумеется, умалчивал о бесчисленных невинных жертвах своей жестокости.

В глазах историка недостоверность некоторых приписок имеет своеобразную ценность. Они позволяют взглянуть на происшествия четырехсотлетней давности глазами очевидцев. Исследователь видел в этих противоречиях отражение бурных событий прошлого.

Написанную по его указаниям летопись царь исправлял в нужном ему духе, так, как он того хотел.

## ЧЬЯ РУКА?

Итак, вопрос, кто является автором загадочных приписок, можно было считать, наконец, выясненным. Но, кроме этого, нужно было еще выяснить: сделаны ли приписки собственноручно Иваном Грозным или продиктованы им какому-нибудь писцу? Они могли быть также переписаны с замечаний царя, сделанных на отдельных листах.

Оба эти предположения были отвергнуты.

Тщательное изучение приписок привело ученого к следующим выводам.

Наряду с пространными замечаниями на полях Синодального списка и Царственной книги в тексте обеих летописей встречались и мелкие поправки, сделанные тем же почерком. Их было почти столько же, сколько и приписок, – около полусотни.

Вот об этих-то поправках уж никак нельзя было сказать, что они были продиктованы или перенесены из другой рукописи. Они могли быть сделаны только в процессе чтения. Многие слова и целые фразы были вставлены между строк внимательно читавшим текст и размышлявшим над ним редактором, который замечал даже незначительные опiski, допущенные переписчиком. Зачеркивая какое-нибудь слово, он заменял его другим, более точно выражавшим мысль.

Правда, иногда он и сам ошибался, не дописывал слова, пропускал буквы, забывал поставить твердый или мягкий знак. Но эти пропуски и ошибки не могли быть следствием его неграмотности, а вызывались скорее его рассеянностью, тем, что мысль иногда угасала раньше, чем он успевал ее запечатлеть на бумаге. Ошибки обычно не повторялись. Замечая малейшие упущения писца, автор поправок забывал следить за собой, позволял себе писать так, словно над ним не могло уже быть никакого контроля.

Он писал, видимо, очень быстро, не заботясь о красоте почерка. Переписчики разберут! Но его опiski оказались важным доводом для источниковеда. Такую небрежность не мог себе позволить переписчик, если бы он перебелил рукопись с царского образца.

Страницы из предсмертной грамоты  
Ивана Грозного. На грамоте виден  
отпечаток черствя.

Из того очевидного факта, что приписки и поправки были внесены в текст в процессе чтения, а также из факта небрежности письма можно было заключить, что они были сделаны собственноручно редактором Летописного свода. Почерк приписок был, таким образом, почерком Ивана Грозного.

За исследования о приписках к Лицевому своду Д. Н. Альшицу была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. Принимавшие участие в обсуждении его диссертации ученые единодушно подчеркнули выдающееся значение проделанной им работы, отметили ее новаторский характер и убедительность выводов. Правда, один из оппонентов, старший научный сотрудник Василий Георгиевич Гейман, заканчивая свое выступление, усомнился в том, что приписки сделаны собственной рукой Ивана Грозного.

«Пока этот вывод не будет подтвержден находкой какого-нибудь другого, хотя бы одного автографа Грозного, – заявил ученый, – я вправе это оспаривать».

Лишь спустя несколько лет после окончания работы о приписках Д. Н. Альшицу удалось найти источник, окончательно подтвердивший правильность его заключений. Это случилось совсем неожиданно даже для него самого.



Одна из перстневых печатей  
Ивана Грозного.

Уже будучи главным библиографом Отдела рукописей Государственной Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и составляя в 1949 году, вместе со своим бывшим оппонентом В. Г. Гейманом, описание хранящихся в Публичной! библиотеке древнерусских грамот, Д. Н. Альшиц обратил внимание на одну из них, почерк которой показался ему знакомым. Вглядевшись внимательнее, он понял, что этот документ написан той же рукой, что и приписки к Лицевому своду.

Небольшая по размеру грамота оказалась последним предсмертным письмом Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Письмо это было обращено ко всей монастырской братии, даже к «крылошанам», то есть к поющим на клиросе церковным певчим, и к «лежням по кельям», то есть к прикованным к постели немощным старцам.

«Ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет», – униженно писал монахам чувствующий приближение смерти больной Иван Грозный. Он просил их молиться об освобождении «от настоящая смертной болезни» и возвращении здоровья, о даровании отпущения грехов «моему окаянству». Умолял простить его, если он в чем-нибудь перед ними виноват, и, в свою очередь, прощал их вины. В конце письма перечислялось, сколько милостыни послал царь игумену и инокам, да «на корм», да «за ворота» нищим, да «на масло», чтобы дольше горели лампы.

«А сю есьми грамоту запечатал своим перстнем», – говорилось в последней строке.

Содержание этого предсмертного письма Ивана Грозного с небольшими пропусками было давно известно по списку XVII века, сохранившемуся в библиотеке древнего новгородского Софийского собора. Но на обнаруженной Д. Н. Альшицем в собрании рукописей Ленинградской Публичной библиотеки грамоте имелись пометки, а на обороте ее явственно виднелся оттиск печати царского перстня, прикладывавшегося Иваном Грозным в особо важных случаях к его личным письмам.

– Вот оно, то самое доказательство, которого вы требовали, – сказал Альшиц своему оппоненту.

Почерк, печать и содержание письма – все это свидетельствовало, что грамота была написана Грозным собственноручно. Понятно, что ни один дьяк или писец не осмелился бы подать царю грамоту с пометками.

Видно было, что Иван Грозный писал свою последнюю грамоту наспех. Покаянный характер письма объясняет, почему он не стал диктовать его дьяку и даже не дал

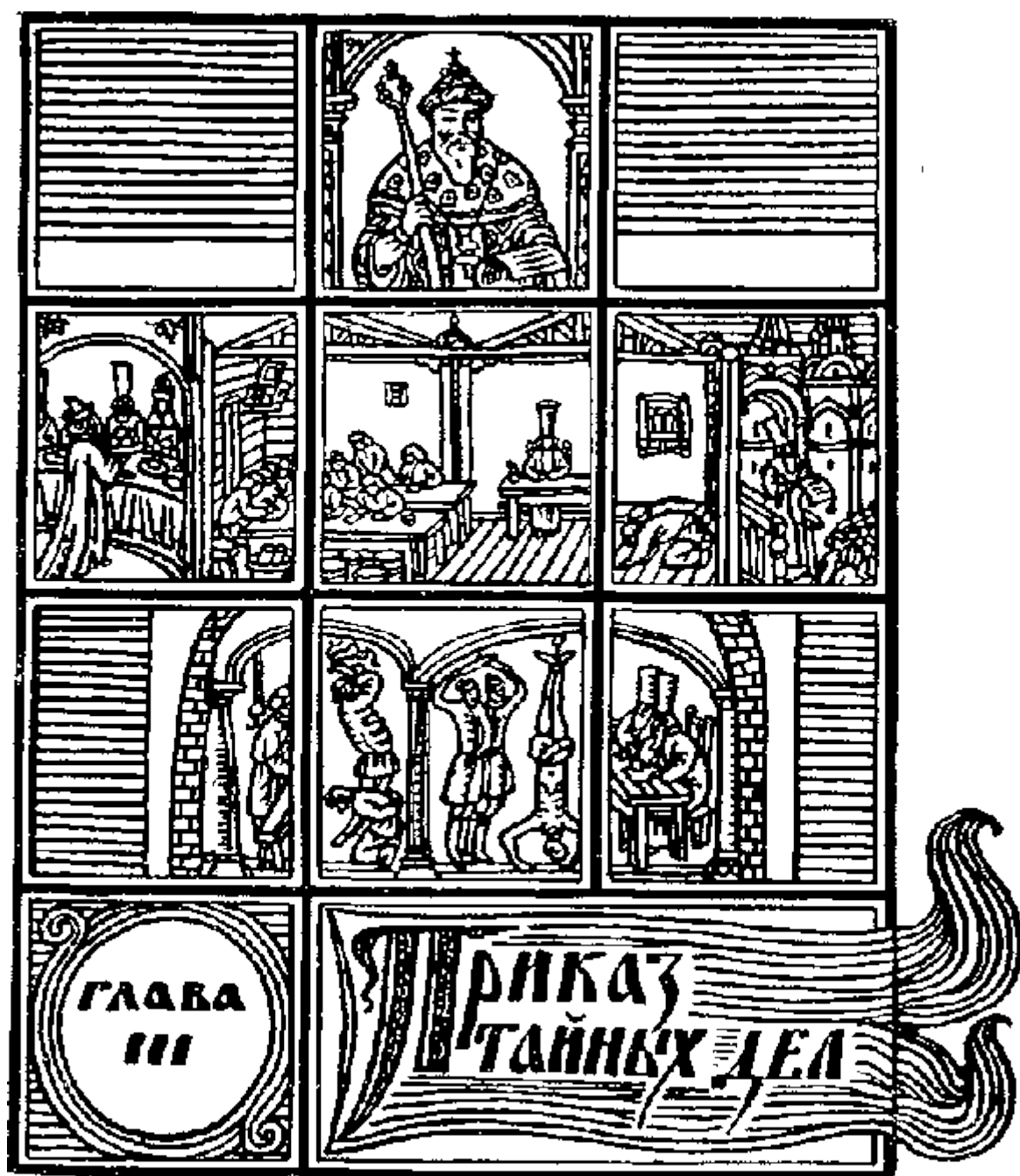
переписывать набело. Специальной припиской о том, что он сам запечатал грамоту своим перстнем, царь, вместо дьяка, заверял ее подлинность.

Значение научной работы, носящей скромное название «Приписки к Летописному своду XVI века», не исчерпывается тем, что она по-новому объясняет важные события, происходившие в царствование Ивана Грозного. Исследование это проливает свет на то, как вообще создавались летописи. Из-за войн, пожаров и многих других причин древние летописи дошли до нас далеко не полностью. Например, от XI до конца XV века ни один летописный свод не сохранился в подлинном виде. Они известны только в отрывках в составе позднее написанных сводов. Тем более не уцелели до наших дней черновики этих летописей, обычно уничтожавшиеся после переписки текста набело. Только потому, что Иван Грозный наносил свои поправки прямо на листы готовой книги, его приписки избежали участи черновиков.

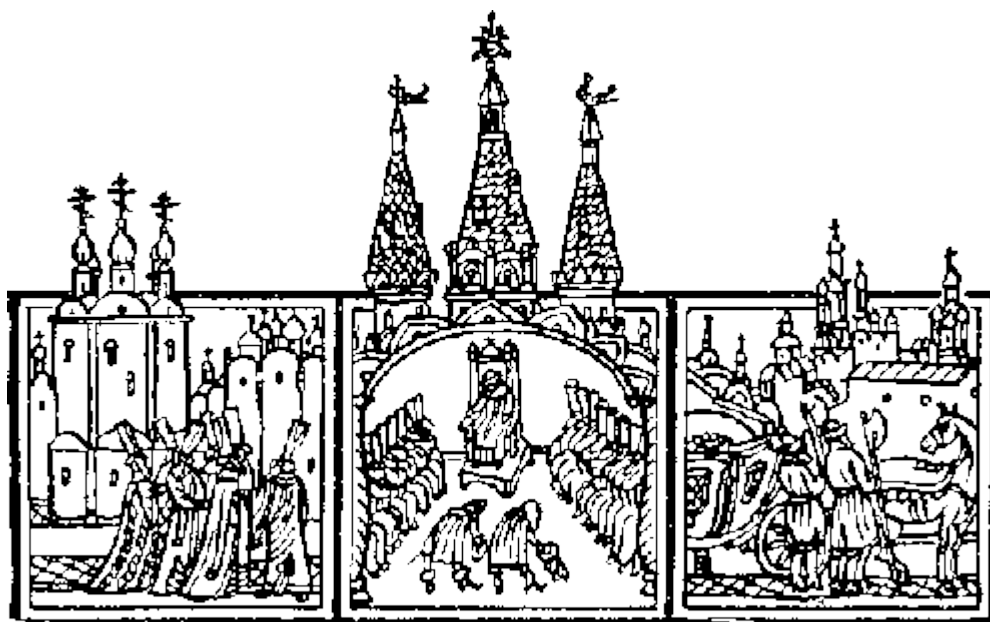
Тщательное изучение приписок, отдельных вставок, помарок, зачеркиваний помогло воссоздать до мельчайших подробностей весь процесс работы Грозного по подготовке истории своего царствования.

### **глава 3**

## **ПРИКАЗ ТАЙНЫХ ДЕЛ**



«ЧЕРНАЯ» КНИГА  
Остатки секретного архива



Один ящик, три сундука, два дубовых, окованных железом сундучка, шестнадцать коробов и коробочек и четырнадцать холщовых простых и разноцветных мешков и мешочков. Если бы не было известно их содержимое, можно было бы подумать, что это домашний скарб какой-нибудь захудалой боярыни. Но тщательно составленная по приказу Петра I под наблюдением бывшего его учителя Никиты Зотова опись не оставляет никакого сомнения: в этих сундучках, коробах и мешочках действительно хранились остатки архива одного из самых загадочных учреждений XVII столетия – вездесущего Приказа тайных дел. По вычислениям историков, он был основан в середине этого столетия отцом Петра I царем Алексеем Михайловичем и упразднен сразу же после его смерти.

Обнаружены только остатки... Куда же девался весь архив?

...30 января 1676 года в четыре часа пополудни комнатные стольники князя Голицын, Лобанов-Ростовский, Урусов, Хованский, Куракин, Долгорукий вынесли из государевых хором окрытый серебряной обьярью<sup>17</sup> и золотым аксамитом<sup>18</sup> гроб с очоженевшим телом царя Алексея Михайловича и водрузили на обитые алым бархатом погребальные сани. Вслед за гробом другие не менее знатные стольники, пыхтя, тащили покрытое черным сукном кресло, на котором восседал заплаканный наследник четырнадцатилетний Федор Алексеевич. В этот же день в сенях, а потом и в трапезной кремлевских хором один из преданнейших наперсников умершего царя, дьяк Приказа тайных дел Данила Полянский вместе с патриархом и ближними боярами привел к присяге новому царю «всяких чинов начальных людей». А уже через неделю молодой царь Федор Алексеевич по настоянию бояр отставил Полянского от должности и распорядился об упразднении Тайного приказа. Так внезапно исчезло зловещее учреждение, ведавшее, по мысли его основателя, «из всех дел самыми тайными».

Двум ближним боярам, князьям Никите Одоевскому и Михайле Долгорукому, и двум бывшим дьякам упраздненного приказа Дементию Башмакову и Федору Михайлову было поручено разобрать, переписать и отослать его дела по разным канцеляриям, «в которые какие пристойно». После смерти Алексея Михайловича в глазах его сына они, по-видимому, утратили всякую секретность, да и, кроме того, некоторые из них вовсе не были делами Тайного приказа. Они были затребованы туда только потому, что умерший царь случайно заинтересовался ими. Лишь небольшой дубовый ящик с личной перепиской Алексея Михайловича был «внесен вверх» занимавшим теперь должность печатника бывшим дьяком

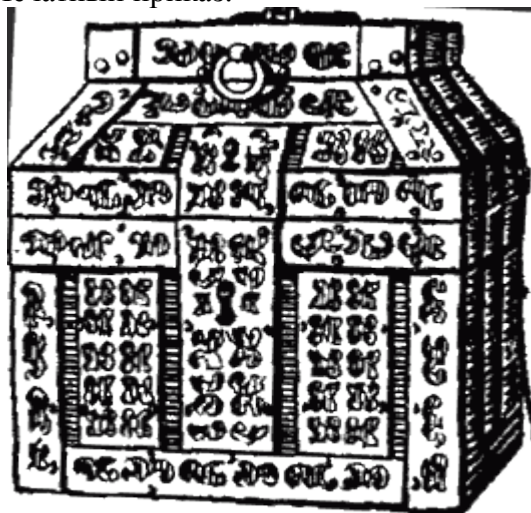
17 Обьярь – шелковая материя особой выделки, украшенная золотыми или серебряными полосами.

18 Аксамит – плотная шелковая ткань, затканная нитями пряженого полотна.



Тайного приказа Дементием Башмаковым, и через некоторое время он же принес «наверх» мешок с тайными азбуками.

За двадцать с лишним лет существования Приказа тайных дел накопился большой архив: поэтому разбор и рассылка документов по другим приказам подвигались медленно. При жизни царя Федора Алексеевича, процарствовавшего шесть лет, эта работа так и не была закончена. Сменившая его «соправительница» Софья от имени своих младших братьев Ивана и Петра повторила указ Федора, но тридцать шесть мест с наиболее важными документами, после рассылки бумаг по другим учреждениям, все же были оставлены, и Дементий Башмаков забрал их к себе в Печатный приказ.



В таких ларцах боярыня хранили свой домашний скарб.

Только когда Петр I стал царем, он снова вспомнил об остатках отцовского архива и велел своему «тайному советнику и ближней канцелярии генералу», в детские годы обучавшему его грамоте, Никите Моисеевичу Зотову немедленно переписать все бумаги Тайного приказа и держать их в своей канцелярии.

Таким образом, основная масса документов Приказа тайных дел потонула в канцеляриях других приказов, а впоследствии и те документы, что были переписаны при Петре I, очутились в так называемом «Архиве старых дел».

После преобразования Петром Алексеевичем старых, существовавших при его отце приказов в «коллегии», архивы некоторых из них были перевезены в Петербург и размещены в подвалах знаменитого Дома двенадцати коллегий на Васильевском острове.

Эти подвалы не раз затоплялись во время случавшихся в Петербурге наводнений. Документы намокали, буквы расплывались и превращались в «тайнопись», которую уже никто не мог прочесть.

В 1835 году правительствующим сенатом была назначена специальная комиссия по разбору этого архива. Когда члены комиссии заглянули, наконец, в подвалы, они ужаснулись. Чиновники подсчитали, что им «предлежит» просмотреть более двух миллионов дел, из которых многие «по случаю наводнения и от долговременности» пришли в такую ветхость, что «едва ли можно узнать их содержание».

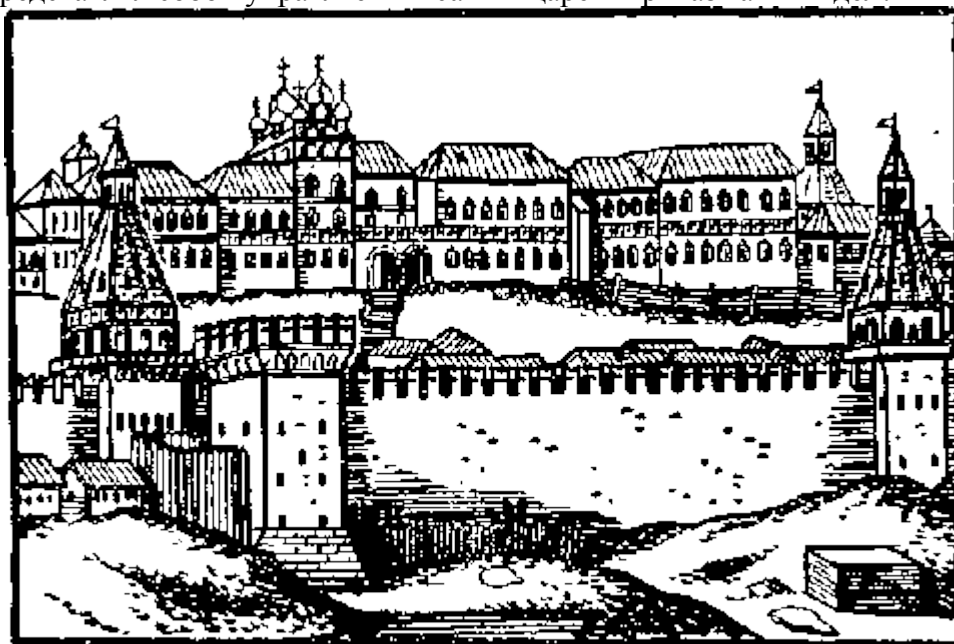
Но кропотливая муравьиная работа по разбору этих двух миллионов дел все же была проделана неутомимыми архивными следопытами. Найти среди них все дела расформированного Тайного приказа, конечно, не удалось. Многие погибли безвозвратно, многие настолько истлели, что при первом же прикосновении к ним рассыпались в прах. Но некоторые все же уцелели и хранятся теперь в Москве, в Центральном государственном архиве древних актов.

Как и дела всякого другого приказа, они состояли из «входящих» и «исходящих». Самыми интересными были последние, так как именно они давали наиболее полное представление о деятельности таинственного учреждения. Их сохранилось меньше, чем

«входящих», и они часто оказывались не подлинниками, а черновиками. Но как раз это и было ценно. Составленные подьячими и дьяками черновики обычно показывались Алексею Михайловичу. Он вносил в них поправки и замечания, после чего указ или грамота переписывались начисто и отсылались по назначению. Только по черновикам и можно было определить, какие замечания и вставки делал царь. При переписке документов набело они исчезали. Но самой важной находкой была отлично сохранившаяся рукопись так называемой «черной» книги. Черной – не по внешнему виду; она была в кожаном переплете, на котором было вытиснено: «Книга переписная Приказу тайных дел всяким делам, черная» – то есть черновая. Именно в эту книгу подьячие Тайного приказа в течение нескольких лет после его упразднения вписывали все числившиеся за ним дела. Пусть многие из этих дел потом не нашлись, истлели – от них остался след в этой сводной описи. Она не только напоминала о давно исчезнувших и никому не известных тайных делах, но вкратце рассказывала и их содержание. Велико значение этих записей для характеристики деятельности загадочного приказа и его бессменного начальника.

*«В государеве имени»*

Что же представлял собой управляемый самим царем Приказ тайных дел?



Удация приказов в старом Кремле.

На этот вопрос ученые давали разноречивые ответы, в зависимости от того, какие документы из секретной переписки приказа попадали им в руки. Одни считали этот приказ чем-то вроде русской инквизиции – тайного судилища и даже застенка, в котором втихомолку производились расправы с неугодными царю людьми; другие – «зародышем тайной полиции»; третьи – органом секретного надзора и управления, с помощью которого царь собирал нужные ему сведения, наблюдал за деятельностью всех остальных приказов и, помимо них, проводил в жизнь свои распоряжения. Этот взгляд опирался, между прочим, на свидетельство одного из современников его царствования, хорошо знакомого с дворцовыми порядками и тайнами, подьячего Посольского приказа Григория Котошихина. Прельстившись иностранным золотом, Котошихин сбежал за границу и принялся разоблачать царские секреты. О Приказе тайных дел он сообщал, что в нем «сидит дьяк да подьячих с десять человек и ведают они и делают дела всякие царские, тайные и явные, а в тот приказ бояре и думные люди не ходят и дел не ведают, кроме самого царя, а посылаются того приказу подьячие с послами в государства и на посольские съезды и в войну с воеводами... И те подьячие над послы и над воеводы подсматривают и царю приехав сказывают. А устроен тот приказ при нынешнем царе для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали».

Подлинные документы описи Тайного приказа, найденные через полтора столетия после того, как были написаны эти строки, в общем подтвердили эту характеристику. Но они дополнили и расширили представление о Приказе тайных дел также и новыми существенными подробностями, о которых обыкновенный подьячий, каким был Котошихин, при всей его осведомленности не мог знать. К тому же он служил в другом приказе – в Посольском.

В старых, написанных еще в дооктябрьские годы учебниках, царя Алексея Михайловича часто называли «тишайшим» государем. Документы созданного им Приказа тайных дел говорят, однако, о том, что под кроткой личиной царя скрывалась далеко не голубиная натура. Когда царь испытывал к кому-нибудь личную неприязнь, он не считался с утвержденными им же самим законами. В минуты гнева (а такие минуты бывали часто: Алексей Михайлович отличался вспыльчивостью) он был способен на любое коварство и жестокость.

«Черная» книга и продолжающая ее так называемая «зотовская опись» бумаг Тайного приказа говорят о том, что Алексея Михайловича из всех его, предшественников особенно интересовала личность Ивана Грозного. В Приказе тайных дел хранилось немало документов, напоминавших об усилиях Ивана Грозного укрепить самодержавную власть. Этой же цели, как видно из той же «черной» книги, служили и многие действия Алексея Михайловича. Созданием своего особого Приказа тайных дел не подражал ли он Ивану Грозному, основавшему при введении опричнины «особый двор государев»?

Сделавшись царем в шестнадцать лет, Алексей Михайлович, как известно, вскоре подпал под влияние своего воспитателя, властного и честолюбивого боярина Бориса Ивановича Морозова и корыстного отца своей первой жены Ильи Даниловича Милославского. О них шла худая молва в народе. Вызванное злоупотреблениями этих бояр и рядом других причин восстание послужило первым предостережением молодому царю. Но он не решился совсем отстранить ненавистных народу бояр и только временно удалил их. В то же время он приблизил к себе «худородных любимцев» из числа молодых подьячих Приказа Большого дворца,<sup>19</sup> служивших в его личной канцелярии. Тайно от бояр он начал давать им ответственные и секретные поручения. Именно эта канцелярия и была постепенно преобразована в Приказ тайных дел. Это произошло во время польского похода, когда царь, отлучившись из Москвы, почувствовал себя уже достаточно самостоятельным. Через вновь созданный приказ он тайно сносился с оставшимися в Москве преданными ему людьми, вроде боярина Матвеева, думного дворянина Ордина-Нащокина и других. Еще в январе 1655 года, до оформления Приказа тайных дел, он послал своему ближайшему советнику боярину Артамону Матвееву тайнописную азбуку с просьбой «держатъ скрытно для тайных дел».

Многие распоряжения, исходившие из Приказа тайных дел, не дошли до нашего времени, потому что Алексей Михайлович или его ближайший помощник – дьяк «в государеве имени» – предпочитали отдавать их устно и не так уж часто пользовались специальной азбукой и вообще пером. Если же тайный указ облакался в письменную форму, то его имел право читать только тот, кому он был адресован. Прочтя грамоту, полученную из Тайного приказа, адресат тут же должен был вернуть ее посланцу. А если адресат не оказывался дома, посланец обязан был принести ее обратно нераспечатанной.

19 Приказ Большого дворца ведал дворцовым имуществом.



«Прочетчи, пришли назад с тем же, запечатав сей лист», – писал царь боярину и воеводе князю Григорию Ромодановскому.

Выполнив секретное поручение, подьячие Приказа тайных дел должны были немедленно доносить об этом лично царю. Но если донесение делалось в письменной форме, они не смели излагать в нем сущность данного им поручения, а должны были писать так: «Что, по твоему, великого государя, указу задано мне, холопу твоему, учинить, и то, государь, учинено ж». Расходы, произведенные Приказом тайных дел, часто оформлялись так, что нельзя было узнать, на какие цели истрачены деньги. «Выдать такую-то сумму такому-то подьячему», – приказывал царь.

Для работы в Приказе тайных дел отбирались только наиболее проверенные и способные, хорошо грамотные и сообразительные подьячие из других приказов. Некоторые из них проходили даже специальную школу обучения, созданную при Спасском монастыре. В ней учился, например, подьячий Семен Медведев, постригшийся впоследствии в монахи под именем Сильвестра и прославившийся своими сочинениями.

Когда нужно было доставить особенно важное, секретное письмо иностранному правителю, собственному послу или воеводе, царь посылал его не с обычным гонцом, а с одним из подьячих Приказа тайных дел. Но ему давались при этом еще и другие задания: разузнать стороной о чем-нибудь, интересующем лично царя, собрать сведения о настроении населения в тех местах, где ему придется проезжать, поговорить наедине с тамошними воеводами по вопросам, перечисленным в особом, составленном лично царем тайном наказе. Часто подьячим рекомендовалось даже скрывать, где они служат, и выдавать себя за каких-нибудь других лиц.

Выполнявшие сложные и щекотливые поручения подьячие Приказа тайных дел оплачивались выше служащих других приказов. Они кормились во дворце и получали значительные суммы на дорожные и всякие иные расходы. На пошивку парадной одежды им выдавалось даже вдвое больше, чем, например, подьячим Приказа Большого дворца. В

дворцовых расходных книгах часто упоминаются их фамилии. К большим праздникам они щедро награждались денежными подарками и съестными припасами. Наиболее старательным на дом посылались целые мясные туши.

Служба в этом особом приказе и усердие при выполнении личных поручений царя способствовали успешному продвижению по служебной лестнице. Подьячие Тайного приказа назначались дьяками в другие приказы, а дьяки становились думными дьяками, но и тогда продолжали вершить те же дела.

Главному доверенному лицу царя – дьяку Тайного приказа полагался высокий по тому времени оклад – триста рублей, не считая денежных подарков, вина и провизии из царских погребов. Кроме того, ему давались еще и земельные угодья. Во многих грамотах этот дьяк именовался дьяком «в государеве имени», так как он имел право подписывать грамоты и указы, исходившие «из его, великого государя, царских палат за его, государскими, тремя красными печатями».

За все время существования Приказа тайных дел должность дьяка в нем занимали четыре человека: Томила Перфильев, Дементий Башмаков, Федор Михайлов и Иван, он же Данило, Полянский. Несмотря на то что все эти дьяки были незнатного происхождения, они приглашались за царский стол наравне с самыми родовитыми боярами, к немалой досаде последних. Дьяк Тайного приказа должен был всегда находиться вблизи царя на тот случай, если он понадобится для какого-нибудь секретного поручения. Он обязан был принимать меры тайной охраны, сопровождать царя во время походов и выездов на охоту и богомолье, одним из первых встречал иностранных послов при посещении ими Кремлевского дворца и т. д. Он же одним из последних провожал их.

О каких же делах, проходивших через Приказ тайных дел, удалось узнать из найденной архивными следопытами «черной» книги и немногих уцелевших документов, составленных самим царем, дьяками и подьячими этого приказа? Почему вся его деятельность была так строго засекречена?

Преобразованный из личной царской канцелярии, Приказ тайных дел прежде всего занимался делами, интересовавшими лично царя. Это были, с одной стороны, дела первостепенной важности, связанные с чрезвычайными событиями: войнами, восстаниями, эпидемиями и другими стихийными бедствиями, часто угрожавшими стране и вызывавшими у царя опасения за благополучный исход его царствования. С другой стороны, предметом постоянной заботы приказа было все, что касалось личной безопасности и благополучия царя и близких к нему людей.

Самое мелкое, по тогдашним понятиям, дело, например об увечье, полученном в драке дворовым человеком какого-нибудь боярина, расследовалось в Тайном приказе вне очереди, если этот боярин был близким советником или родственником царя.

Во время военных походов часто вскрывались большие злоупотребления со стороны бояр и воевод, наживавшихся на поставках обмундирования и продовольствия, обнаруживались также их нерадивость и своеволие в руководстве военными действиями.

До какой дерзости доходили иные «начальные люди», видно, например, из содержания упоминаемого в описи сыскного дела о Борисе Тушине: «...он хлеб, привезенный для ратных людей, отвез к себе в поместье».

Тайный приказ ведал также Гранатным двором, изготавливавшим боевые припасы, и сам проверял «чертежи гранатам, бомбам, пушкам и мортирам».

Но подавляющее число дел, расследовавшихся Тайным приказом, касалось личной безопасности царя и царской семьи. Попытаемся вслед за археографами и историками порыться в этих делах и рассказать о сделанных учеными открытиях и находках.

## **ГОСУДАРЕВЫ ВЕРХНИЕ ДЕЛА**

## *Заговоры и наговоры*

Московские цари жили в Верху – в верхних кремлевских палатах, поэтому и всякий заговор, ставивший своей целью покушение на жизнь царя или кого-нибудь из членов его семьи, назывался «государевым верхним делом».

Как можно судить по записям в «черной» книге, Тайный приказ нередко заводил такие сыскные дела, когда для подозрений в подготовке цареубийства в сущности не было никаких оснований.

В одной из записей упоминается, например, о сыском деле и пыточных речах простодушного деревенского парня Чюдинки Сумарокова, служившего дворовым человеком у дядьки царя Алексея Михайловича – всесильного боярина Бориса Ивановича Морозова. Вся вина этого парня состояла в том, что он ради забавы начал стрелять с боярского двора по галкам, примостившимся на трубе одного из монашеских общежитий Чудова монастыря.

Двор боярина Морозова находился вблизи от царского двора. «И от той его стрельбы пулька прошла в царские хоромы», – гласит зловещая запись в «черной» книге.

«И за то его, Чюдинкино, воровство, – сообщает дальше следвавший эту запись подьячий, – что он стрелял по галке на келейную трубу, а та труба стоит против государевых хором, а он такова великого и страшного дела не остерегся и прежним приказам (запретам) учинил противность, – вместо смертной казни отсечена левая рука да правая нога».

Записи о других делах не так подробны. По ним трудно было бы составить представление о том, как велось следствие и в чем обвинялись подсудимые, если бы подлинные материалы нескольких подобных дел, относящихся к первым десятилетиям царствования Романовых, не были бы обнаружены в архивных залежах и внимательно исследованы историками И. Е. Забелиным, А. И. Зерцаловым, А. Я. Новомбергским.

Быть может, потому, что Тайный приказ возглавлялся самим царем и помещался для его удобства рядом с его покоями, вся грязная и черная работа была переложена на другие приказы. Подозреваемых в тяжких преступлениях, в так называемых «государевых делах и словах», пытали в Стрелецком приказе, которым управлял исполнительный дьяк Ларион Иванов, ведавший, вместе с Дементием Башмаковым, и «тайными делами». За пределами же Москвы все пытки и экзекуции проводились под надзором местных воевод. Но вдохновлял, направлял и проверял их действия, разумеется, вездесущий и всеведущий Тайный приказ.

«Всякими сысками накрепко сыскать»... Если такое предписание поступало из Тайного приказа, воеводы, дьяки и заплечных дел мастера отлично соображали, что скрывалось за этими четырьмя словами. «Всякими»... это означало, что можно сыскать и при помощи пыток. Они обычно делали отсюда вывод, что именно к этому способу дознания надо прибегать в первую очередь.

Подследственных после первого же допроса тащили в застенки, ставили около дыбы и, если язык у них не развязывался, делали «стряску» – били кнутом или жгли огнем.

Способы следствия были настолько жестокими, что многие, «не истерпя пытки», наговаривали на себя, предпочитая невыносимым мукам более скорую смертную казнь. Заподозренные в преступлении, пытаясь избежать следствия, нередко кончали жизнь самоубийством. Поэтому предписания Тайного приказа часто сопровождались припиской: взятых под стражу «беречь накрепко, чтобы над собой какого дурна не учинили».

Из найденных Забелиным следственных дел видно, что основатель Тайного приказа подозрительный и мнительный царь Алексей Михайлович с детских лет наслышался всяких небылиц о «дурном глазе», «порче» и колдовстве от своих собственных родителей, с большой опаской следивших за тем, чтобы люди, знающиеся с колдунами и ведунами, не проникли в Кремлевский дворец. Если такие попадались, то их допрашивали с пристрастием.

Что бы ни случилось во дворце, самое пустяковое происшествие, любая находка или самая обыкновенная мелкая пропажа, царь, когда ему об этом докладывали, подозревал умысел против своего здоровья, попытку «испортить» его или околдовать.

Так, например, была взята под стражу и «расспрошена накрепко» комнатная бабка Марфа Тимофеевна, помогавшая поварихам на царицыной половине и провинившаяся в том, что она самовольно взяла... щепотку соли.

«В нынешнем де во 179 (1671.) году, августа 11 дня, объясняла бабка, пришла она к мыленке государыни царицы, а перед мыленкою<sup>20</sup> де ходила дохтурица, принесшая на серебряном блюде грибы для царицы...» Большая любительница печеных грибов, бабка украдкой взяла со стола щепотку соли, чтобы посолить гриб, который она собиралась тоже тайно взять с блюда и испечь в той самой печи, где пеклись кушанья для царицы. «Дохтурица» заметила это и спросила: что у нее в горсти? Бабка не созналась, что взяла щепотку соли, и поспешила в мыленку, высыпать ее на пол. «И как я вошла в мыленку и увидела верховую боярыню Анну Леонтьевну Нарышкину, я так испужалась, – призналась бабка, – что тое соль подле ушата высыпала на землю». В этой попытке взять щепотку соли, чтобы посолить гриб, и заключалось все ее «преступление». Тем не менее старуха была «подымана на дыбу» и «висела» и была «расспра-шивана накрепко», не имела ли она какого дурного умысла. Бабка отвечала, что «она де, Марфа, про государыню царицу делает всегда кислые шти, а хитрости никакие за ней нет и не было, работает им, государям, лет с тринадцать». Но и после этих слов она была «к огню приложена и всячески страшена, а говорила тож, что и на расспросе сказала». Дальнейшая судьба ее не ясна. Сохранившаяся запись обрывается на том, что бабка была отведена на Житный двор и там посажена в приказной<sup>21</sup> избе «за караул». Во дворец она, во всяком случае, не вернулась.

Когда «кроткий» царь Алексей Михайлович однажды проведал, что коновал Лев Сергеев из вотчины князя Одоевского давал дворовому человеку царского родственника боярина Юрия Милославского – Михаилу Серебренину «питье сосать, хмелевую шишку, завязав в плат, чтоб ему запретить от питья», то есть чтобы отучить его от пьянства, он приказал пытать коновала, «что тот плат с хмелем давал пить не для ль порчи?» Лев Сергеев даже на пытке продолжал утверждать, что давал питье как средство от пьянства, но его все же сослали в Астрахань.

В мае 1675 года Алексей Михайлович приказал одному из ближних бояр, воспитателю царевича князю Федору Федоровичу Куракину ехать к себе на двор и до нового указа со двора никуда не съезжать за то, что он «у себя в дому держал ведомую вориху, девку Феньку, слепую и ворожею».

Указ этот был прочитан боярину тайным советником царя думным дьяком Ларионом Ивановым, посадившим его в свой возок и «проводжавшим» боярина до самой Москвы-реки.

В тот же день «ведомая вориха», слепая от рождения девица Аграфена, вместе с другими дворовыми людьми, была взята с боярского двора, и Алексей Михайлович указал комнатным боярам и дьяку тайных дел Ивану Полянскому, по прозвищу Данило, пытать ее «жестокою пыткою» и ставить «с очи на очи» с дворовыми людьми Куракина. Тех же, на кого она в сыске станет указывать, «пытать тож всякими пытками накрепко».

«А разыскивать и ведать то дело, – сообщалось в тех же разрядных записях, – указал царь боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому, да тому же боярину Артемону Сергеевичу Матвееву, да думному дьяку Ларивону Иванову, да тайных дел дьяку Ивану, прозвище Полянскому».

Уже по одним этим именам видно, какое серьезное значение придавал царь расследованию связей слепой ворожеи.

Боярин Артамон Матвеев обязан был следить за тем, чтобы после пытки слепая Аграфена и люди князя Куракина были отданы головам и полуголовам московских стрельцов, которые держали бы их по разным приказам под крепким караулом.

20 Мыленка – комната для умывания.

21 Приказная, или съезжая изба, канцелярия воеводы, – местное административное учреждение.

Второго июня того же года, «в прибавку к предыдущему», последовал новый указ: усилить состав следственной комиссии, включив в нее еще двух знатнейших комнатных бояр: князя Михаила Юрьевича Долгорукого, царского тестя Кирилла Нарышкина и наперсника оружейничего Богдана Хитрово, а также еще несколько окольничих, комнатных и думных дворян.

Создание такой авторитетной следственной комиссии из наиболее близких царю людей, к тому же возглавляемой им самим, объяснялось, очевидно, тем, что в деле были замешаны весьма высокопоставленные и важные лица, покровительствовавшие слепой ворожее и прибегавшие к ее услугам.

Как только Аграфена начала давать показания, был составлен специальный вопросник: «1. Где она ездила и по которым боярским дворам? 2. По сколько жила в котором дворе? 3. Кто ездил с ней?»

Боярина князя Куракина и его жену допрашивали: делалось ли это с их ведома? По указу царя думный дьяк Ларион Иванов выезжал на двор к сказавшемуся больным стольнику и ближнему человеку Никите Шереметеву, «болезни его досматривать» и записать его объяснения по расспросным и пыточным речам ворожее.

«Почему она ему и жене его знакома? – допытывался у стольника напористый дьяк. – За что он ее дарил и телогреи на нее делал, атласные и камчатные, и сколь у них с нею учинилось знакомство давно, и сколько у него она, Фенька, слепая, в доме жила, и часто ли к нему приходила, и в которые месяцы, недели и дни?»

Проверяя показания стольника и его жены, Ларион Иванов с пристрастием допросил также его дворовых людей, в особенности «девок и женок» и «боярских боярынь». Те же вопросы были заданы и тестю Шереметева Смирнову-Свиньину и его дворовым людям.

Предстоял, видимо, допрос и других царских приближенных, если бы не неожиданная смерть слепой. Не выдержав непрерывных пыток, она умерла и, по указу царя, была погребена на кладбище при убогом доме. Взятых вместе с ней под стражу дворовых людей князя Куракина «девичья и женского полу» было велено держать по-старому «за караулом», и о дальнейшей судьбе их составитель разрядных записей не нашел нужным упомянуть.

По записям в разрядной книге удалось выяснить только некоторые характерные подробности этого дела. Расспросные и пыточные речи самой Аграфены и многочисленных свидетелей не сохранились. О содержании других, менее серьезных, но, по-видимому, также служивших предметом тщательного расследования дел «о порче» и покушениях на царское здоровье можно судить только по скудным записям подъячих и переписной книге Тайного приказа.

«...Сверточек, а в нем расспросы стольника кн. Васильева человека Одоевского Григория Чуксы в порче его, князь Василия, как он женился».

«...Сыскное дело про бабу! Дарьцу Воловятинскую, которая у всяких чинов людей по дворам ворожила и на соль наговаривала».

«...Сверточек, а в нем расспросные речи портновского мастера Ивашки Степанова и сыск, что он государев изуфреной опашень, который лежал в государевых хоромаш, просто надевал на себя, с глупа».





Опашень — верхняя одежда  
без рукавов.

Последняя запись, впрочем, нуждается в объяснении. Опашень — это верхнее летнее распашное платье из добротной шелковой или шерстяной (изуфреной) ткани с золотым парчовым воротником, часто надевавшееся царем.

Портновский мастер Иван Степанов, молодой и, вероятно, веселый парень был вызван в царские хоромы для примерки. Алексеи Михайлович в это время куда-то вышел.

Увидев лежавший в государевых хорах опашень, Иван Степанов «с глупа» напялил его на себя и посмотрелся в зеркало: идет ли ему царская одежда?

Расспросные и пыточные речи Ивана Степанова по возникшему в связи с этим «опасным» его поступком «государеву верхнему делу» тоже не сохранились.

Какие только меры не принимались во дворце, чтобы отвести «глаз» или «порчу» от «царской особы»!

Достаточно было Алексею Михайловичу только проведать, что кто-нибудь из дворовых людей посещающего дворец боярина ходит к гадалке или знахарке, как этот боярин сразу же подвергался опале и Приказ тайных дел начинал тщательное расследование.

Присягая царю, каждый придворный «под крестной целовальной записью» обязывался: «лиха никакого никак не хотети, не мыслити, не думати, не делати, никаким делом, некоторою хитростью», «государское здоровье во всем оберегати».

Но и это признавалось недостаточным. Кроме общей кресто-целовальной записи, были составлены особые «приписи» для всех близко соприкасавшихся с царем людей, которые обязывались оберегать его от отравления и порчи.

В первую очередь такое обязательство подписывали стряпчие, стольники и кравчие, подававшие блюда и напитки на царский стол. «Ничем государя в естве и питье не испортити, и зелья и коренья лихого ни в чем государю не дати и с стороны никому не велети».

Прежде чем какое-либо блюдо подавалось царю, его пробовали несколько человек: ключник запикивал себе в рот кусок, передавая блюдо дворецкому, дворецкий тоже снимал пробу, прежде чем вручить стольнику, обслуживающему царский стол, кравчий, принимая это блюдо от стольника, обязан был еще раз отведать его на глазах у самого царя и лишь

после этого ставил перед ним. Чашник, поднося царю какое-нибудь питье, отливал частицу себе в ковш и, сделав несколько глотков, передавал кубок царю.

То же самое происходило и с лекарствами. Боярин Артамон Матвеев, попав в опалу при сыне Алексея Михайловича – Федоре, вспоминал с укором в одной из своих челобитных, сколько горьких лекарств, угождая его отцу, он слизывал со своей ладони, прежде чем царь изволил их отведать.

В несколько измененном виде клятву повторяли и постельничие, ручавшиеся, что они «не положат коренья лихого в их государских постелях, и в изголовьях, и в подушках, и в одеялах». Казначей брали на себя такое же обязательство и в отношении хранимой ими царской одежды, а «казенные дьяки» обещали не подсовывать никакого зелья «в золоте, в серебре, в шелку и во всякой рухляди».

### *Неудавшиеся смотрины*

И все-таки Алексей Михайлович продолжал опасаться порчи и отравы. Об этом говорят многие проходившие через Тайный приказ дела. Из страха перед злыми чарами царь в юные годы отказался от брака с понравившейся ему с первого взгляда девушкой, дочерью касимовского помещика Евфимией Всеволожской. Он выбрал ее одну на смотринах из двухсот боярских и дворянских дочерей и тут же вручил ей кольцо и платок – так велико было его желание как можно скорее видеть ее царицей. Но этот выбор не был одобрен бывшим его наставником боярином Морозовым, присмотревшим для царя другую невесту, дочь московского дворянина Марью Милославскую, на сестре которой Анне он сам хотел жениться, чтобы таким путем породниться с царем.

Когда Евфимию ввели в царские хоромы для наречения царевной, она вдруг потеряла сознание. Матери и сестры отвергнутых невест поспешили распустить слух, что она «испорчена», больна падучей болезнью и «к царской радости не прочна». Евфимию Всеволожскую тут же увезли за город под надзор одного боярина, а на отца ее, поклявшегося накануне, что его дочь совершенно здорова, завели «верхнее государево дело» и взяли под стражу.

Алексей Михайлович, которому тогда было всего шестнадцать лет, конечно, мог не знать, что, по наущению боярина Морозова, причесывавшие невесту мамки и бабки так крепко завязали ей волосы, что у нее потемнело в глазах.



Одна из церемоний царского свадебного обряда. Новобрачным приносят кашу при свете многопудовых свечей.

Отца Евфимии Рафа Федора Всеволожского обвинили в измене, в сознательном намерении обмануть царя. После мучительной пытки он был сослан в Сибирь с семьей, где через несколько лет и умер, а жену и детей его, в том числе и царскую невесту, перевели в дальнюю деревню в Касимовском уезде. «А из деревни, – гласил указ, – их к Москве и никуда отпущати не велено».

Между тем, как показало расследование, она была совершенно здорова. «Припадки» больше не повторялись.

Царю пришлось жениться на Марье Милославской, которую так усердно сватал ему боярин Морозов. Он же был и посаженным отцом на свадьбе, и он же через две недели стал царским свояком, женившись, несмотря на серебро в бороде, вторым браком на сестре молодой царицы. Но царица Марья умерла раньше своего мужа, и через восемь месяцев после ее смерти были назначены новые смотрины. На этот раз, как можно судить по сохранившемуся до нашего времени списку девиц, призванных на эти смотрины, кандидатов было значительно меньше, всего каких-нибудь шесть десятков.

Породниться с царем стремились главным образом московские князья и бояре – Гагарины, Колычевы, Толстые, Долгорукие, Мусины-Пушкины, но было несколько невест и из других городов: Новгорода, Суздаля, Казани, Костромы и Владимира. Предпоследней в списке стояло имя Авдотьи Ивановны Беляевой, скромной, но, должно быть, очень красивой послушницы из Вознесенского девичьего монастыря, видимо, сироты, потому что в Москву она была привезена своим дядей, неким Иваном Шихиревым.

Смотрины состоялись 18 апреля 1669 года, и того же числа к ночи девицы, «взятые вверх», были отпущены по домам.

Застенчивая послушница, очевидно, запомнилась царю, потому что на другой день она опять была «взята наверх» для нового осмотра. Вместе с ней еще раз представлялась царю и боярская дочь Наталья Кирилловна Нарышкина.

О результатах этих новых смотрин можно узнать уже из дел Тайного приказа, приоткрывающих некоторые страницы личной жизни царя.

В перечне дел, проходивших через этот приказ, значится «дело сыскное про воровские подметные письма и расспросные речи Ивана Шихирева». К сожалению, дело это оказалось сильно разрозненным и сохранилось только в отрывках.

Как раз в те дни, когда в верхних хорах царского дворца начались смотрины кандидаток в царицы, в том же дворце произошло одно загадочное событие, сильно обеспокоившее пугливого жениха.

Двадцать второго апреля любимец Алексея Михайловича и его интимный поверенный, ведавший, в частности, и выбором невест к смотринам, боярин и оружейничий Богдан Матвеевич Хитрово, поднес ему два подметных письма, запечатанных сургучными печатями, и сообщил, что эти письма принесли шатерничие Авдей Кучецкой и Михайло Истомин, получившие их от постельного истопника Ивана Камкина. Одно из них Камкин вместе с другим истопником Тимофеем Осиповым якобы поднял в сенях перед Грановитой палатой, другое же было приклеено к дверям шатерных сеней на Постельном крыльце.

Спрошенный об этом истопник подтвердил, что первое письмо он действительно нашел в сенях, ведущих в Грановитую палату, и отдал шатерничему. А относительно другого, приклеенного к двери, рассказал шатерничим не он, а Тимофей Осипов. Иван Камкин счел нужным добавить, что сам он тех писем не писывал и не знает, кто их подкинул.

Оба шатерничие Авдей и Михайло были тотчас же взяты под стражу и затем поставлены «с очей на очи». По поводу показаний Камкина оба в один голос заявили, что и о втором письме они узнали от него, а не от Тимофея Осипова.

Возможно, что все трое ввиду разногласий в показаниях были бы подвергнуты пытке, если бы в тот же день боярин Хитрово не сообщил царю еще одну подозрительную новость: к нему приходил иноземец «дохтур Стефан», знакомый с дядей одной из участвующих в смотринах невест, Иваном Шихиревым. Три дня назад доктор якобы встретился с этим Шихиревым на Тверской улице, у Мучного ряда, и Шихирев поделился с ним радостной вестью: племянница его де взята вверх «для выбору». Одно только его беспокоило: перед этим ее возили на двор к Богдану Матвеевичу Хитрово, «и боярин де смотрел у нее руки и сказал, что руки худы». Шихирев стал просить доктора вспомнить о «беззаступной девице», если ему случится осматривать вызванных в царские хоромы кандидаток в невесты. Доктор сказал Шихиреву, что его пока к такому делу не призывают и отговаривался незнакомством с его племянницей. На это Шихирев ответил: «Как де рук у нее станешь смотреть и она де перстом за руку придавит, потому де ее и узнаешь».

Оба сообщения сильно обеспокоили трусоватого царя. О содержании подметных писем в дошедших до нас листках сыского дела всего только и сказано, что «такого воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хорах, а писаны непристойные...» Но Алексей Михайлович, сопоставив эти письма с рассказом Хитрово об ухищрениях старика Шихирева во что бы то ни стало провести в царицы племянницу, заподозрил заговор и отдал приказ действовать по двум направлениям.

Прежде всего были начаты тщательные розыски вероятных авторов подметных писем. Дьякам и подьячим всех приказов были предъявлены подпись из одного письма и две вырванные из текста строчки из другого. Подпись состояла из одного уничижительного имени «Артемошка».

Письма эти, по-видимому, не имели никакого отношения к Шихиреву и к его племяннице, а были направлены главным образом против боярина Артамона Матвеева, который тоже стремился пристроить за царя свою родственницу Наталью Кирилловну Нарышкину, вызванную вверх вместе с племянницей Шихирева для вторичных смотрин. Возможность женитьбы царя на родственнице Матвеева вызвала большой переполох среди бояр, боявшихся дальнейшего роста влияния «Артемошки». Шихирева можно было заподозрить лишь в том, что далекому от придворных интриг старику на самом деле очень хотелось, чтобы царь выбрал в жены его племянницу.

Всем дьякам и подьячим, познакомившимся с почерком автора подметных писем, приказали дать письменную «сказку»<sup>1</sup>: кто эти письма писал, не знаком ли им этот почерк? Полученные таким путем образцы почерков всех подьячих давали возможность проверить, не был ли, грешным делом, кто-нибудь из них автором писем.

Но и таким способом царю не удалось ничего узнать. Через два дня все дворцовые писцы были вызваны к Постельному крыльцу. Им были показаны подметные письма и оглашен новый царский указ: кто про такое воровское письмо проведает и царя об этом известит или, поймав вора, его приведет, того «великий государь пожалует своим государевым жалованием». Но была пущена в ход и угроза: «А буде про того вора не проведаете и государя не известите и от него, великого государя, за то вам быть в великой опале и в конечном самом разоренье без всякого милосердия и пощады».

Однако ни посулы, ни угрозы не помогли. Среди придворных грамотеев «вор» не был обнаружен. Очевидно, его надо было искать совсем в другом месте.

В это же время был разыскан и Иван Шихирев и подвергнут допросу «против Стефановых речей». Дома у него был сделан обыск, и во дворе нашли какие-то травы и корни. Старик с достоинством заявил, что «воровских подметных писем он не писывал и писать никому не велевал и в сенях перед Грановитою и перед Шатерною не подметывал». Допрос перенесли в застенок. Там он был, как видно из немногих сохранившихся документов, «расспрашивай накрепко и к огню приношен, а в расспросе и у пытки и у огня прежние речи повторял. А было ему тринадцать ударов...»

По поводу найденных на дворе трав Шихирев показал: «А которые травы выняты у него на дворе толченые и нетолченые и те де травы дали ему на Вологде, ныне в великий пост... а велели ему те травы пить в вине и в пиве, потому что он ранен». Травы эти, как потом выяснилось, оказались обыкновенным зверобоем.

Были допрошены все родные и знакомые Шихирева. Один из них, «отставной рейтар» Великжанин, сообщил, что Шихирев, будучи у него в гостях еще до начала смотрин, рассказывал, что «государь пожаловал племянницу его и указал взять вверх», а потом, снова встретившись с ним, просил помолиться в Чудовом монастыре, чтобы над ней «учинилось доброе дело». Из всех этих показаний, однако, нельзя было ничего заключить о существовании заговора.

Не выдержав допросов «накрепко» и пыток, Шихирев умер, а о судьбе его племянницы, вероятно вернувшейся в монастырь, не сохранилось никаких сведений.

Выжидая окончания следствия, Алексей Михайлович долго скрывал сделанный им выбор. После ареста Шихирева одна из двух кандидаток отпала, но и на вторую ведь была наброшена тень. По всей вероятности, именно ее имя упоминалось в подметных письмах.



Начало свадебной церемонии. У входа в собор дети боярские берегут путь, чтобы между государева коня и царичьих саней не переходил никто.

Лишь через несколько недель после смотрин к боярину Артамену Матвееву рано утром явились неожиданные гости – Депутация бояр в сопровождении солдат и трубачей. Они передали ему царский приказ немедленно прибыть во дворец вместе с Натальей Нарышкиной, для которой тут же был привезен нарядный убор. Во дворце уже все было готово к свадьбе. Сразу же после извещения о царском выборе будущая мать Петра I должна была поехать в церковь, где и был совершен свадебный обряд в присутствии сравнительно небольшого числа приближенных.

По словам находившегося в это время в Москве иностранца барона Рейтенфельса, пир продолжался несколько дней при запертых изнутри дверях.

После смерти Алексея Михайловича боярин Матвеев в одной из своих челобитных к его сыну вспомнил об исчезнувших из делопроизводства Тайного приказа подметных письмах. Он утверждал, что они были подброшены его завистниками и что в них шла речь о каких-то корнях.

### *Кукиш против «государева слова»*

В «черной» книге упоминаются дела по обвинению в непригожих или неистовых словах против государя. Уличенные в таких поступках карались очень строго. К ссылке в Сибирь добавлялась еще более жестокая кара, обрекавшая виновников на вечное молчание.

«...Июля в 7 день, – гласила типичная в таких случаях запись, – послана государева грамота в Мурашкино к Давыду Племенникову с стадным конюхом с Ывашкою Ларионовым, а в ней написано: Указал великий государь и бояре приговорили мурашкинскому бобылю Илюшке Поршневу за то, что он говорил про него, великого государя, непристойные слова – вырезать язык и сослать з женой и тремя детьми в Сибирь и велено ту казнь учинить при многих людях».

Что же это были за «непригожие слова», за которые приходилось расплачиваться такой дорогой ценою?

Переписная книга об этом умалчивает. Очевидно, даже подьячим Тайного приказа запрещалось их в нее вписывать. Но среди архивных документов сохранились сотни подлинных сыскных дел и пыточные речи обреченных впоследствии на вечное молчание или нещадно битых батогами смельчаков. Из этих дел и явствовало, чего не полагалось говорить в царствование Алексея Михайловича.

«Государь де молодой глуп, а глядит де все изо рта у бояр, у Бориса Ивановича Морозова да у Ильи Даниловича Милославского. Они де всем владеют, и сам де государь, то все ведает и знает, да молчит, черт де у него ум отнял», – говорил, например, 17 января 1649 года сметливый мужичок Савва Корепин об еще молодом Алексее Михайловиче.

«Худ государь, что не заставляет стрельцов с нами землю копать», – посмел упрекнуть царя крестьянин Данило Марков, копая ров на Щегловской засеке, в то время как стоявшие тут же торопецкие стрельцы били баклуши.

«Как я не вижу сына своего перед собою, так бы де государь не видел света сего», – сказала в сердцах прямодушная казачья женка Арина Лобода, винившая царя в том, что ее сын Ромашко не выкуплен из татарского плена.

«Есть де и на великого государя виселица», – такое дерзкое слово, «чего и помыслить никак николи не годится», сорвалось в кабаке с языка не дорожившего своей жизнью смоленского мещанина Михаила Шыршова.

Но если даже царское имя было задето случайно во хмелю или просто так, к слову пришлось, – это все равно рассматривалось как тяжкое государственное преступление.

«У меня де нога лучше, чем у государя царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича», – пошутил, закинув ногу на стол, озорливый боярский сын Афанасий Шепелев в гостях у беломестного казака<sup>22</sup> Богдановой станицы Семена Поплутаева.

«Ты, Евстрат, лучше царя стал!» – похвалил своего соседа Евстрата Туленинова боярский сын Дмитрий Шмараев за то, что тот одолжил ему овса на семена. Испугавшись такой похвалы, Евстрат поспешил донести об этом воеводе, после чего Шмараеву оставалось только «сбежать безвестно», а малолетний сынишка его Сенька по приказу воеводы был отдан на крепкие поруки «до царского указа».

«Был бы здоров государь царь и великий князь Алексей Михайлович, да я, Евтюшка, другой», – налив полную чарку вина, посмел пожелать себе здоровья наравне с царем на свадьбе у соседа вскоре брошенный за это в тюрьму Евтифей Бохолдин.

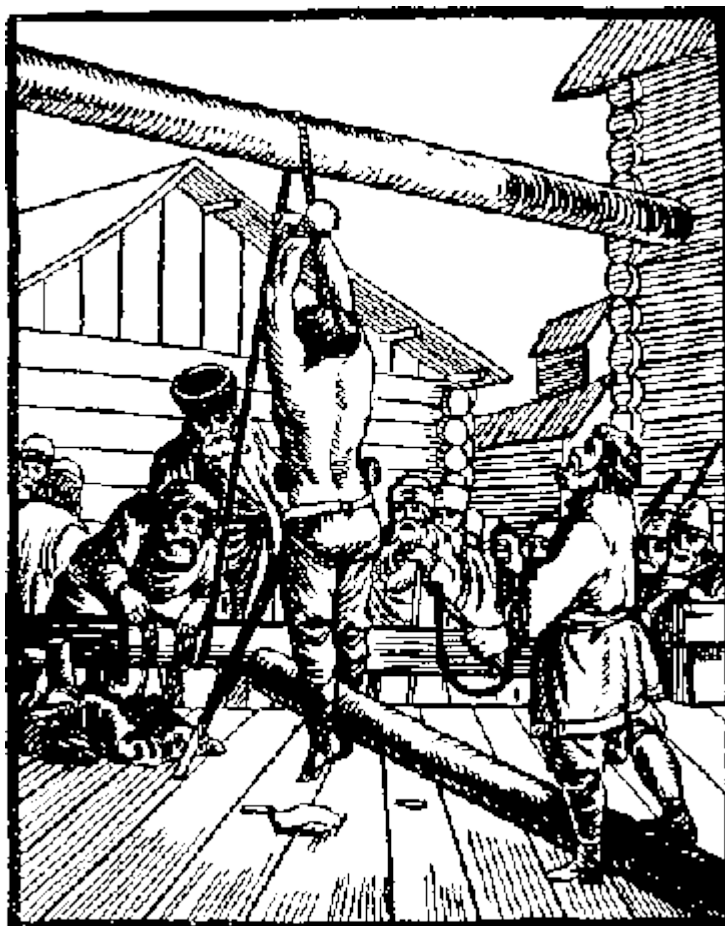
Такая же кара постигла и пушкаря Федора Романова, сказавшего в кабаке при расчете со своим собутыльником московским стрельцом Андреем Шапошником: «Дай де, господи, государь здоров был, я де, по государе, и сам государь».

Жертвой оговорки стал кабацкий голова Иван Шилов, собиравший с кабаков взносы и ведавший, таким образом, «государево кабацкое дело». Его поволокли в съезжую избу за якобы сказанные им неподобные слова, что «государево дело – кабацкое».

У стрелецкого головы Устина Замытцкого на обеде во время пьяной перебранки с пятидесятником<sup>23</sup> Дмитрием Ключником вырвалось: «Боюсь я своего государя, а не твоего и не вашего!» Протрезвившись, он испугался, как бы эти безобидные слова не были кем-нибудь неправильно истолкованы, и поспешил сам подать царю челобитную, что сказал их «не гораздо», «опившись пьян». «И в том перед тобою, государь, я, холоп твой, виновен, – каялся Устин, – а опричь тебя, – спешил он уверить царя, – я иного государя не знаю».

22 Беломестные казаки – служилые казаки, наделенные землей и не платящие податей.

23 Пятидесятник – младший командир подразделения стрельцов.



Непригожее слово о царе могло быть вовсе и не произнесено. Как видно из сохранившихся в том же архиве донесений, при отце Алексея Михайловича произошел такой случай. В подмосковном селе Черемушки на вечеринке у крестьянина Кузьмы Злобина поссорились между собой дети боярские<sup>24</sup> Семен Данилов и Василий Полянский. Семен Данилов пригрозил Полянскому, что пожалуется на него царю, а тот в ответ на это показал ему кукиш, означавший: «Вот де тебе и с государем». Присутствовавший при этом поп Моисей поспешил сообщить о случившемся царскому окольному князю Литвинову-Масальскому. Узнав об этом, боярский сын Василий Полянский сбежал с женой и детьми безвестно. Начался повальный допрос всех участников пирушки. Одни показывали просто, что он «против государева слова подал кукиш», другие – что при этом еще добавил: «Вот де тебе и с государем».

Достаточно было не встать и не снять шапку при упоминании царского имени, когда священник, возглашая многолетие царю, поднимал заздравную чашу, или не пригубить меда из этой чаши, как уже заводилось «государево дело».

Такое дело было, например, заведено на монастырского оброчного крестьянина Григория Шелтякова за то, что он спал, прислонившись к стене, когда пришедший в гости к дворнику Ореху Седельнику успенский поп Иван возгласил многолетие царю. Сколько ни толкали Григория в бок и в спину, он не шевельнулся потому, что, как потом оказалось, «был пьян беспамятно». Но наказания он все же не избежал.

Ефремовский пушкарь Степан Карпачев никогда не говорил о царе ничего зазорного, но однажды узнал от своей приемной дочери, молодежи Агапеицы, что ей во сне явился праведный старец Никита и посоветовал, «чтобы он, Стенька, переставил свою избу и пристроил к ней сени. А в тех де бы сенях сидеть ей, Агапеице, а ему б де, Стеньке, быть на царстве».

24 Дети боярские – служилые люди, принадлежавшие к низшему разряду провинциального дворянства.



Простодушный пушкарь так и сделал. За то, «что он, Степанка, тому бесовскому мечтанью поверил и избу свою переставлял», он был, по указу царя, нещадно бит батогами.

В «черной» переписной книге Приказа тайных дел в качестве царских оскорбителей упоминаются главным образом люди низших званий: крестьяне, посадские люди, чернецы и стрельцы и особенно часто тюремные сидельцы.

Уже в день рождения царя Алексея Михайловича было заведено «государево дело» на корпевшего в тюрьме саратовского стрельца Федора Игнатьева, по прозвищу Недоростка, за то, что он разглагольствовал: «Бог де нам дал царевича Алексея Михайловича, и для той де радости государь нас не пожаловал, из тюрьмы выпустить не велел», и предлагал своим товарищам по камере: «Станем де просить у бога, чтобы дал другого царевича, авось тогда царь велит нас выпустить». А другой тюремный сиделец, Гаврила, по прозвищу Шешура, на это ответил: «Ну де, тех царевичей в воду!»

«Если у нас государя не будет, кто де у нас тогда царем будет?» – полубопытствовал заключенный Андрей Колесник. Эти слова были сообщены царю и расценены как пожелание ему смерти.



Самый закоренелый уголовный преступник, объявивший вдруг, что ему известно «государево слово» или «дело», сразу становился на некоторое время своего рода священной особой, так же как и все те, на кого он указывал как на царских личных врагов и оскорбителей. Их везли в Москву с «великим бережением». Воеводы были обязаны вне всякой очереди давать для них лошадей и охранников, отвечавших за них своей головой.

Но нередко оказывалось, что какой-нибудь крестьянин или тюремный сиделец, объявивший за собой «государево слово» или «дело», после привоза его в Москву вместо сообщения о чьих-либо «непригожих словах» против царя или подготовке покушения на его жизнь рассказывал на допросе лишь о прикрываемых воеводами вопиющих злоупотреблениях и самоуправствах.

Так, например, крестьянин Шацкого уезда Вавила Бердников, брошенный в тюрьму по доносу помещика Тимофея Желябужского, нашел в себе мужество объявить за собой «государево слово» с единственной целью – вскрыть совершенное этим помещиком преступление. Выяснилось, что Тимофей Желябужский самовольно «пытал пыткой» крестьянина своего Шацкого уезда Федьку и запытал его до смерти, а похоронную де взял обманом, сказал, что тот его крестьянин умер де своей смертью. Да у него же де, у Тимофея, – говорил Бердников, – делан крест деревянный, а вверху де у того креста и внизу и по сторонам поделаны петли и на том де кресте он, Тимофей, крестьян своих и людей привязывая, мучит».

Наклепавшим на себя «государево дело» смельчакам, невзирая на самые бдительные меры охраны, нередко удавалось по пути в Москву ускользнуть от конвоя.

Среди документов о сыске по «государевым делам», сохранившимся в Центральном государственном архиве древних актов, числятся две любопытные памятки, составленные для думных дьяков Гавренева и Заборовского.

Одна из них сообщает о том, что служащему Стрелецкого приказа Никифору Федоровичу Дурному дан под охрану колодник дорогобужанин Иван Григорьев, сын Щур, обвиняемый в «государеве великом деле».

«А велено Никифору того колодника держать скована, в чеппи, в железах, с великим бережением».

Выполняя этот приказ, Никифор Дурной надел на плечи-доверенному ему колоднику особые «железа», называемые «стулом». Но, как видно из дальнейшего, «тот колодник Ивашка Щур у него февраля 15 числа за три часа до света ушел с чепью и с стулом».

«А тот мужик, Ивашка Щур, – говорится далее в памятке, – ростом невелик, кренаст, глаза кары, волосы-голова руса, борода светло-руса, кругла, невелика; платье на нем: шубенка баранья, нагольная, шапка овчинная, выбойчатая, штаны суконные, красные, сапоги телятненные, литовские, прямые, скобы серебряны».

Вслед за тщательным описанием примет беглеца подробно перечисляются и некоторые местности, куда он мог скрыться. «А чаять его, Ивашкова, побегу – в литовскую сторону, на Вязьму или на Калугу или будет, укрываясь, и на иные дороги пойдет».

Памятка напоминает об указе царя разослать наскоро «заказные грамоты» с этими приметами Ивашки Щура и обещанием «государевы жалованья» тому, кто его приведет. На основании этой грамотки дьяки составили приложенное тут же предписание воеводам осматривать накрепко не только на всех дорогах и на заставах, но и по малым стежкам, «чтобы тот колодник, Ивашка Щур, днем и ночью, в шпынском и в чернецком платье и в женской скуфье не прошел и не прокрался, никоторыми мерами».

Окованный в железо и опутанный цепью колодник в течение целой недели скрывался от царских сыщиков, но все же не смог далеко уйти. К памятке подклеено донесение можайского воеводы Алексея Загрязского о том, что Щур пойман в Можайске и «того колодника взял сотник московских стрельцов, посланный за ним в погоню Иван Рычагов».

Но ко всем этим документам приложена еще одна памятка, адресованная тем же думным дьякам и помеченная мартом 7158 (1650) года о побеге другого колодника, Федора Григорьева Щура, взятого под стражу в том же «великом государевом деле». Судя по приметам, он не был похож на брата, был выше его ростом, глаза не карие, а серые, «голова черна», и только борода была «руса», но не кругла, а «долговата». Волосы на голове «велики», очевидно отросли в тюрьме. «Лицом бледен» – по той же причине. Одет он был гораздо беднее брата, в белый сермяжный кафтанишко и простой овчинный тулуп, «с ожерельем». Ноги были обуты в «лаптишки».

На береженье Федор Щур был отдан служащему Стрелецкого приказа Хлопову, который его и упустил. Грамоты с приметами Федора Щура были разосланы тем же воеводам, но отписка о поимке к ним не приложена. «Государево жалованье», назначенное за поимку этого беглеца, очевидно, так и осталось в казне.

Какое обвинение было предъявлено обоим беглецам, в памятках не упоминается. Никогда не удастся узнать и историю возникновения многих «государевых дел», перечисленных в «черной» книге, так как подлинники не сохранились. Но пожелтевшие страницы этой книги убеждают в главном: как жестоко ни преследовал Тайный приказ оскорбителей царя, поток дел о непристойных, непригожих, поносных, неподобных и неистовых словах по его адресу в то «бунташное время» не прекращался.

## ПЫТОЧНЫЕ РЕЧИ СТЕПАНА РАЗИНА

### *Показание первое*

Наряду с разбойниками и ворами упоминается в «черной» переписной книге Приказа тайных дел и донской казак Степан Разин, народный герой, поднявший в жестокую пору крепостнического гнета широкое крестьянское восстание.



Портрет Степана Разина,  
нарисованный в XVII веке  
голландским художником.

Так как движение это началось на Волге, Приказ тайных дел следил за ним главным образом по отпискам воевод приволжских городов, а потом по донесениям военачальников, посланных подавлять восстание. Царя особенно тревожили «прелестные письма» самого Разина, которыми он «прельщал» и поднимал: трудовой люд на борьбу против «мирских кровопивцев и изменников» — бояр.

Отписки и донесения от воевод и «разных чинов людей» о действиях Разина поступали в большом количестве и в Приказ Казанского дворца, находившийся в Кремле и XVII веке ведавший делами приволжских областей. В этом приказе главным образом и сосредоточились огромной ценности материалы о крестьянском движении XVII века, поднятом Степаном Разиным и продолжавшемся после его казни. Но все это погибло в 1701 году, во время грандиозного кремлевского пожара, начавшегося, как и многие предыдущие, от церковной свечки. Огонь уничтожил весь архив Приказа Казанского дворца. Из подлинных документов о восстании Степана Разина уцелело лишь несколько ветхих

столбцов, пересланных еще до пожара в другие учреждения. Вот почему о некоторых подробностях этого восстания первые русские историки вынуждены были черпать сведения главным образом из воспоминаний живших в то время в России иностранцев. В том же самом 1671 году, когда было подавлено восстание Степана Разина, во Франции появилась печатная брошюра под названием: «Сообщение о подробностях бунта, недавно поднятого в Московии Стенькою Разиным, о его зарождении, развитии и окончании, с объяснением, как был пойман этот бунтовщик, какой ему был вынесен приговор и каким способом он был казнен». Это был перевод с английского. Автор ее – англичанин – посетил Россию на корабле «Царица Эсфирь», совершавшем регулярные рейсы между Лондоном и Архангельском. По-видимому, в 1670 году он побывал в Москве и в других русских городах.

Сочинение это было отпечатано в Лондоне и очень быстро разошлось. Но еще раньше оно прямо с рукописи было переведено на французский язык и именно из Франции попало в Россию. В течение долгого времени эта тоненькая брошюрка была чуть ли не единственным источником сведений о восстании Степана Разина.

«...На это место было страшно взглянуть. Оно походило на преддверие ада, – восклицал англичанин, описывая расправу над восставшими, устроенную главным воеводой всех действовавших против Разина войск князем Юрием Долгоруким в Арзамасе. – Повсюду стояли виселицы. На каждой из них висело по сорок – пятьдесят человек. В других местах валялось множество обезглавленных тел, плававших в крови. В разных местах находились посаженные на колья. Некоторые из них жили до трех дней и даже еще говорили...»

Англичанин назвал в своем сочинении цифру казненных. По его подсчету, в течение трех месяцев было казнено одиннадцать тысяч человек. Жестокость расправы подтверждается и официальными русскими источниками. Князь Долгорукий и другие воеводы вершили суд на месте в ускоренном порядке, почти не тратя времени на допросы обвиняемых. Впрочем, краткие записи расспросных речей некоторых участников восстания все же удалось найти в архивах волжских городов. Утрачены безвозвратно в огне кремлевского пожара пыточные речи самого Степана Разина, его брата Фрола и других его ближайших сподвижников. Это дало повод некоторым историкам поспешить с выводом, что Степан Разин на следствии отказался отвечать на заданные ему судьями вопросы и все время молчал. Но в дальнейшем выяснилось, что Разин не молчал на допросах. Он смело говорил правду в глаза царским следователям. В английской брошюре прямо сказано, что Степан Разин во время пытки назвал одну из причин, побудивших его поднять восстание. Причина эта – свирепая расправа, учиненная над его старшим братом Иваном, повешенным по приказу князя Долгорукого за самовольный уход отряда казаков на Дон в дни русско-польской войны. Позже среди документов, не имеющих никакого отношения к восстанию Степана Разина, были случайно обнаружены записи еще двух его показаний, данных им во время следствия и, несомненно, содержащихся в сгоревшем следственном деле.

### ***Показание второе***

Известный археограф П. М. Строев, изучая старинные тексты в патриаршей библиотеке, заглянул однажды в сундук с полуистлевшими и разрозненными свитками и бумагами, которыми ризничий этой библиотеки собирался топить печь. Строев упросил служителя отдать ему сундук. Среди действительно истлевших и негодных старых бумаг он нашел двенадцать свернутых трубкой столбцов разных размеров и одну тетрадь – подлинное дело о суде над современником Степана Разина знаменитым реформатором церкви патриархом Никоном, обвинявшимся, между прочим, и в сношениях с Разиным. Известно, что Разин распространял слух о том, что патриарх Никои плывет вместе с ним по Волге к Москве. В подтверждение этого он даже приказал обить один из стругов своей флотилии черным бархатом.

Первоначально хранившееся в Приказе тайных дел судное дело Никона было разделено на две части еще при царе Алексее Михайловиче. Двенадцать свитков и одна тетрадь были переданы в Посольский приказ и затем перенесены в патриаршую Крестовую палату, откуда они, очевидно, и попали в патриаршую библиотеку; другие же были при Петре I перевезены в Петербург и сданы в сенатский архив.

Пересмотрев найденные в сундуке столбцы, Строев обнаружил среди них между прочим и копию наказа, данного ярым противником Никона патриархом Иоакимом своему подчиненному архимандриту Павлу. В наказе говорилось о переводе разжалованного в монахи Никона из первоначально назначенного ему места ссылки – Ферапонтова монастыря – в более строгий Кирилло-Белозерский монастырь. В качестве одной из причин этого перевода приводилось обвинение Никона в том, что он совещался «с ворами и изменниками Московского государства, с единомышленниками Стеньки Разина». Они якобы звали Никона принять участие в захвате Кириллова монастыря, а потом вместе с ними отправиться на Волгу.

«А вор и изменник Стенька Разин с товарищи, – утверждал наказ, – и сами с пыток говорили, что от тебя к ним, в воровское их войско в Синбирск, на такой их злой совет и чернец был послан».

Обвинение это было основано на доносе князя Самойла Шай-супова, приставленного к бывшему патриарху для наблюдения. О попытках Степана Разина привлечь Никона на свою сторону последний сам однажды откровенно рассказал Шайсупову. Тот поспешил донести об этом царю, и в монастырь немедленно прибыл из Приказа тайных дел для расследования голова московских стрельцов Ларион Лопухин.

В наказе упоминается о том, что на основании доноса Шай-супова в Тайном приказе была составлена памятка для Лариона Лопухина, с помощью которой он и должен был производить расследование. В этой, очевидно, впоследствии утраченной памятке было, между прочим, сказано: «...Никон монах говорил князю Самойлу Шайсупову, что... к нему, в Ферапонтов монастырь, приходили трое казаков, Федька да Евтюшка, а третьему имя припамятовал, а звали де его, Никона, с собою, чтоб с ними шел к Кириллову монастырю. А их де пришло до него двести человек; а есть де готово и пятьсот человек. И чтоб Степана Наумова убить до смерти и Кириллов монастырь разорить и с той большой казною и с пушки и с запасы итти на Волгу».

В наказе Никону ставилось в вину, что «если бы он хотел добра», то не умолчал бы о таком преступном предложении подосланных Степаном Разиным казаков, а велел бы их задержать той самой страже, которая стерегла его, Никона, и отвести в Москву, к государю. А он, уже после того, как восстание было подавлено, рассказал об этих казаках князю Самойлу Шайсупову, да и то «закрытым делом». «А какие люди были отобраны для приведения исполнения этого плана, и где двести человек донских казаков стояло, и каких чинов пятьсот человек приготовлено, и в которых местах, и кто заводчик, то не сказал», и в этом именно и состоял его злой умысел и «недоброхотство».

«Да на то же ево зломыслие, – утверждал наказ, – и в деле явилось: как Стенька Разин привезен к Москве и в то время в расспросе у пытки и со многих пыток и с огня сказал: приезжал к Синбирску старец от него, Никона, и говорил ему итти вверх Волгою, а он, Никон, со своей стороны пойдет для того, что ему тошно от бояр!.. И тот де старец из-под Синбирска ушел. А сказывал де ему тот старец, что у Никона есть готовых людей с пять тысяч человек, а де люди у него готовы на Белоозере. И тот старец на бою был, исколол своими руками сына боярского при нем, Стеньке. А товарищ ево, Стенькин, Лазорка, в расспросе же и с пыток и с огня сказал, что старец от Никона к Стеньке приходил на Царицын и был под Синбирском, а для чего приходил, того не ведает. А от Стеньки слышали всем войском, что старец от Никона был с теми словами, что писано выше сего. Да и брат Стеньки Фролко говорил с пыток те же речи».

Выслушав приказ царя и патриарха Иоакима о переводе его в отдаленный Кирилло-Белозерский монастырь, бывший патриарх Никон подтвердил, что у него были

посланцы от Степана Разина, но они якобы были приведены к нему под конвоем стрельцов. Имен же тех стрельцов Никон не мог вспомнить. И эти казаки, добавил Никон, действительно говорили ему, что у них есть отряд, человек двести или больше, в Белозерском уезде, а что это за люди и где стоит этот отряд, они ему не сказали. «А к Разину де, к Синбирску, – закончил монах Никон свое признание, – старца никакого он не посылавал и про пять тысяч людей не приказывал и вверх Волгою звать Разина не велевал».

Таков второй документ, из которого следует, что Степан Разин давал показания на допросах.

### *Показание третье*

Третье показание Степана Разина было обнаружено сравнительно недавно, в конце XIX столетия, при еще более неожиданных обстоятельствах.

В 1876 году пензенская помещица Евдокия Корниловна Рудольф пожертвовала в библиотеку города Керенска несколько старинных рукописей в столбцах. Одна из них принадлежала в свое время прежнему владельцу ее имения Александру Вешнякову и была особенно длинной. Когда свиток развернули и измерили, в нем оказалось тринадцать аршин и он был скреплен в двадцати семи местах. С трудом разобрали выцветший текст и обнаружили, что свиток является грамотой несовершеннолетних царей Ивана и Петра Алексеевичей, посланной в конце XVII столетия Керенскому воеводе Чубарову по довольно обыденному поводу. Речь шла о земельной тяжбе между местными помещиками Вешняковым и сыном прежнего владельца принадлежащего ему имения, выкрестом из татар Асаем Карачуриным.

Грамота напоминала о челобитной головы московских стрельцов Гермогена Вешнякова покойному царю Алексею Михайловичу. Челобитчик писал в ней, что он ходил со своим полком на польского короля, состоял на многих службах в польских, немецких и черкасских городах и был дважды ранен, один раз из мушкета в правую ногу, пуля так и осталась в ней, второй раз из пищали в левый бок – пуля вышла навывлет, и за все свои многие службы, за кровь и за раны ничем не был пожалован. Царь велел отписать на его имя земельные угодья, принадлежавшие раньше кадомскому татарину Асаю Бейбулатову Карачурину. Во время восстания Степана Разина этот татарин служил в полку воеводы князя Юрия Барятинского, но перебежал на сторону восставших и с тех пор бесследно исчез.

Унаследовавший эту землю сын стрелецкого головы Матвей Вешняков взял к себе на воспитание малолетнего сына Карачурина – Онашку и насильно окрестил его в православную веру. Но, достигнув совершеннолетия и поступив на военную службу, Онашка тоже подал царю челобитную. Он стал требовать назад землю своего отца, ссылаясь на то, что тот служил на государственной службе и сгинул во время военных действий против Степана Разина. Внук же стрелецкого головы – Александр Вешняков старался удержать эту землю, опираясь на пыточные речи Степана Разина, якобы подтвердившего, что отец Онашки был его сообщником.

«В прошлом де во 179 (1671) году вор, ызменник Стенька Разин, как привезен был к Москве, – сообщалось в грамоте, – и в то число говорил с пытки» измене и в воровстве на кадомского татарина на Асайку Карачурина, а в какой измене говорил и что ево, Асайкина, измена, и то писано в деле вора Стеньки Разина, а те его расспросные речи в Приказе Казанского дворца и по тем де ево расспросным речам ево, Асайку, по указу отца нашего, блаженной памяти великого государя, велено сыскать».

В грамоте также говорилось, что для розыска Асая Карачурина был послан из Москвы в Кадом и в Керенск и в иные низовые города из Приказа Казанского дворца сыщик, стрелецкий полуголова Алексей Лужин. Тут же в подкрепление выставленных Александром Вешняковым доводов приводились и выдержки розыскного дела Асая Карачурина, являвшиеся одновременно выписками из сгоревшего потом следственного дела Степана Разина.

«В расспросе и с пытки вор, ызменник Стенька Разин сказал, – гласил текст одной выписки, – приходил де к нему под Синбирском татарин, пожиточный человек, Асайком зовут, и говорил ему, чтоб итить под Казань, а в Казани де сидеть не будут, а которого города тот татарин, того он не ведает, а ростом де он не мал, борода черна, щека перерублена». Степан Разин также показал, что именно Асай Карачурин переводил разинское письмо к казанским татарам, в котором Степан звал их «быть заодно» и предостерегал: «а буде заодно не будете, и вам бы не пенять». И Карачурин сам подтверждал в этом письме: «Я, Асай Айбулатов, состою при Степане Тимофеевиче».

Разыскивая чернобородого татарина с перерубленной щекой, сыщик Алексей Лужин побывал в девяти городах: Алатыре, Арзамасе, Кадоме, Касимове, Керенске, Саранске, Свияжске, Симбирске и Темникове, и, не найдя его, отправил в Москву под конвоем одиннадцать других татар и даже одного русского священника отца Алексея. На расспросе и с пытки они показали, что Асай Карачурин имел связь со своим племянником Уразкою, а куда сам девался, этого они не ведают. Отпирался во всем и несколько раз пытанный Уразка, и в конце концов всех задержанных пришлось отпустить. Сыну же Карачурина Онашке в восстановлении его прав на землю было отказано.

Такими необычными путями удалось приблизительно установить содержание некоторых расспросных и пыточных речей Степана Разина по трем, пусть не самым главным вопросам, заданным ему во время следствия.

### Царский вопросник

В бумагах Тайного приказа была найдена написанная собственноручно царем Алексеем Михайловичем коротенькая, но очень интересная записка. Она была адресована боярам, руководившим следствием по делу Разина, и состояла из вопросов, по которым должен был быть допрошен и, конечно, допрашивался Степан Разин. Вопросы были десять. Первый из них гласил:

*О князе Иване Прозоровском и о дьяках, за што побил и какая шюба?*

3. За что князь Прозоровский  
дьяков побил и за что?

3. За что Алексей Прозоровский  
дьяков побил и за что?  
Возвращаясь из Казани  
он был в дороге  
Прозоровский в Казани  
и там был побит  
Прозоровский

Боярин князь Иван Семенович Прозоровский был назначен воеводой в Астрахань в июле 1667 года после того, как в Москву стали поступать тревожные известия о занятии восставшими казаками Гурьева и о намерении их идти на Астрахань. Но вместо этого разинская вольница поплыла на стругах в Персию, опустошая ее берега своими набегами. Когда изнуренные этим походом казаки вернулись назад, князь Прозоровский послал им навстречу своего подручного воеводу князя Львова. Не сумев разбить восставших, Львов договорился с Разиным, что казаки вернуться на Дон. А за то, что князь Прозоровский не принудил казаков к присяге, он получил от Разина богатые подарки. Но этих подарков Прозоровскому показалось мало. Сохранилось предание, что, приехав как-то раз в гости к Разину, жадный воевода увидел у него роскошную соболью шубу, покрытую дорогой персидской парчой, и стал вымогать ее у Разина. Разин отдал князю шубу со словами: «Бери эту шубу, лишь бы не наделала она шуму».

Но шуму наделала не шуба, а сам Разин, когда он через год снова подступил к Астрахани и сбросил корыстного воеводу с высокого раската. Тогда же он рассчитался и с ближайшими помощниками воеводы – приказными, ненавидимыми народом. Некоторые из них были зарублены, а подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев повешен за ребро.

Царь, очевидно, хотел своим вопросом уточнить мотивы суровой расправы разинцев с князем Прозоровским и другими начальными и служилыми людьми и узнать от самого Разина подробности вымогательства князем дорогой шубы, о чем царю могло быть известно по слухам и через Приказ тайных дел.

Второй вопрос был такой:

*Как пошел на море, по какому случаю к митрополиту ясырь присылал?*

Царя очень интересовали взаимоотношения Разина с представителями власти не только светской, но и духовной. Из челобитной астраханского митрополита Иосифа он знал, что Разин, возвращаясь со своими казаками из персидского похода, нагрянул на принадлежавший митрополиту «учюг» – большое рыболовецкое хозяйство в устье Волги – и захватил все имевшиеся там запасы икры, рыбы, хлеба и жира, в которых он, видимо, нуждался, а также все имущество рыболовецкого стана: струги, лодки, неводы, багры. Но, увезя все это с собой, Разин в то же время оставил часть своей добычи, состоявшей из всякого имущества, в том числе церковного, и захваченных в Персии пленников (ясырь). Царь, по-видимому, хотел знать: что побудило Разина вознаградить митрополита за взятые им запасы?

Третий вопрос:

*По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить?*

Царь добивался от Разина ответа, что заставило его поднять всенародное восстание после того, как астраханские воеводы князь Прозоровский и его помощник князь Львов отдали ему царскую «милостивую грамоту», избавлявшую его от смертной казни, которой он подлежал за самовольный поход в Персию.

Четвертый вопрос:

*Для чего Черкасского вичил? По какой от него к себе милости?*

Царь, видимо, располагал сведениями, что некоторые воеводы побаивались Разина, относились к нему снисходительно и делали разные поблажки. Из показаний оказавшегося в Астрахани во время восстания и находившегося три недели при Разине курского священника Ивана Колесникова и, возможно, также из других источников, царю было известно, что в той же речи перед казачьим кругом, в которой Разин перечислял имена неугодных казакам воевод, бояр и дьяков, он положительно отзывался о двух боярах. Один из них был бывший астраханский воевода князь Григорий Сунгалеевич Черкасский, уроженец Кавказа, умевший ладить с казаками. Царь требовал, чтобы Разин признался, почему он говорил с уважением о Черкасском, «вичил» его, то есть называл его «с вичем», по имени-отчеству: «Григорий Сунгалеевич». Не сделал ли князь Черкасский Разину тайно от царя какую-нибудь поблажку?

Пятый вопрос:

*И кто приказ к вам сказал кому, что Долгорукий переведен?*



Царь любопытствовал, от кого Разину удалось узнать, что на место медлительного князя Урусова главным воеводой всех действовавших против него сил был назначен князь Долгорукий.

Шестой вопрос:

*За что Никона хвалил, а нынешнего бесчестил?*

Вопрос этот касался отношения Разина к бывшему патриарху Никону. Царь допытывался, почему Разин распускал слухи, что Никон поддерживает его движение и даже едет вместе с ним на обитом черным сукном струге, и чем объясняется отрицательное отношение Разина к новому, избранному на место Никона патриарху.

Седьмой вопрос:

За что вселенских хотел побить, что они по правде извергли Никона и шшто он к ним приказывал и старец Сергей от Никона по зиме нынешней, прешедшей, приезжал ли?

Царь, очевидно, подозревал Разина в намерении расправиться с вселенскими патриархами Паисием и Макарием, участвовавшими в церковном суде над Никоном, и допытывался, не приказывал ли Разин напасть на них на обратном пути, когда они возвращались на Восток. Он хотел также выведать у Разина, приезжал ли к нему от Никона для тайной встречи тот самый чернец, старец Сергей, посылку которого к Разину Никон отрицал.

Восьмой вопрос:

*О Кореле, грамота... За никоновою печатью, к царскому величеству шлют из-за рубежа?*

Еще в ноябре 1660 года царь вместе с боярами слушал доклад вернувшегося из поездки в Швецию чужеземца полковника Николая фон Стадена об его беседах с шведскими министрами генералом Врангелем и Тотте.

Генерал Врангель сообщил Стадену тревожную новость: будто бы донской казак Степан Разин прислал карельским и ижорским крестьянам листы за подписью и печатью бывшего патриарха Никона. Царь просил после этого шведского короля, чтобы он «к его царскому величеству показал дружбу и любовь и те листы за рукою и печатью бывшего Никона патриарха и тех, с которыми те листы присланы, к великому государю прислал».

Недоволен был царь также и тем, что подданные шведского короля «печатные дворы держат» и на них «куранты», то есть придворно-дипломатические ведомости, печатают с ложными известиями о патриархе Никоне и Степане Разине и этим «между обоими государями чинят ссоры и нелюбовь».

В шведских курантах, в частности, сообщалось, будто бывший московский патриарх, собрав большое войско, хочет идти войной на царя за то, что царь, обесчестив его, «от патриаршего чина без всякие вины отставил». Патриарх Никон расхваливался в этих курантах, как «премудрый и ученый человек и во всем лучше самого царя».

Но, по-видимому, особенно возмутили царя известия тех же курантов, что он якобы ищет случая «с Стенькою Разиным миритца, к чему и Разин склонен токмо таким намерением – первое: чтоб царское величество ево царем казанским и астраханским почитал. Второе: чтоб он, великий государь, ему, на ево войско из своей царской казны дать указал двадцать бочек золота. Третье: желает он же, Стенька, чтобы великий государь ему выдать изволил осми человек близких ему бояр, которых он за прегрешения их казнити умыслил. Четвертое: последнее ж желает, чтоб прежний патриарх, который ныне у него пребывает, паки в свой чин возвратити изволил».

Царь требовал, чтобы шведский король жестоко наказал своих верноподданных за распространение таких ложных известий и указал, угрожая смертной казнью, чтобы «отнюдь впредь таких ложных курантов не печатали».

29 декабря 1672 года шведский посол Адольф Эбершельд был вызван в Посольский приказ к боярину Дмитрию Долгорукому и думному дворянину Артамону Матвееву, поставившим ему на вид, что шведский король до сих пор «сыскать не указал и прислать не изволил» не дававшие спать царю разинские «прелестные письма» с никоновой печатью.

Посол поспешил заверить бояр, что «королевское величество в Корельскую и в Ижорскую земли сыскивать посылал напрасно. Но такого де листа в тех Корельской и Ижорской землях и в иных королевского величества городах отнюдь нет и не бывало. А если б де тот воровской лист сыскался, то королевское бы величество тот лист к царскому величеству прислал бы с ним, послом».

Расспрашивая Разина об его листах с никоновой печатью, царь пытался получить из первоисточника ответ на тот же интересовавший его вопрос, который ему удалось выяснить окольным путем. Очевидно, он имел в виду использовать ответ Разина против бывшего патриарха Никона, не перестававшего смущать умы и после низложения его церковным собором.

Девятый вопрос:

*О Каспулате, где он?*

Вопрос касался еще одного князя Черкасского – Каспулата Муцаловича, родного племянника бывшего астраханского воеводы Григория Сунгалеевича Черкасского.

Этого кабардинского князя, служившего в Терском городе, Разин хорошо знал. Еще в 1661 году они вместе договаривались с калмыцкими тайшами<sup>25</sup> о выступлении против крымского хана. Донские казаки Разина должны были чинить поиск вместе с конными черкесами кабардинского мурзы. Но потом их пути разошлись. Когда Разин поднял восстание, царские воеводы натравили на него тех же конных черкесов. Это не помешало Разину в 1668 году забросить князю с моря грамотку, чтоб он прислал ему разного запаса не только продовольствия и вина для прокорму подтянувшей животы вольницы, но и пороху и свинца для «угощения» государевых стрельцов.

Десятый вопрос:

*На Синбир жену видел ли?*

Этот вопрос был, очевидно, задан царем из простого любопытства. Он хотел узнать, успел ли Разин в Симбирске повидать жену.

### **Пропавший приговор**

Вместе с сыскным делом о Степане Разине сгорел и подлинник приговора по этому делу. Между тем полный текст приговора представлял большой интерес для историков: ведь он мог в какой-то мере возместить утраченное следственное дело.

В приговоре, хотя и в общих чертах и, конечно, в одностороннем, пристрастном освещении, были обрисованы все этапы восстания, перечислены все установленные следствием действия восставших, названы имена сподвижников и единомышленников Разина, обоснованы все предъявленные ему царским правительством обвинения. Одним словом, этот документ содержал о восстании богатейший материал.

В свое время приговор по делу Степана Разина существовал, конечно, не в одном экземпляре, но среди уцелевших документов удалось найти только одну-единственную, притом сильно поврежденную и поэтому неполноценную его копию. Она была случайно обнаружена в «Донских делах» Московского главного архива министерства иностранных дел. Больше половины текста в копии не доставало, и, к немалой досаде исследователей, была оторвана как раз первая его половина. Это было бы невозместимой утратой, если бы содержание этой части приговора не удалось узнать другими путями. Полный его текст был опубликован почти триста лет тому назад в Париже в качестве приложения к французскому изданию первого печатного сообщения о восстании Степана Разина, написанного английским моряком с корабля «Царица Эсфирь».

При сличении французского текста приговора с сохранившейся па русском языке второй его половиной было установлено полное совпадение их содержания. Из этого был

сделан вывод, что автор брошюры во время своего пребывания в России, очевидно, снял копию с полноценного русского оригинала.

Французским изданием приговора, являвшимся, в свою очередь, только переводом с английского, долгое время вынуждены были пользоваться русские историки. Но вот в конце прошлого столетия в России была найдена еще одна его копия, впрочем тоже поврежденная. Она оказалась вшитой в старинный рукописный сборник, приобретенный у частного лица Обществом любителей истории и древностей российских и отличалась от первой тем, что была снята вскоре после суда над Разиным. Но на этот раз доставало уже не половины, а только одной четверти текста. Кроме того, почти одновременно в Германии и в Голландии был также опубликован еще один перевод приговора по делу Степана Разина, сделанный, однако, не с приложения к сочинению английского моряка, а с какого-то другого, никому не известного русского оригинала. Текст этот был опубликован впервые в 1738 году в книге немецкого путешественника Вебера «Преображенная Россия».

Так как немецкий перевод отличался наибольшей точностью, он и был использован для восстановления полного текста приговора. Но неизбежных разночтений при этом все же не удалось устранить. Таким образом, в течение двух с половиной столетий подлинный русский текст приговора по делу Степана Разина не был полностью известен в самой России.

Только после Октябрьской революции, когда в розыске и исследовании документов о восстании Разина произошел большой сдвиг, в «Донских делах» бывшего Московского главного архива министерства иностранных дел среди никем еще не исследованных рукописей научным сотрудником архива А. А. Покровским был, наконец, найден полный текст приговора. Он был списан с сгоревшего подлинника и озаглавлен «Список с скаски, какова сказана у казни вору и богоотступнику и изменнику Стеньке Разину».

«Вор и богоотступник и изменник донской казак Стенька Разин!» Так начиналась эта «скаска», над составлением которой несколько суток потели бояре. Приговор был написан в форме обличительной речи, обращенной лично к обвиняемому.

«...В прошлом во 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя... крестное целование и его государскую милость ему, великому государю, изменил и собрався, пошел з дому для воровства на Волгу и на Волге многие пакости починил...»

«Скаска» подробно перечисляла, какие именно: захват купеческих, монастырских и патриарших барж и кораблей, разрыв переговоров с царскими воеводами и расправа над ними, нападение на персидские корабли и города – «и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую».

После помилования Разина царем (на это обстоятельство особенно напирал приговор) «...Ты ж, вор, забыв великого государя милостивую пощаду, снова пошел на Волгу для своего воровства...»

Слово «вор», употреблявшееся в те времена в смысле «зако-ноотступник», склоняется в приговоре на все лады. Старательно перечисляются имена всех утопленных Разиным в Волге царских воевод.



Астрахань.

Ты ж, вор, Стенька, пришед под Царицын... воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду...

...Ты ж, вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Семена Ивановича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с роскату бросил... А иных в воду пометал...»

Ненавистью к смертельному врагу и злорадством проникнута каждая строка «скаски», сочиненной уцелевшими от народного возмездия воеводами и боярами.

«...А как ты, вор, пришел на Саратов и ты государеву денежную казну и хлеб... все пограбил, и воеводу Кузьму Лутохина и детей боярских побил...

А с Саратова пошел ты, вор, к Самаре; и самарские жители город тебе здали... И ты государеву казну пограбил же и воеводу Ивана Алфимова и самарцов, которые к твоему воровству не пристали, побил же.

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарищи под Син-бирской пришел, а пришел под Синбирской, з государевыми ратными людьми бился...

А ты, вор Фролко (эти слова относились уже к брату Разина), пристав к воровству брата своего и соединясь с такими ж ворами, ходил, собрався, к украинным городам<sup>26</sup> в ыные места и многое разоренье чинил и людей побивал.....И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела и к великому государю за измену и ко всему Московскому государству за разоренье, – подытоживает заключительная часть «скаски», – по указу великого государя, бояря приговорили: казнить злою смертью, четвертовать, а тебе, Фролку, голову отсечь».

Приговор этот был оглашен и приведен в исполнение публично на Красной площади. Степан Разин выслушал его спокойно и не проронил ни слова, только перекрестился.

Но откуда это стало известно? Какие документы о последних минутах жизни народного мстителя уцелели и сохранились до наших дней?

Несмотря на то что Разин был казнен публично при огромном скоплении народа, основным источником, из которого историки долго черпали сведения о подробностях казни и последних минутах его жизни, были только рассказы присутствовавших на этой казни иностранцев.

Лишь через двести лет после казни, в 1867 году, в «Вологодских епархиальных ведомостях» было впервые опубликовано найденное, вероятно в монастырском архиве, свидетельство одного москвича, видевшего Разина накануне казни.

В письме к вологодскому архиепископу Симону проживавший в июне 1671 года в Москве стряпчий Акинфий Горяинов писал:

«...А ныне, государь, привезли к Москве донские казаки вора Степана Разина и с братом, и бояре ныне беспрестанно за тем сидят. С двора съезжают на первом часу дня, а разъезжаются часу в тринадцатом дни. По два дни пытали. На Красной площади изготовлены ямы и колы вострены.

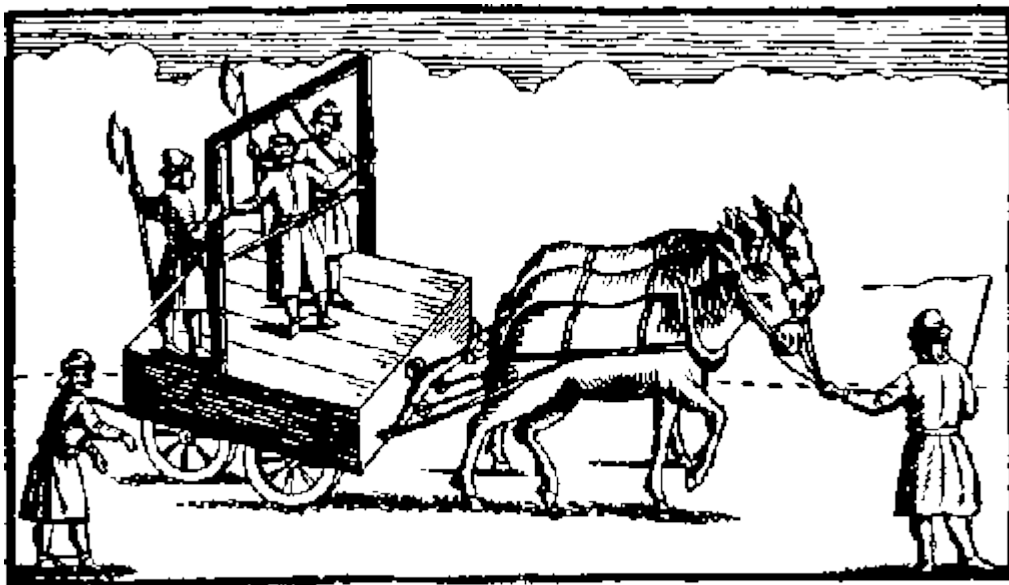
По оба дни сказано ему вершение: по се число не вершен. А в город он веден: сделана ларь на четырех колесах, а по краям поставлены два столба, да поперешное бревно, да над головою ево другое поперешное бревно, то он был на ларь поставлен, чтобы всякому было видно, а к бревнам и к столбам был прикован. А брат его был прикован к ларе на чепях, а шел пеш, а ноги скованы».

Те же самые сведения сообщал Акинфий Горяинов и в письме к своему брату, настоятелю монастыря близ Ярославля, но оба письма касались только приготовлений к казни Разина.

Описание самой казни лишь в освещении иностранцев отчасти объясняют записки Якова Рейтенфельса, племянника главного врача царя. В поднесенном им впоследствии светлейшему тосканскому герцогу Козьме III «Сказании о Московии» Рейтенфельс писал, что «площадь, на которой преступник понес свое наказание, была по приказанию царя окружена тройным рядом преданнейших солдат, и только иностранцы допускались в

26 Украинные города – города на окраинах русского государства.

середину огороженного места, а на перекрестках по всему городу стояли отряды войск». Но эта запись не опровергает и другого факта: что Разин был казнен при огромном стечении народа.



Последний путь Степана Разина.

Подтверждая сведения, сообщенные Акинфием Горяиновым в письме к архиепископу, Рейтенфельс дальше пишет:

«Этого изменника ввели в город прикованным цепями к виселице, на возвышении, точно в триумфальной колеснице, так, чтобы все его видели. За колесницей следовали беспорядочной толпой солдаты и пленники, улицы все были заполнены невероятным количеством зрителей, которых отовсюду привлекло из домов, одних – необыкновенное зрелище или негодование, а других – даже и сожаление. В темнице его били кнутом, жгли огнем, капали ледяную воду на голову и подвергали его многим другим утонченным пыткам. Тело его уже было все изъязвлено, так что удары кнута падали на обнаженные кости, а он все-таки так пренебрегал ими, что не только не кричал, но даже не стонал и упрекал брата, разделявшего с ним страдания, в малодушии и изнеженности».

Дальше Рейтенфельс приводит подробности самой казни, не описанной в письме Горяинова.

«...А Стенька, выслушав сперва длинный перечень своих преступлений и смертный приговор, во всеуслышание объявленный судьей, перекрестился, лег на смертную плаху и последовательно был лишен правой и левой рук и ног и, наконец, головы...»

Стойкость Разина в момент исполнения приговора отметили и все другие иностранные наблюдатели, отнюдь не сочувствовавшие ему.

«Он казался вовсе не смущенным и не произнес ни одного слова, а только низко поклонился, – сообщает автор английского «Известия о бунте Стеньки Разина», также, видимо, присутствовавший при казни, – когда же палач намеревался приступить к исполнению своей обязанности, то он перекрестился несколько раз... Затем он поклонился трижды на три стороны собравшейся вокруг толпе, говоря «прости». Немедленно его положили меж двух бревен и отрубили правую руку по локоть и левую ногу по колено; после того ему отсекли топором голову. Все это было сделано с большой поспешностью, в весьма короткое время, и Стенька не испустил ни малейшего вздоха и не обнаружил ничем, что он чувствовал».

Большую твердость Степана Разина в момент казни подчеркнул в своих записках и секретарь Нидерландского посольства Бальтазар Койэт. Сытно пообедав, он отправился смотреть растыканные по кольям «голову и четвергованные останки трупa Стеньки Разина».

Всем иностранцам, присутствовавшим при казни Степана Разина и обратившим внимание на его мужество, бросился в глаза и другой факт: потеря самообладания его братом, очевидно сломленным многодневными пытками и с большим страхом ожидавшим смерти.

Стремление любой ценой продлить свою жизнь заставило его в момент исполнения приговора над Степаном истошно выкрикнуть «государево слово». Так поступали в те времена обычно доносчики, извещающие, что им известна какая-нибудь государственная тайна, которую они могут сообщить только одному царю.

Исполнение приговора над Фролом Разиным было приостановлено. Его отвезли обратно в тюрьму и допрос возобновился.

Данные им показания, очевидно, не были приобщены к уже законченному следственному делу. Копия записи его расспросных речей сохранилась.

Свой внезапный выкрик на площади в момент казни брата Фрол Разин на допросе объяснял тем, что «как де ево пытали во всяких ево воровствах, и в то де время он в оторопях и от многой пытки в память не пришел, а ныне де он опомятовался и скажет про все, что у него в памяти есть... А про письма сказал, которые де воровские письма у брата ево были к нему присыланы, откуда ни есть, и всякие, что у него ни были, то все брат его, Стенька, ухоронил в землю для того, как де он, Стенька, хотел итить вверх к Царицыну, а в дому де у него никого нет. И он де все свои письма собрав, и поклат в кувшин денежной и, засмоля, закопал в землю на острову реки Дону на Прорве, под вербою, а та де верба крива посередке, а около ее густые вербы, а того де острову вокруг версты две или три.

А сказывал де ему про то про все брат его, Стенька, – добавил Фрол Разин, – в то время как он, Фролко, хотел ехать на Царицын для Стенькины рухляди[27]». <sup>27</sup>

Тут же было дано указание о розыске таинственного кувшина, зарытого Степаном Разиным. Поиски производились очень тщательно.

В записной книге московского стола Разрядного приказа № 17 сохранилось краткое сообщение об этом в отчете о поездке на Дон с особым поручением царского стольника и полковника Григория Косогова и дьяка Андрея Богданова. Они отправились туда вместе с возвращавшимся из Москвы «крестным отцом» Разина, донским атаманом Корнилом Яковлевым, предавшим царю своего крестника и привезшим его скованным на казнь.

В благодарность за поимку Разина царские посланцы везли отошавшим казакам денежное жалованье, хлеб и даже пушечные припасы. Раздав привезенное и приняв «по чиновной книге» присягу в верности от пытавшихся все же уклониться от нее казаков, они поехали на урочище Прорву «для сыску воровских писем, про которые сказал вор Фролка Разин». В сделанном ими по возвращении в Москву докладе говорится, что они «тех писем искали накрепко с выборными донскими казаками и под многими вербами копали и щупали, но не сыскали».

Денежный кувшин с перепиской Степана Разина, находка которого дала бы историкам очень ценные сведения, быть может, и до сих пор таится под корнями давно срубленной или давно сгнившей вербы на одном из донских островов.

Несмотря на неудачу предпринятых царскими посланцами поисков, приговор над Фролом Разиным был отсрочен на целых пять лет. Его продолжали допрашивать и пытаться и по другим вопросам, ускользнувшим от внимания бояр во время следствия. Но с жизнью ему все же пришлось расстаться.

Об его казни упоминает в своих записях все тот же любознательный секретарь Нидерландского посольства Бальтазар Койэт.

26 мая 1676 года он с несколькими чинами посольства ездил кататься за Москву-реку и видел по дороге, «как вели на смерть брата великого мятежника Степана Разина».

«Он уже почти шесть лет пробыл в заточении, – записал Койэт, – где его всячески пытали, надеясь, что он еще что-нибудь выскажет. Его повезли через Покровские ворота на

земский двор, а отсюда, в сопровождении судьи и сотни пеших стрельцов, к месту казни, где казнили и брата его. Здесь прочитали приговор, назначавший ему обезглавление и постановлявший, что голова его будет посажена на шест. Когда голову его отрубили, как здесь принято, и посадили на кол, все разошлись по домам».

Только после Октябрьской революции были приложены все усилия к розыску наиболее полных сведений о поднятом Степаном Разиным восстании. Несмотря на пожар Приказа Казанского дворца и гибель сожженных самими же разинцами местных архивов, новых документов об этом восстании все же нашлось гораздо больше, чем мог вместить зарытый Разиным глиняный кувшин.

Центральным государственным архивом древних актов совместно с Институтом истории Академии наук СССР издано два тома документов о крестьянской войне под предводительством Степана Разина, извлеченных главным образом из архивов. Предстоит выпуск еще одного тома, составленного старшим научным сотрудником ЦГАДА Е. А. Швецовой под редакцией доктора исторических наук профессора А. А. Новосельского. Наряду с документами, выявленными еще дворянскими историками, теперь опубликованы и такие, которыми эти историки мало интересовались. Исследуя прежде всего обстоятельства разгрома восстания, они не стремились выяснять, какие глубокие следы оно оставило в сознании народных масс. А между тем как раз об этом говорят уцелевшие следственные дела. Приведем вкратце содержание одного из них.

Вскоре после подавления восстания в городок Пронск приехал на побывку участник карательного похода солдат Ларион Панин и, зайдя в кузницу, хвастался перед мастеровыми, «как вора и изменника Степана Разина с его воровским сбродом разбили и его де, Стеньку, изранили». Один из мастеровых, слышавших эту похвальбу, тут же возразил: «Где де вам Стеньку Разина разбить!»

Солдат поспешил донести об этом местному воеводе Матвеем Огибалову, и тот, снарядив сыск, сообщил царю Алексею Михайловичу, что преступник схвачен и в расспросе в съезжей избе признался, что зовут де его Симошкою Бессоновым и записан он крепостным крестьянином у царского стольника Михаила Еропкина. В сказанных в кузнице словах Бессонов не стал отпираться, добавил только, что был выпивши, «вне ума, пьяным обычаем, проста, а не с мудрости и не с вымыслу молвил: «Где де тебе Разина побить», и в тех де его, Симошкиных, простых пьянских словах ты, великий государь, волен», то есть пусть царь сам решит, как с ним поступить.

В ответ на донесение воеводы из Москвы за подписью дьяка Семена Титова вскоре пришла бесстрастная отписка: «...Великий государь указал и бояре приговорили крестьянину Еропкина Симошке Бессонову за такие слова учинить наказание: бить кнутом нещадно, да у него ж урезать языка, чтоб впредь иным таких слов не повадно было говорить».

## **ПОД НАДЗОРОМ ТАЙНОГО ПРИКАЗА**

### **Заморские диковинки**

Кроме дел секретного характера, Приказ тайных дел занимался еще и так называемыми «явными» делами. К ним относились дела, изъятые из ведения Приказа Большого дворца, так как Алексей Михайлович хотел иметь их под своим личным началом. Эти дела касались прежде всего управления его собственным имуществом, которое предприимчивый царь непрерывно умножал, часто довольно бесцеремонными способами.

Только после его смерти бывшие обладатели ряда крупных поместий и вотчин, расположенных вблизи Москвы, осмелились рассказать в своих жалобах и прошениях, каким образом Алексей Михайлович завладел принадлежавшими им угодьями, передав их в ведение Приказа тайных дел.

Во время одной из загородных поездок ему приглянулась вотчина Петра Жадовского в Дмитровском уезде. Жадовский не хотел ее продавать, но царь подослал к нему подьячих Тайного приказа, нагнавших такого страха на пугливого помещика, что он уступил ее за бесценок.

Управляющего Хлебным приказом думного дворянина Ивана Семеновича Хитрово царь вообще не стал спрашивать, сколько он хочет за свою вотчину, а забрав ее себе без торгу, прислал ему всего пять тысяч рублей, в то время как вотчина стоила значительно больше. Таким же образом царь отобрал подмосковное село Черкизово у думного дворянина Аничкова. Село это было просто «взято на государя». Аничкову же была дана небольшая подачка деньгами и хлебом.

Алексей Михайлович любил устраивать пышные приемы и пиры, считал нужным угощать и подкармливать не раз выручавших его стрельцов, а дворцовые имения как раз и поставляли на царский двор всякие продукты и снедь.

Самодержец «всёя России» не обязан был ни перед кем отчитываться, но тем не менее никто не должен был знать, сколько он берет из казны на устройство пиров и забав, на свои личные и особые нужды; поэтому всеми чисто хозяйственными делами царя тоже ведал Тайный приказ.

По увесистым приходу-расходным и записным книгам этого приказа можно составить представление о разносторонней деятельности царя, крупнейшего помещика и промышленника.

Смышленные и расторопные подьячие Тайного приказа то и дело сновали по конюшням, скотным и птичьим дворам, фруктовым садам и пасакам, проверяя, как умножается и расходуется царское имущество, заглядывая в амбары и винные погреба.

У царя были свои мельницы и винокурни, соляные варницы и рыбные ловли, медвяный и шелковый промыслы, даже свои железные и кирпичные заводы и каменоломни, обслуживаемые тюремными сидельцами и пленными татарами.

Небольшой сафьяновый завод под наблюдением выписанных из Персии мастеров выделывал мягкие кожи для узорных разноцветных сапог – их носили главным образом придворные щеголи. Два стеклянных завода, также числившихся в ведомстве Тайного приказа, под присмотром выписанных из Венеции чужеземных умельцев изготавливали разноцветные судки, кувшины, чарки и скляницы-«венецейки». На одном из этих заводов для забавы были вылиты даже потешные стаканы «в четверть ведра и больше» и «царь-рюмка» размером в сажень.

Алексей Михайлович любил заводить новшества. Через Тайный приказ он выписывал из заморских стран не только разные диковинки, но и искусников, умевших их изготавливать.





#### **Рыбный промысел «про государев обиход».**

Среди уцелевших в архиве Тайного приказа царских грамот есть одна, предписывающая астраханскому воеводе князю Одоевскому призывать на Москву «индейских мастеровых людей», умеющих делать и красить «киндяки», то есть всякую легкую ткань. Воевода доносил, что в Астрахани таких мастеров нет, надо весной послать за море. Но одного все же удалось найти. Это был «бухарского двора жилец» красильный мастер Кудабердейка, сумевший изготовить требуемые образцы.

Узнав, что курляндский князь пользуется услугами сведущих рудоискателей, царь поручил подьячему Приказа тайных дел Порфирию Оловеникову пригласить их в Москву. Но курляндский князь посоветовал обратиться с такой просьбой к его саксонскому собрату, славившемуся своими рудознателями. Саксонский курфюрст их, однако, не отпустил. Тогда Приказ тайных дел стал собственными силами налаживать розыск полезных ископаемых и драгоценных металлов.

В «черной» переписной книге сохранилась запись: нижегородскому посадскому человеку Ерофею Данилову ехать от Нижнего до Перми и сыскивать во всяких местах медную и иную руду. О своих находках он должен был извещать Тайный приказ. Для сыску золотой и серебряной руды «по всем Московского государства уездам по изветчиковым речам», то есть по доносам, ездил вологжанин посадский человек Яков Галактионов.

Разыскивать драгоценные металлы в Сибири пытался и подьячий Тайного приказа Еремей Полянский с чужеземцем «рейтарского строю» полковником Давыдом фон дер Нисиным. Но поиски их, по-видимому, не дали ощутимых результатов. Царь утешался тем, что переливал в слитки ввозимые иностранцами серебряные ефимки и кое-что на этом зарабатывал.

«В серебряных деньгах царю бывает прибыль великая, – утверждал Котошихин, – потому что ефимки и серебро приходят дешевою ценою, а в деле московских денег выходит из ефимка по двадцати по одному алтыну по две денги и от всякого ефимка прибыли царю по семь алтын по две денги и по осьми алтын».

В подмосковном селе Измайлове, примерно там, где теперь разбит Измайловский парк культуры и отдыха, царь надумал устроить образцовый питомник: разводить русский

виноград, дыни бухарские и «трухменские», то есть туркменские, арбузы, шемахинские и астраханские тыквы – «долгошей», кавказский кизил, венгерские дули и даже сажать финиковые и тутовые деревья.

Ездившим в Англию послам был дан наказ привезти оттуда семян всяких. Прежде чем сажать эти семена, землю просеивали через решето. А из Астрахани даже стали доставлять на баржах по Волге и на возах «виноградную и арбузную землю».

Судя по записям в приходо-расходных книгах села Измайлова, хорошо привились только дыни. В 1676 году их было заприходовано больше полутора тысяч. Виноград же явно не оправдал царских надежд.

Кроме заморских плодов, в Измайлове в большом количестве сажали и отечественные яблони, груши и сливы разных сортов.

Из ягод же – главным образом смородину, крыжовник, клубнику, малину и вишню. Для ухода за ними в Измайлово были согнаны из разных мест на вечное жительство «семьянистые» крестьяне. Но, должно быть, уж очень скудными были царские харчи. В Тайном приказе подсчитали, что шестьсот девяносто три крестьянские семьи сбежали. Пришлось нарядить вдогонку за ними специального сыщика со строгим наказом: «сыскать беглых и вернуть».

### **Из проруби за стол**

Набожный Алексей Михайлович усердно соблюдал посты. В великий пост, например, по свидетельству того же Котошихина, он питался «по одиножды на день» и пил один квас, а в понедельник, в среду и в пятницу не ел ничего, разве только кусок черного хлеба с солью, соленый гриб и соленый огурец. В промежутке между постами три раза в неделю не ел мяса. В такие дни на царский стол подавались лишь рыбные блюда. Но их было не меньше шестидесяти.

«А будут которые торговые люди, станут ослушатца рыбу у себя на судех и в зимовьях выбирать не дадут, а на тех людей велено давать стрельцов, сколько человек пригоже», то есть попросту сажать их в тюрьму.

Такими мерами Тайный приказ подгонял купцов, заготовщиков рыбы, заботясь об изобилии блюд на царском столе.

Обед начинался ухой щучьей, стерляжьей, окуневой, а также из многих других рыб, а «меж ух» давались пироги косые и длинные, печерские и пряженные с сигами, с вязигой, с маком или с маковым соком, с горошком, караваи присыпные, сдобные, с грибами и монастырские с сыром.

После ухи на столы ставились блюда со всякой икрой, с белорыбицей и раками, сиги паровые, вязига в уксусе, чрево осетрины, щучина живопресольная, тушеная, под чесноком или с хреном, башка белужья и просто белужина «ветренная» в рассоле, сельди свежезастуженные и в тесте, караси с пшеном, лососья спинка, головы щучьи в шафране, всякие «прикрошки» и «присолы».

Рыба поступала в царскую кухню не только с шестидесяти дворцовых прудов, но главным образом с промыслов на Белом и Каспийском морях, Волге, Каме и Оке, а также с Ладожского, Ильменского и Белого озер. Одних только крупных белуг и осетров ловилось не меньше шести тысяч. Снабжая царский двор отборной рыбой, промыслы отбивались от ловли для собственных нужд. Это вызвало ропот среди рыбаков, но высказывать громко свое недовольство они не смели. Ведь принимал всю рыбу подрядчик для учреждения с зловещим названием – Приказ тайных дел.

По уцелевшим приходо-расходным книгам этого приказа можно проследить, как много всякой снеди доставлялось на царскую кухню из состоявших в его ведении сорока дворцовых имений. А сведения о том, в каком виде она поступала на царский стол, можно почерпнуть из тщательного описания торжественных кремлевских приемов в особых, «разрядных» книгах.

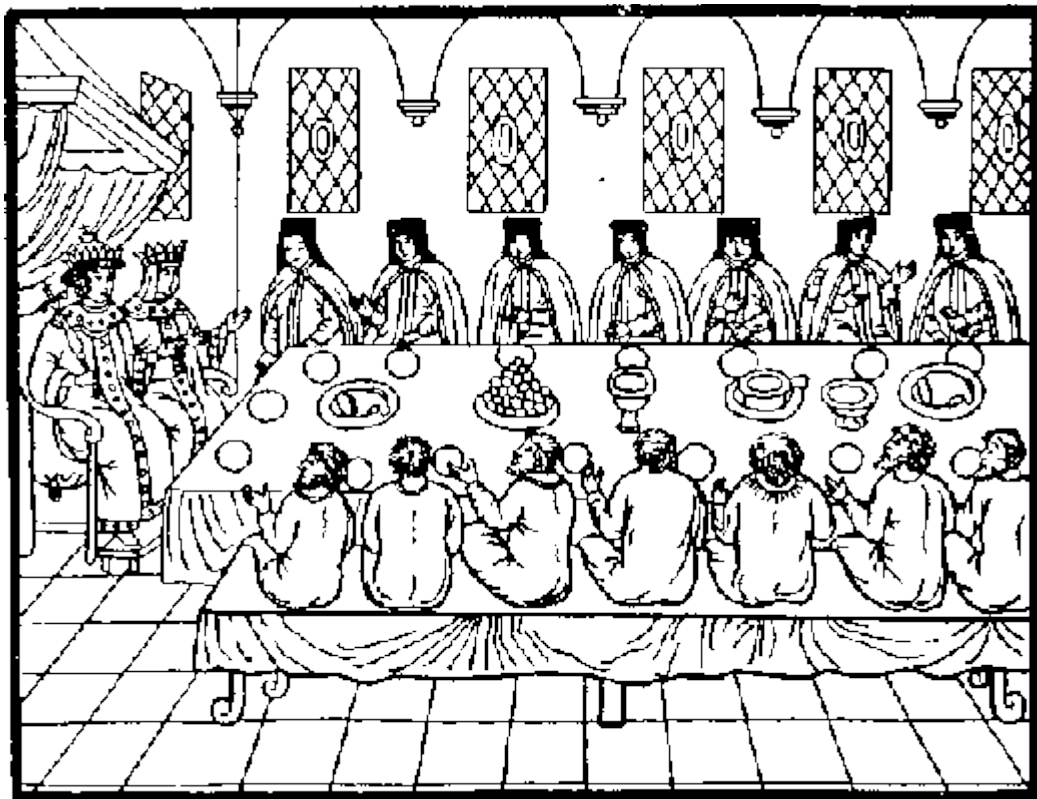
В мясоед на один только царский стол ставилось три лебедя с потрохами под белым медвяным взваром, и отдельно лебязьи шейки с шафраном, жареные журавли и цапли, зайцы

ярые в лапше и в грече, гуси и индейки верченые, то есть на вертеле или под гвоздичным взваром, «куря бескостное», баранье плечико и ноги в обертках, начиненные яйцами, косяки буженины, лосиные ребра и мозг, говяжий костец и многое другое – всего не меньше восьмидесяти блюд, в том числе даже одно, называвшееся... «караси с бараниной».

Гости так наедались, что для сладкого в их желудках уже не оставалось места. Все же и в постные дни на стол еще подавались оладейки в ореховом масле, ягодники с коринкой, сырники да кисели овсяные и яблочные с патокой и шафраном. Из сладостей одному только «великому государю» на стол ставилось две головы сахару больших, «спица», сахарного леденцу белого и такая же красного, труба корицы китайской и такая же немецкой, десятки блюд разных сладких заедок, Сахаров узорочных, постных, просто леденцов и конфет.

В особенно торжественные дни царских семейных праздников стол загромождался искусными изделиями придворных кондитеров.

Так, например, по случаю рождения царевича Петра на один только «родильной» царский стол было подано сто двадцать сладких блюд, «коврижка сахарная, большая – герб государства Московского; вторая коврижка сахарная же, коричная; голова сахару большая, росписана с цветом, весом два пуда двадцать фунтов; орел сахарной, большой, литой, белой; другой орел, сахарной же, большой, красной, с державами, весу в них по полтора пуда; лебедь сахарной, литой, весом два пуда; утя сахарное, литое ж, весом двадцать фунт; голубь сахарной, литой, весом в восемь фунт; город сахарной – кремль с людьми с конными и с пешими; башня большая с орлом; башня средняя с орлом; город четвероугольной с пушками...» и т. п.



**Парадный обед в Кремлевском дворце в XVII веке.**

После парадного обеда, тянувшегося иногда от пяти часов дня до девяти вечера, рассылались еще подачи с царского стола на дом отсутствовавшим или особо почетным гостям. Всего же каждый день для царского двора требовалось не меньше трех тысяч яств. Приготавливали их пятьдесят девять поваров и ставили на столы на парадных приемах сто восемьдесят три стольника и стряпчих.

В ведении Тайного приказа состоял и Аптекарский двор. Здесь под надзором его подъячих приготавливались лекарства для царской семьи и напитки для царского стола: брага и меды ставленные, пиво «доброе» и расхожее, морсы ягодные и фруктовые. Там же

производилось «сиденье» коричной, анисовой и тминной водки и разных настоек в таком количестве, что они шли даже на продажу в московские кабаки и приносили царю значительный доход. Виноградные же вина «романея», «малмазея» и «кинаррея» закупались обычно у иностранных купцов.

Судя по тем же записям в приходо-расходных книгах Приказа тайных дел, царь не прочь был заработать и на торговых операциях с границей. Так, например, в 1663 году Алексей Михайлович послал в Персию подьячего Тайного приказа Кирилла Демидова с соболями и другими товарами, взятыми на комиссию у московских купцов. Выгодно продав их, подьячий купил там ковры, бархат, шелк и парчу и рассчитался с купцами таким образом, что часть этих товаров досталась царю почти даром.

Новые и довольно жесткие порядки навел «кроткий» царь Алексей Михайлович и в самом дворце. Отправляясь в поход, царь требовал, чтобы во время его отсутствия традиции и церемонии соблюдались бы так же строго, как и при нем. Наводить страх на «детей боярских», несших обычно караул на дворцовых лестницах, он поручал начальнику Конюшенного приказа, своему двоюродному брату и приятелю, занимавшему должность «царского ловчего», Афанасию Ивановичу Матюшкину.

В одном из своих писем к нему Алексей Михайлович наказывал:

«И ты прикажи дьяку Петру Арбенеvu моим словом про детей боярских... чтоб сам почаству их днем и ночью смотрел, таки ль все тут, да и сам ты смотри их почаству; да прикажи и то ему: а которова не будет, и он бы насмерть сек батог».

Даже своих стольников, будущих бояр, если они опаздывали на смотр, царь приказывал тут же купать в пруде в любую погоду.

«Да извещаю тебе, – писал он в том же письме, – что тем утешаюся, что стольников беспрестанно купаю ежеутр в пруде; иордань хорошо зделана; человека по четыре и по пяти и по двенадцати человек, за то, кто не поспеет к моему смотру, того и купаю...»

По поводу встречающегося в этом письме вышедшего из употребления слова «иордань» в конце прошлого века разгорелся спор между двумя знатоками русской старины – издателем «Русского архива» П. И. Бартеневым и уже известным читателю И. Е. Забелиным.

Бартенев утверждал, что «иордань» – это прорубь, пробиваемая в январе во льду для водосвятия, и делал отсюда вывод, что царь купал провинившихся стольников в лютый мороз в ледяной воде.

Забелин же доказывал, что «иордань» – это отверстие в плоту с перилами, сооружаемом для вторичного водоосвящения, совершавшегося обычно первого августа, и считал, что принудительное купание стольников могло иметь место поэтому только летом.

Кто из них был прав, так и не выяснено до сих пор. Вероятно все же, что купание происходило при любой погоде, потому что в том же письме к Матюшкину Алексей Михайлович счел нужным оправдываться: «Да после купанья жалую, зову их ежедён, у меня купальники те едят вдоволь, а иные говорят, мы де нарочно не поспеем, так де нас и выкупают да за стол посадят».

После холодной ванны стольники, оказывается, обсыхали за царским столом.

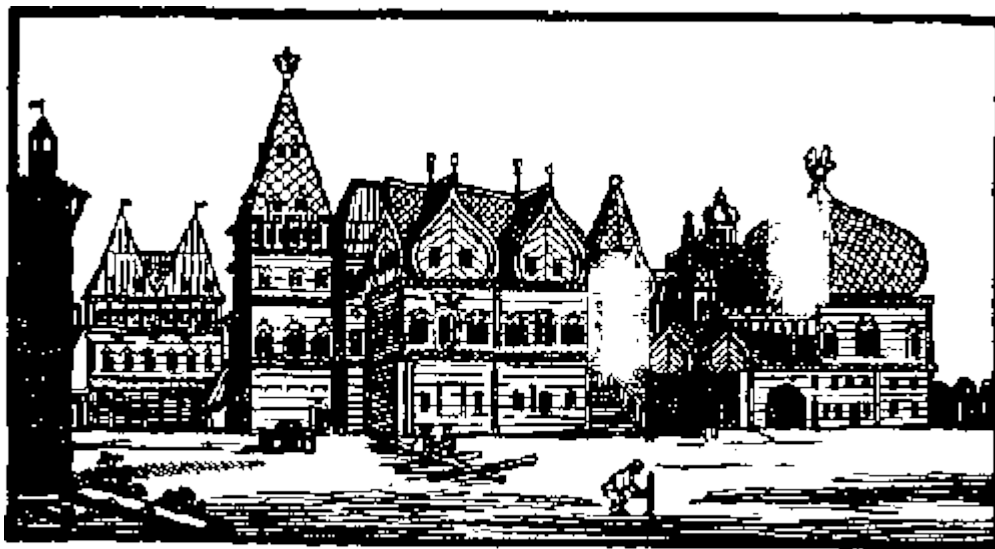
### *Заповедные птицы*

Даже потешные дворы, устроенные в подмосковных селах – в Семеновском и Коломенском – специально для царской забавы, тоже числились за Тайным приказом, и царь завел там такие же строгости, как и во дворце.

Наставляя Матюшкина, заведывавшего в качестве главного ловчего и сокольничего обоими потешными дворами, как надо ухаживать за ловчими птицами, требовательный царь нагонял на него страху: «А будет вашим небрежением Адарь или Мурат или Булат или Стреляй или Лихач или Солтан умрут и вы меня не встречайте, а сокольников всех велю кнутом перепороть».

Приезжавший в Москву наблюдательный иностранец, посол германского императора барон Мейерберг, подметил, что обучение царских ловчих птиц тщательно скрывалось от посторонних глаз.

«...Но вот однажды в воскресенье на масленицу, когда у нас было несколько человек гостей и мы сидели с ними за столом, – вспоминал посол, – вдруг вошел к нам в комнату первый наш пристав и с великой важностью, как будто было какое-нибудь особенное дело, пригласил нас перейти в секретный кабинет наш. Вслед за ним явился туда царский сокольничий с шестью сокольниками в драгоценном убранстве из царских одежд. У каждого из них на правой руке была богатая перчатка с золотыми обшивками, и на перчатке сидело по кречету...



Дворец в селе Коломенском — летняя резиденция царя.

Пристав, обнажив голову, вынул из-за пазухи свиток и объяснил нам причину своего прихода. Мы стоя слушали, как он читал. Дело было в том, что великий государь, царь Алексей Михайлович, узнав о нашем желании видеть его птиц, из любви к верному своему брату императору Леопольду прислал к нам на показ шесть кречетов.

В почтительных выражениях стали мы говорить с сокольничим, хвалили птиц, удивлялись их необыкновенной величине и спросили, как они ловятся. Но сокольничий, не желая выдать тайну своего повелителя, приложил палец ко рту и сухо отвечал нам: «Во владениях нашего великого государя».

В архиве Приказа тайных дел сохранилось много любопытных документов о соколиной охоте, любимом развлечении Алексея Михайловича.

С той минуты, как птица была поймана, она уже считалась «государевой», ее усаживали в закрытый войлоком возок или сани и везли в Москву «с великим бережением».

«...Едучи дорогою, смотреть великого государя кречетов и беречь накрепко, – гласил особый наказ, – чтоб те великого государя кречета были доведены до Москвы здоровы, во всем в целости, и некоторые бы птицы небережением без призрения не истеряти и с голоду не поморити и дурна никакого над государевыми кречетами не учинить».

Ямщики обязаны были везти птиц бережно и не погонять лошадей кнутом, чтоб от быстрой езды «порухи птицам никакой не было», в противном случае они сами отведывали кнута. Воеводы же предупреждались, что, если птицы пострадают из-за задержки лошадей, вотчины и поместья этих воевод будут отписаны на государя.

Царь требовал, чтобы главный сокольничий и его помощник постоянно сообщали ему о малейшем недомогании его пернатых любимцев.



Белокрапчатый кречет.

«...Да ты писал с сокольником с Офонью Кельным, – упрекал он Матюшкина, – и его Мурату кречету есть легче, а какую болезнью болен был, того к нам не пишете; да ты ж пишешь, что сибирский кречет Колмогор болен, а какую болезнью болен, того к нам не пишете и от чего заболел...»

С хищными ловчими птицами – кречетами, соколами и ястребами – царь охотился на лебедей, гусей, уток, а иногда и на зайцев.

По приказу царя на одном из потешных дворов ежедневно велся дневник: «в который день, которого числа дождь будет». Эти сведения были нужны на случай выезда на охоту. Но, судя по заносившимся в этот дневник записям, никакой дождь и даже снег не могли удержать царя от любимого развлечения. Алексей Михайлович в молодые свои годы тешился охотой с ловчими птицами в любое время «до кушанья» и «после столового кушанья», шел ли дождь «добре велик» или «с переметкою», и возвращался в Москву даже под утро. «А к Москве государь пришел в пятом часу ночи», – такие записи часто встречаются в дневальных книгах того времени.

Из составленной лично Алексеем Михайловичем и сохранившейся в бумагах Тайного приказа черновой росписи видно, что хорошо обученные ловчие птицы посылались в подарок чужеземным правителям, в Англию, Данию, Польшу, Персию, Турцию и Бухару, причем в списке подарков они часто ставились на первое место.

Особенно много певчих птиц дарилось кизилбашскому, то есть персидскому, шаху, так как и он был щедр на подношения и понимал толк в соколиной охоте, с древнейших времен поощрявшей его предками. Шах был обладателем сотен соколов, умевших охотиться не только на птиц и на зверей, но даже выклевывать глаза людям.

По словам Котошихина, на потешных дворах под Москвой содержалось в среднем не менее трех тысяч ловчих птиц и каждой год прибывало по две сотни. Кормили их говяжьим и бараньим мясом с царского двора и живыми голубями, которых разводили на специальном «Голубином дворе», насчитывавшем якобы около ста тысяч гнезд.

Для ухода за птицами и их обучения царь держал более сотни сокольников и столько же кречетников. Он пользовался своими соколами иногда не только для охоты.

По свидетельствам современников, Алексей Михайлович с годами приобрел склонность к ожирению, отличался полнокровием и поэтому время от времени, особенно при каком-нибудь недомогании, прибегал к кровопусканиям.

Должно быть, не всегда доверяя искусству врачей прокалывать вену с помощью ланцета, Алексей Михайлович решил использовать особый способ кровопускания, не упоминаемый ни в одном из старинных учебников медицины. Жилу на царской руке должен был вскрывать не лекарь, а... сокол.

Сведения о том, что этот способ кровопускания неоднократно им применялся, были неожиданно обнаружены известным археографом П. М. Строевым в старых дворцовых книгах.

Заняв Кремль в 1812 году, наполеоновские гвардейцы стали освобождать дворцовые помещения для своих нужд и выбросили в ров все архивные документы. Древнейшие грамоты и столбцы долго валялись там, занесенные снегом, портились и истреблялись, пока не были снова собраны после изгнания врага и водворены на прежнее место. Приводя их в порядок, Строев перелистывал ветхие расходные и «выходные» книги, в которых отмечалось, какие предметы из вещей домашнего обихода и платья и по какому поводу требовались в царские хоромы. В одной из таких книг, относившейся к 1663 году, он обнаружил следующую запись:

«Майя в пятнадцатый день в пятницу великий государь легчился: бил у руки жилу сокол в комнате. А на государе было платье: ферязи, атлас бел, изпод – пупки соболя, рука подвязана была тафтою алою».

По приходе-расходным книгам Тайного приказа можно установить, что на содержание одного только Семеновского потешного двора тратилась по тому времени крупная сумма – около тысячи рублей в год.

Сокольники и кречетники получали большое жалованье. Кроме того, им выдавались сукна и атласы на пошивку верхней одежды, бархат и соболий мех на шапку и дорогой цветной сафьян на сапоги. Лучшие из них награждались даже поместьями и вотчинами. «И будучи у тех птиц, едят и пьют царское», – писал о них не без зависти Котошихин.

Для поощрения своих любимцев царь Алексей Михайлович даже сам придумал особый обряд возведения простых кречетников и сокольников в начальные и написал книгу «Уложение чина Сокольничья пути», то есть правила царской соколиной охоты.

В этом сочинении, тоже хранившемся среди бумаг Тайного приказа, описано, как был возведен в начальные рядовой сокольник Иван Ярышкин.

Торжество это обычно справлялось на потешном дворе, в самом нарядном из его домов – передней избе Сокольничья пути.<sup>28</sup>

Посреди избы был постелен большой золотой ковер, специально для этого случая взятый из казны. На него положили царское сиденье – полосатую бархатную подушку, набитую пухом диких уток. Против сиденья по углам поставили четыре нарядных стула. На первые два посадили двух кречетов, «самых добрых», красных, подкрасных или пестрых – самца и самку, на другие два – самых хватких соколов, тоже самца и самку. Между стульев настелили душистое сено, которое покрыли конской попоной. Оно изображало луг и потому называлось «полянovo».

Позади царского места был поставлен стол, также покрытый ковром. На нем подсокольничий разложил наряд «нововыборного»: новый цветной суконный кафтан с золотой или серебряной нашивками, смотря по цвету; горностаевую шапку; желтые сафьяновые сапоги; вышитую золотой канителью рукавицу; серебряную перевязь с красной бархатной сумкой, на которой шелковыми нитками была изображена райская птица Гамаюн; кушак из золотой тесьмы, полотенце и охотничьи принадлежности: «вабило», то есть соколиная приманка – оторванное с мясом крыло какой-нибудь птицы, чаще всего голубиное (достаточно подбросить его вверх, как привлеченный этой приманкой сокол тут же садится на руку), «ващага» короткая палка с прикрепленным к ней на толстом ремне деревянным шариком, употребляемая для битья в бубен при спугивании дичи, и серебряный рог.



Сокольник.

Тут же был положен так называемый «большой наряд» для всех птиц нововыборного: кожаные или суконные «обносцы» – маленькие птичьи онучи, обертываемые вокруг ног ловчей птицы; «полжики» – тонкие ремни или золотые шнурки, накрепко пришиваемые к рукавице сокольника; другой, легко развязываемый конец должика прикреплялся к ноге птицы; «клобучки» – специальные шелковые или бархатные шапочки, закрывающие глаза птицам, чтобы до начала охоты они не «глазели» по сторонам; и, наконец, серебряные и позолоченные бубенчики и колокольцы, выписанные из заморского города «Кролевца» – так в то время назывался Кенигсберг. Их привязывали к ногам ловчих птиц или прикрепляли к среднему перу в хвосте. Своим серебристым звоном они давали знать охотнику, куда отлетела птица.

Придуманный самим царем, большим любителем пышных церемоний, обряд посвящения в начальные сокольники выглядел так.

...Около покрытого ковром стола выстраиваются по чину товарищи и будущие подчиненные нововыборного. Надев лучшие свои кафтаны и натянув узорные рукавицы, они держат на руках своих птиц.

Начиная торжественный обряд, подсокольничий Петр Хомяков приказывает избраннику, в данном случае рядовому сокольнику Ивану Ярышкину, пока еще называемому просто Ивашкой, надеть новый цветной кафтан и желтые сапоги. Выполняя волю подсокольничего, нововыборный уходит в другую избу в сопровождении нескольких будущих своих помощников.

Устроив все «по чину», подсокольничий становится перед столом, слегка отступая направо, и прихорашивается, лихо заламывая шапку набекрень. Это означает, что все приготовления закончены.

Впрочем, роскошную свою шапку подсокольничий тут же сдергивает, едва только царь входит в избу. Лишь после того как Алексей Михайлович усаживается на бархатную подушку, все сокольники, начальные и рядовые, отвечают ему низкий поклон.



Испросив разрешение у царя объявлять «образец и чин», подсокольничий прежде всего приказывает одному из начальных сокольников принести предназначенного новоизбранному кречета и, немного помешкав, обращается к остальным с такими словами:

«Время наряду и час красоте».

Начальные сокольники принимают обряды кречета и других птиц нововыборного и затем отходят на свои места.

«Время ли принимать, по нововыборного посылать и украшения уставлять?» – снова подступив к царю, спрашивает подсокольничий.

«Время! Приимай, посылай и уставляй», – изрекает царь.

Подсокольничий громко приказывает подать себе парадные рукавицы и, приняв от одного из начальных уже наряженного кречета, становится с ним поодаль царя. Опять немного помешкав, он отдает распоряжение пойти за избранником.

Поклонившись до земли и поблагодарив посланца за высокую царскую милость, Ярышкин, однако, не сразу входит в переднюю избу. Потоптавшись у дверей, он посылает вперед своего помощника уведомить, что он, Ярышкин, пришел.

Когда же подсокольничий разрешает ему войти, он сразу же становится против иконы вместе с сопровождающими его двумя старыми сокольниками и, не глядя ни на кого, начинает усердно креститься. Одетый в новый кафтан и сапоги, он все еще опоясан старым кушаком и мнет в руке прежнюю свою шапку и рукавицу. В этот момент не подсокольничий, а сам «верховый соколиный подьячий» Василий Ботвиньев докладывает царю о приходе избранника. Услышав свое имя, Ярышкин с товарищами снова кланяется до земли.

Подсокольничий приказывает теперь старым сокольникам вывести Ярышкина на «поляново». Рядовые сокольники учтиво берут под руки недавнего своего товарища и ставят его на разостланную на сене конскую попону, между сидящими на стульях хищными птицами. У нововыборного отбирают старый кушак, прежнюю его шапку и рукавицы. В это время начальные сокольники снимают с покрытого ковром стола все принадлежности его нового наряда.

«Время ли, государь, мере и чести и укреплению быть?» – спрашивает теперь подсокольничий царя.

«Время! Укрепляй!» – приказывает царь.

Один из начальных сокольников опоясывает Ярышкина золотой тесьмой, другой вручает ему вышитую рукавицу и надевает серебряную почетную перевязь с привешенной к ней красной бархатной сумкой. Помощники подносят ему и прицепляют к кушаку на левой стороне «вабило большого наряда», на правой – вацагу и серебряный рог. Последним привешивается полотенце. Начальный же сокольник первой статьи Парфений Табалин остается стоять на месте и продолжает держать за верх «до особого указа» горностаевую шапку.

Верховый подьячий Сокольничья пути запускает руку в красную сумку и, достав из нее царскую грамоту, читает вслух: «За то, что ты за нашей государевой охотой ходил и семь лет с прилежанием тешил нас, великого государя, – говорится в грамоте, – и птицы у тебя приносили добычу не один год, за доброе послушание служивший в помощниках у первого начального сокольника Иван Гаврилов, сын Ярышкин жалуется «новой честью» – производится в начальные сокольники».

В грамоте перечисляются все полагающиеся Ярышкину в связи с получением этого чина подарки: новое платье и прибавка к денежному жалованью, четыре аршина светло-зеленого сукна и столько же тафты кирпичного цвета, пара добрых соболей. Объявляется также и о том, что звать его теперь следует не Ивашкой, а полным именем Иван и что, жалуючи его, царь велит положить на стол «для чина» золотые монеты и серебряные ефимки.

«...И тебе бы, видя нашу государеву такую премногую и прещедрую милость... – напоминает грамота, – тешить нас, великого государя, до кончины живота своего и за нашею государевою охотою ходить прилежно и бесскучно». Но тут же оглашается и

предостережение: если Ярышкин «учнет быть неохоч и нерадетелен, непослушлив, пьян, дурен, безобразен, непокорен, злословен, злоязычен, клеветлив, нанослив, переговорчив и всякого дурна исполнен», то ему придется «не токмо связану быть путы железными», но и «безо всякие пощады быть сослану на Лену».

Ярышкин кланяется еще три раза и произносит ответную речь, дает обещание «тешить царя до конца живота своего».

После этого верховый подьячий засовывает грамоту обратно в красную сумку. Подсокольничий же, обращаясь к царю, произносит таинственные слова:

«Брели горь соть ло?»

«Сшай дар», – отвечает царь на том же придуманном им тарабарском языке.

Эти загадочные слова означают: *«Время ли, государь, совершать дело?»* Ответ же гласит: *«Совершай дар!»*

Получив разрешение, подсокольничий «весело и дерзостно» подступает к Ярышкину и громогласно объявляет ему, что «царь указал тебе свою государеву охоту отдать».

Ярышкин бережно берет из рук подсокольничего гордого кречета и на этот раз – так предписывается «Уложением» – не кланяется.

Только после того как подсокольничий дает указание первому начальному сокольнику Парфению Табалину – «закрепить государеву милость» и тот надевает на бывшего своего помощника горностаевую шапку, новопожалованный, тут же сняв ее, отвешивает три земных поклона.

Затянувшаяся церемония на этом, однако, не кончается. Передав кречета помощнику, Ярышкин принимает теперь от своего бывшего начальника Парфения Табалина по очереди и трех других птиц – еще одного кречета и пару соколов...

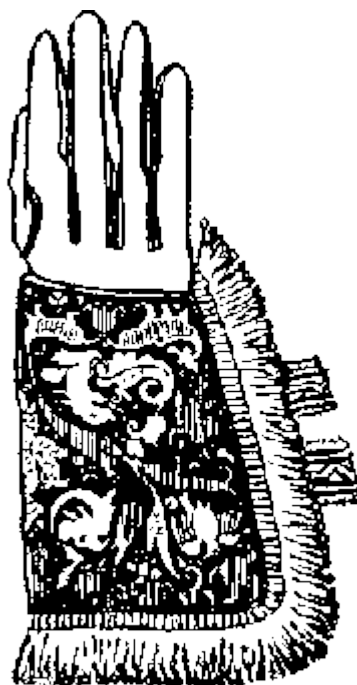
После этого Ярышкин в последний раз кланяется царю, а Парфений Табалин, взяв его за руку и поставив рядом с собой, поздравляет вместе с остальными сокольниками «с новой честью».

«Верховый» же подьячий Сокольничья пути Василий Ботвиньев объявляет еще об одной царской милости: все участники торжества приглашаются к столу...

Интересно, что в необычайно подробно разработанном царем «Уложении чина Сокольничья пути», содержание которого здесь вкратце пересказано, упоминается также имя одного из помощников Ярышкина, сокольника Федора Кошелева. Во время торжественного обеда он подает избраннику обгаренное кровью свежее голубиное крыло для кормления кречета.

До окончания обеда Федор Кошелев стоит рядом с Ярышкиным, «мало отступя», держа на руке нарядную птицу своего начальника. Имя этого скромного сокольника встречается еще раз в другом, с нашей точки зрения гораздо более примечательном документе.

Найденные в архиве Приказа тайных дел многочисленные рукописи Алексея Михайловича, посвященные соколиной охоте, были использованы многими историками для облагораживания облика царя. Они не переставали восхищаться и умиляться охотничьими способностями Алексея Михайловича, а также его добротой, выражавшейся в заботе о приставленных к ловчим птицам сокольникам. При этом, однако, историки обычно умалчивали об одной, тоже собственноручно написанной царем и весьма характерной для него грамоте. Эту грамоту впервые предал гласности в 1917 году исследователь деятельности Тайного приказа историк А. И. Заозерский.



Парадная рукавица  
сокольника.

Из текста ее видно, что сокольники потешного двора подали однажды царю челобитную с жалобой на задержку в выплате им жалованья. Челобитную эту по поручению сокольников написал наиболее грамотный из них помощник начального сокольника пятой статьи Федор Кошелев, неоднократно упоминаемый в составленном царем «Чине Сокольничья пути».

Требовавший от сокольников «тешить царя до кончины живота своего», Алексей Михайлович возмутился такой дерзостью. Усмотрев в этой робкой челобитной чуть ли не бунт, царь тут же продиктовал дьяку грамоту о том, что, собираясь в Семеновское на очередную потеху, он намеревался осчастливить сокольников таким «многим денежным жалованьем, какого у них и па уме не бывало», они же этого не дождались и завели «воровски» челобитье.

Отчитывая прежде всего начальных сокольников, в том числе и новопожалованного Ярышкина, царь напоминал им об их обязанностях «за своими людьми смотреть и от воровства и от всякого дурна унимать».

Для устрашения же челобитчиков, чтобы в другой раз неповадно было подавать такие жалобы, он указал «главному заводчику Федьке Кошелеву отсечь левую руку» и... положить ее на написанную им челобитную, к которой и другие сокольники также приложили свои руки. Остальных же челобитчиков в грамоте указано было бить кнутом и батогами. Как долго должна была лежать на челобитной отрубленная рука чересчур грамотного и смелого сокольника Федора Кошелева, еще недавно державшая кречета на вышитой шелком рукавице, царь указать не изволил.

#### *Для государевой потехи*

Какими только прихотями царя не занимался Тайный приказ!

В его приходе-расходных книгах встречается имя Ивана Гебдона, по происхождению англичанина, выполнявшего сначала обязанности толмача при английских купцах и потом оставшегося жить в России.

По поручению Алексея Михайловича «гость и комиссариус» Иван Гебдон несколько раз ездил в Венецию и в Голландию за разными заморскими диковинками.

В сохранившейся, к сожалению, не полностью росписи поручений Гебдону, составленной в Тайном приказе, упоминается между прочим и приглашение в Россию мастеров, которые умели бы делать, чтобы «птицы пели на деревьях, так же и люди играли в трубы», и, кроме них, еще двух мастеров «комедии делать».

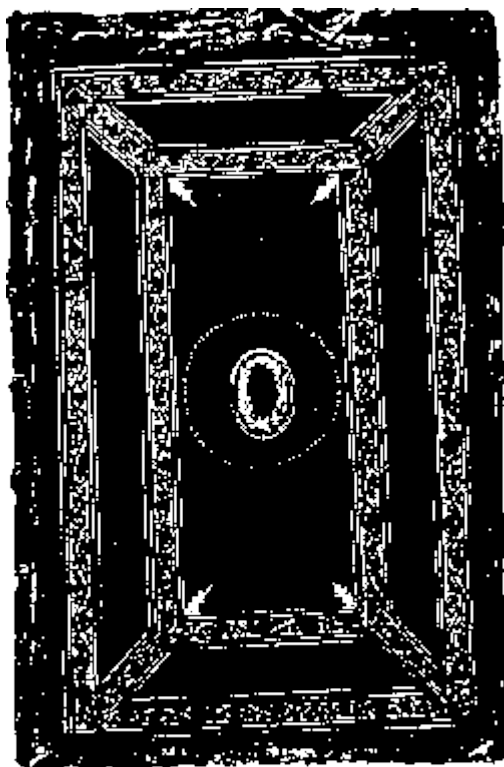
Еще в начале царствования Алексея Михайловича театральные зрелища и другие «соблазнительные игрища» считались бесовской затеей. В 1648 году царь издал специальный указ, запрещающий сходиться по вечерам «на позорища», слушать и петь песни, танцевать и бить в ладоши, водить медведей, плясать с сучками (то есть собаками), «жёнкам и девкам скакать на досках» (качелях) и даже... играть в шахматы. Преследовалось наложение на себя «личин» и «харь» (масок) и платья скоморошьего, а всякие музыкальные инструменты: домры и зурны, гудки и гусли и другие «гудебные бесовские сосуды» – приказано было сжечь. Сам же Алексей Михайлович при всей своей набожности не отказывал себе в забавах и зрелищах, а просвещенный его советник боярин Артамон Матвеев, возглавлявший после удаления Ордина-Нащокина Посольский приказ и осведомленный от ездивших за границу русских послов о виденных там ими придворных спектаклях, сумел впоследствии пробудить у царя интерес и к театру.

Поручение привести из-за границы двух человек, «которые б умели всякие комедии строить», получил и еще один иноземец полковник Николай фон Стаден, ездивший в Ригу к «курляндскому Якубусу князю». Он же должен был на вербовать там и целую труппу актеров. Но они так и не прибыли, испугавшись, должно быть, что царь их не отпустит назад. Начальник Посольского приказа Артамон Матвеев сумел, однако, помочь беде. В ведении этого приказа числилась московская «Немецкая слобода» с «богомольной хороминой», то есть лютеранской церковью при ней, которой заведовал пастор Иоганн Готфрид Грегори, бывший учитель, ставивший в Германии школьные спектакли. Ему и был объявлен указ – «учинить комедию, а на комедии действовать из библии», поставив пьесу из «Книги Эсфирь». Актерами должны были быть сначала учившиеся в церковной школе дети жителей Немецкой слободы, потом сыновья русских мещан. Из архивных же документов известно, что царем были отпущены большие средства на постройку для театра специальной «комедийной хоромины» в селе Преображенском и на изготовление декораций и костюмов.

Переделанный пастором Грегори в пьесу занимательный рассказ из «Книги Эсфирь» был назван «Артаксерксово действо», так как одним из его героев был персидский царь Артаксеркс, взявший в жены еврейскую девушку Эсфирь. Скрыв от него свое происхождение, Эсфирь потом выдала себя, вступившись за свой народ, когда над ним нависла угроза истребления.

По свидетельству ассистента придворного врача Лаврентия Рингубера, помогавшего пастору Грегори в постановке этой пьесы, «царю до того понравилась игра, что он смотрел ее в продолжение целых десяти часов, не вставая с места».

Пьеса эта считалась навсегда утраченной. Только совсем недавно, в 1953 году, она была неожиданно найдена научным сотрудником Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина И. М. Кудрявцевым. Приехав в Вологду и просматривая в местной библиотеке хранящиеся там старинные рукописи, И. М. Кудрявцев заинтересовался одной из них. Она числилась в описи как рукопись начала XVIII века. Опытный палеограф установил ее истинный возраст. Это был подлинник давно разыскиваемой историками и I литературоведами первой пьесы, поставленной в XVII веке в Москве в придворном театре царя Алексея Михайловича.



Переплет вологодского списка  
«Артаксерксова действа».

Книга была переплетена в украшенный золотыми узорами красный сафьян. Заголовки, ремарки, И имена действующих лиц и роспись, «которым отрокам в коем чине быть в комедии», были выведены киноварью. Это был специально изготовленный для царя экземпляр, искусно переплетенный иноземцем Яганом Элкузе. Каким же образом эта книга очутилась в Вологде? Спектакли первого русского придворного театра прекратились со смертью царя Алексея Михайловича и вступлением на престол его еще более набожного сына Федора, отменившего всякие зрелища. Покровитель же театра боярин Артамон Матвеев подвергся опале и был назначен воеводой на север в далекий Пустозерск. Вероятно, Матвеев и увез с собой никому не нужный после смерти царя экземпляр пьесы, но по дороге его утратил. Через шесть лет он возвращался из ссылки как раз через Вологду. Сын его вспоминал впоследствии, что, когда они ехали на север, «что ни взято было, и те запасёнка переменаи, переволоками, горами, водами, порогами, потоплено, помочено, погнило, рассыпано, разбросано, раскрадено, с голоду разтеряно, мало что до Пустозерска довезено». О том, что книга успела побывать во многих переделках, свидетельствует поврежденный переплет, отсутствие титульного листа и еще двадцати листов. Но текст пьесы хорошо сохранился, хотя бумага и потемнела и кое-где покрылась пятнами от сырости.

Все пропуски в пьесе удалось восстановить благодаря другой неожиданной находке. В том же 1953 году уже не в Советском Союзе, а за границей отыскался еще один экземпляр этой пьесы.

Известный французский ученый славяновед Андре Мазон заказал однажды в Парижской библиотеке нужную ему книгу и в ожидании выполнения заказа стал перелистывать случайно попавший ему в руки каталог Лионской городской библиотеки. К большому своему удивлению, из этого каталога он узнал, что в библиотеке хранится пожертвованный жившим в XVII веке иезуитом Менестрие рукописный экземпляр пьесы «Артаксеркс и Эсфирь», поставленной в Москве при Алексее Михайловиче. Для осмотра этой книги французский ученый вскоре выехал в Лион.

Лионский экземпляр был оформлен не так роскошно, как вологодский, и менее тщательно переписан. Переплет был из простого картона. Текст пьесы был написан на двух языках – русском и немецком. Профессор Мазон выяснил, что предисловие к этой книге

написано рукой «строителя комедии», пастора Грегори. Конспект же пьесы, список действующих лиц, а также пометки, касающиеся ее постановки, сделаны на немецком языке и частично по-русски и по-латыни его помощником Лаврентием Рингубером. Исследование текста пьесы показало, что он списан с того же оригинала, что и вологодский. Вероятно, по этому экземпляру разучивали роль актеры-иностранцы; попасть же во Францию рукопись могла через Лаврентия Рингубера, бывавшего в Париже. Таким образом, оба экземпляра пьесы «Артаксерксово действо» пролежали почти триста лет незамеченными в двух библиотеках и были найдены почти одновременно в СССР и во Франции.

## МЕШОК С ТАЙНЫМИ АЗБУКАМИ

После упразднения Приказа тайных дел в связи со смертью его основателя царя Алексея Михайловича бывший дьяк этого приказа Дементий Башмаков «взнес наверх» и сдал под расписку боярину Родиону Стрешневу целый мешок с тайными азбуками. Отсюда вытекает, что они имелись во многих вариантах. Никто из подьячих не должен был знать все образцы, чтобы секретную грамоту, написанную одним из них, не мог прочесть другой.

Некоторые из этих азбук до сих пор хранятся в Центральном государственном архиве древних актов.

Подьячие Приказа тайных дел и посольские дьяки, ведавшие перепиской с царскими представителями в чужих странах, прибегали к тайнописи. Таких документов сохранилось великое множество. Но не все эти испещренные непонятными словами и странными закорючками грамоты удалось разобрать. Если ключ к тайной азбуке потерян, зашифрованное письмо вполне можно приравнять к не разысканным до сих пор рукописям. Ко многим письмам ключ вообще не записывался. Его выучивали наизусть, и эти письма до сих пор хранят свою тайну.

Чем было вызвано появление тайнописи? На Руси разные виды тайнописи были известны уже давно. Зашифрованные надписи и приписки часто встречались на последней странице рукописных славянских книг. Писец таким способом нередко зашифровывал свое имя или фамилию владельца рукописи, а также и сведения о том, где и когда она написана. Такая скрытность вызывалась тем, что занимавшиеся обычно перепиской книг церковные служители (чаще всего священники и монахи) были очень суеверны, боялись «дурного глаза» и надеялись таким путем оградить себя от злых сил.

Одна из древнейших славянских рукописей, написанная на пергамене семьсот лет назад, книга духовного содержания – так называемый «Пролог», заканчивалась, например, такой фразой:

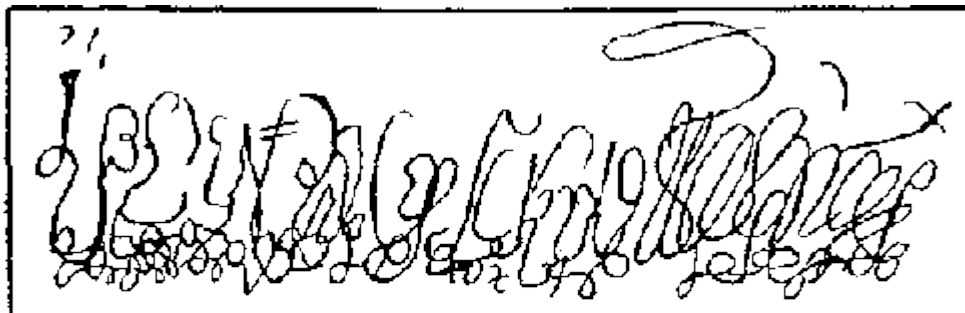
**мацъ щы томацъсь нменсышви  
ноугнпоу ромьлатоую катохе и  
инледь топгашви тьпнуоу лню  
арипъ**

*«Мацъ щыл (къ) томацъсь нменсышви нугипу ромьлтую ка-тохе и инледь топгашви тьпичу дню арипъ».*

Прочесть эту надпись было нетрудно, так как она была составлена по наиболее простому способу тайнописания, называвшемуся «тарабарской грамотой». Этот способ письма назывался также «литтореей», то есть буквенным («Litera» по-латыни – «буква»). Секрет этого способа состоит в том, что одни буквы подменяются другими. Надпись, заключавшая «Пролог», означала следующее:

«Рад бысть корабль преплывши пучину морьскую, такоже и писецъ кончавши кънигу сию аминь».

Читатель, может быть, будет разочарован, обнаружив, что приписка не открывает никакой тайны. Просто писец, закончи и большой труд (шуточное ли дело переписать от руки такую книжищу, тщательно вырисовывая при этом каждую букву и украшая заглавные особенно затейливыми узорами!), выразил в этой приписке свое удовлетворение, как бы говоря: а теперь потрудитесь и вы, попробуйте-ка разобрать, что тут написано, и подивитесь моему мастерству. Поэтому такое письмо и называлось затейным – на него смотрели как на забаву.



**Такой тайнописной вязью писали иногда свое имя государственные деятели. Сложность подписи защищала ее от подделки.**

Стараясь затруднить расшифровку, сочинители таких приписок – криптограмм – писали иногда фразы в обратном порядке, например: «ъшорг азьшург мадумоттетчорпеис отка» – «а кто сие прочтет, тому дам грушъ за грошъ». Иногда не дописывали буквы – такой шрифт назывался «полусловицей».

Особенно славился искусными писцами Кирилло-Белозерский монастырь – крупный центр духовного просвещения на севере России. Составляя в XV веке опись скопившихся в книгохранилище этого монастыря рукописей, они нередко делали тайнописью заметки на пустых листах в конце описи о волновавших их чрезвычайных происшествиях в жизни монастыря, боясь говорить о них вслух. К «тарабарской грамоте» иногда прибегал и царь Алексей Михайлович в своей личной переписке.

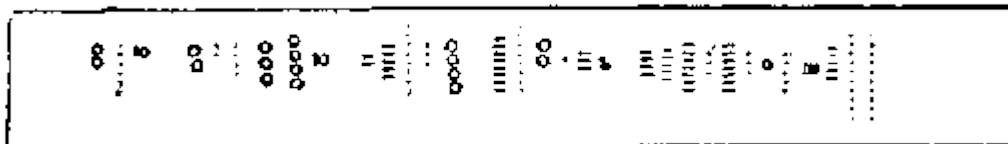
Не менее распространенным видом тайнописи была «мудрая литторей», основанная на условном чередовании цифр, заменяющих буквы. Например, буква «а» (аз) равнялась единице, «в» (веди) – двойке, «г» (глаголь) – тройке, и т. д.

В начале восьмиаршинного свитка – рукописи, найденной в древнем русском городе Вологде и относящейся к 1643 году, суеверный писец следующим образом зашифровал свое имя:

rrrrr aaaaa aaaa o <sup>iiiiiiii</sup>ь

Буква «р» в древнеславянской азбуке заменяла цифру 100 – значит, пятикратно повторенное «р» должно равняться 500, а эта цифра выражалась в азбуке буквой «ф» – ею и начинается имя писца. Соответственно зашифрованы остальные буквы имени – Федор.

В той же «мудрой литторее» вместо обозначающих цифры букв часто ставились точки, черточки и кружки, писавшиеся столбиком. При расшифровке оказывалось, что точки обозначают единицы, черточки – десятки, а кружки – сотни. Не имеющие численного выражения буквы сохранялись без изменения. По этому способу в одном рукописном сборнике 1640 года, хранящемся сейчас в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, была составлена такая надпись:



Заключенные в рамку точки и черточки означают: «Сию святую книгу писал многогрешный». Из зашифрованного таким же образом текста, размещенного в других

четырёх рамках, выясняется, что писца звали Михаил Дмитриевич Крабов и что он закончил книгу 2 марта 1640 года.

Существовало множество других способов шифровать письма и документы. Затемнение текста иногда достигалось и тем, что буквы выводились особенно замысловатой вязью.

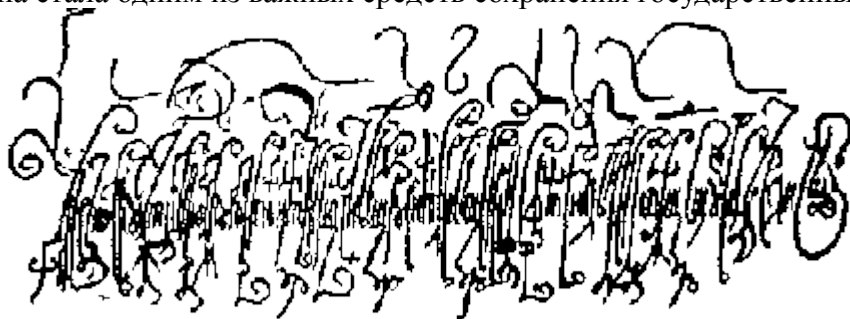
По мере того как расширялись связи Московского государства с другими странами, тайнопись для передачи особо секретных сведений и указаний стала прочно входить в обиход государственных деятелей и дипломатов.

Еще в 1633 году фактический правитель и отец первого царя из династии Романовых – патриарх Филарет написал «для своих государевых и посольских тайных дел» особую азбуку и «склад затейным письмом».

Подлинный текст этой азбуки, написанный рукой патриарха Филарета, и сейчас находится в Центральном государственном архиве древних актов. Из сохранившегося там же в «шведских делах» наказа русскому дипломатическому агенту в Швеции Дмитрию Андреевичу Францбекову видно, что и он должен был применять тайнопись при составлении донесений царю Михаилу Федоровичу.

Наказ заканчивается повелением: «Да что он, Дмитрей, будучи в Свее, по сему тайному наказу о тех или иных о наших тайных делах и наших тайных вестей проведает и ему о всем писати ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси к Москве по сему государеву тайному наказу закрытым письмом».

В черновике этого наказа, находящемся в делах Посольского приказа, слово «затейное» везде зачеркнуто и заменено другим – «закрытое». Тайнопись в России перестала быть просто затеей, забавой. Она стала одним из важных средств сохранения государственных тайн.



При царе Алексее Михайловиче тайнописью часто пользовались в Посольском и Тайном приказах.

Во второй половине его царствования к польскому двору был назначен постоянный московский резидент, стольник и полковник Василий Тяпкин. Он был уже в пути, когда в Москве было получено известие о смерти польского короля Михаила Корнбута Виншевецкого. Так как у короля не было наследников, в Варшаве должен был собраться новый сейм для обсуждения вопроса, кому быть королем. Этот вопрос особенно интересовал Алексея Михайловича потому, что сейм уже однажды высказался за избрание королем одного из его сыновей. Царский гонец догнал Тяпкина по дороге в Вильно и передал ему составленную самим государем тайнопись. Но ожидания царя не оправдались, польским королем был избран воевода Ян Собеский. Тяпкин и после этого оставался при польском дворе и в течение пяти лет продолжал посылать в Москву написанные «закрытым письмом» секретные донесения, почти полностью сохранившиеся до наших дней.

Эта переписка вызвала у Яна Собеского подозрение, что Тяпкин настраивает против него московского царя. Когда Алексей Михайлович умер и Тяпкин явился со всей своей свитой в королевский замок в черном «жалобном» платье, Ян III гневно высказал ему свое недовольство, упрекая Тяпкина в том, что он писал «ссорные и затейные письма к покойному царю, от которых до сих пор войска наши не соединились и взаимная между нами дружба не могла утвердиться».

Тяпкину так и не удалось уверить Яна Собеского, что он не посылал в Москву раздорных писем, но, судя по его последнему, также написанному тайнописью донесению,



польский король упрекал и самого царя в том, что он имеет на его королевское величество «подозрение и недоверство».

Из всего этого видно, что тайные письма русского резидента были перлюстрированы<sup>29</sup> поляками и прочтены.

В архиве Посольского приказа сохранилось более шестисот листов донесений первого русского постоянного посланника в Польше стольника и полковника Василия Тяпкина к «сберегателю посольских дел» боярину Артамону Сергеевичу Матвееву. Многие из них были написаны тайнописью, и содержание их долгие годы оставалось неизвестным. Этими документами заинтересовался секретарь Петербургского археографического общества А. Н. Попов. Он разыскал среди бумаг того же приказа никем не замеченный ранее листок, сверху донизу исписанный замысловатыми знаками, рядом с которыми стояли древнерусские скорописные буквы. Это и был ключ к тайнописной азбуке, врученной в 1673 Году Тяпкину догнавшим его на взмыленной лошади по дороге около Вильно царским гонцом.

Тайнописью обычно писались и «памяти», то есть инструкции, подъячим Приказа тайных дел, ездившим за границу с разнообразными, иногда очень ответственными поручениями, а не только для слежки за послами, как утверждал Григорий Котошихин.

Так, например, подъячему Приказа тайных дел Григорию Никифорову было поручено передать руководителю русской делегации, ведшей переговоры с Польшей, думному дворянину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину написанное «хитрым письмом» предписание царя.

Независимо от донесений Ордина-Нащокина, также пользовавшегося шифром, Григорий Никифоров сообщал царю тайнописью все, что ему удалось узнать от самого Нащокина и других лиц.

«По королевину, государь, наговору, – сообщает Никифоров, – сын ее, король нынешний, говорил думным людям и лифляндской шляхте, что с тобою, великим государем, войны вести он не хочет для того, что он ныне мал и войны о себе весть не разумеет и учинить бы ныне с тобою, великим государем, мир, не всчиная войны о лифляньских городех...»

Из написанной тайным же письмом самим царем инструкции Юрию Никифорову, о чем говорить с Нащокиным, видно, что Алексей Михайлович был озабочен вопросом, как укрепиться в Ливонии, на Балтийском побережье. Царь требует: «Проведать подлинно, сколько ратных людей и каких в Риге и в иных городех по сей стране», интересуется тем, как, используя «бесхлебное время», переманить «охочих людей» из Швеции в русскую службу, «в каком чину хто будет пристоен», а также как улучшить положение ратных людей на отвоеванной у шведов земле, «чтоб одноконечно их в тех городех на житье утвердить».

Дипломатическая переписка с первыми русскими послами за рубежом, в том числе и написанная тайнописью, поступала обычно в Посольский приказ и частично сохранилась в его архиве. Но те же вопросы затрагивались и в секретной переписке, проходившей через Приказ тайных дел. Это были вопросы, разрешению которых придавал особенно важное значение сам начальник этого приказа – «всеа великий и малыя и белыя России самодержец».

## **глава 4**

### **БИОГРАФИЯ ОДНОГО СКЕЛЕТА**

<sup>29</sup> Перлюстрация – тайное вскрытие и просмотр государственными органами пересылаемой по почте корреспонденции.



ТЕТРАДЬ В САФЬЯНОВОМ ПЕРЕПЛЕТЕ



В составленной по повелению Петра I описи имущества Тайного приказа, к сожалению, нет сведений о каких-либо документах, касающихся Григория Котошихина, не раз упомянутого в грядущих главах этой книги. Подъячий этот, правда, служил в Посольском приказе, но имел доступ к секретным делам и, вероятно, находился под наблюдением Тайного приказа, в особенности во время переговоров с иностранными послами.

Пробелам в «черной» книге Приказа тайных дел не приходится удивляться. В опись не вошли пришедшие в негодности документы, о которых составители ее сочли нужным сделать такую пометку:

«Две коробки, а в них тетради и листы, столбцы и лоскутки греческие и латинские, польские и русские, печатные и письменные всякие; письма сгнили, и мыши поели, и разобраться не можно».

Среди этих утраченных почти триста лет назад грамот могли быть и какие-нибудь, упоминавшие о Котошихине. Утрата их восполняется, однако, тем, что кое-какие сведения о нем имеются в делах Посольского приказа, в котором главным образом и протекала его деятельность.

Судя по количеству шкафов, занимаемых делами этого приказа в Центральном государственном архиве древних актов, этих дел сохранилось не так уж мало. Наряду с текстами договоров с иностранными правителями и донесениями первых русских послов, переплетенных в толстые тома, так называемые «посольские книги», уцелели даже ведомости на выплату жалованья дьякам и подьячим этого приказа, составленные триста лет назад.

Раскроем наугад хотя бы одну из этих ведомостей. У нее тоже могут быть свои тайны. На обороте 51-го листа записана сумма «13 рублей» и рядом красуется кудреватая, но вполне разборчивая подпись ее получателя: «Григорий Котошихин».

Буквы «Г» и «Р» выделяются своими длинными хвостиками. Заглавная «К» выведена одним расплывающимся книзу росчерком. Зато последнюю «Н» найдешь не сразу. Она стоит отдельно над строкой в виде двух соединенных крестиков. Так писали в старину, экономя дорогую бумагу. Тут же приписано другим почерком, за что были выплачены эти деньги.

«Григорию Котошихину великого государя жалованье на нынешний на 169 год<sup>30</sup> по особой выписке для свийского (шведского) посольского съезду дано сполна». Тринадцать рублей за год службы – деньги, конечно, небольшие. Григорий Котошихин был простым подьячим, но он выполнял важные поручения, участвовал в переговорах со шведскими послами. Судя по другой пометке, за это ему полагалась прибавка в размере половины его жалованья.

В следующем году в ту же тетрадь вписано распоряжение часто принимавшего иностранных послов думного дьяка Алмаза Иванова:

«К прежнему его окладу за свийскую посольскую службу придано 6 рублей и учинен ему оклад с прежним 19 рублей. Да ему ж для хлебные дорогови в полы<sup>31</sup> его окладу 9 рублей с полтиной». Итак, в связи с вздорожанием хлеба, Котошихин получил еще одну прибавку.

Всего в книге имеется пять таких записей. По ним видно, что проворный подьячий быстро продвигался по службе. Жалованье его с каждым годом повышалось. В 1663 году он уже получал тридцать рублей, что считалось приличным окладом.

Но последняя запись, внесенная в 1665 году, говорит о том, что карьера расторопного подьячего внезапно оборвалась, впрочем, по его же вине:

«...В прошлом во 172 году Гришка своровал, изменил, отъехал в Польшу. А был он в полках бояр и воевод князя Якова Куденетовича Черкасского с товарыщи».

Эта краткая запись в сравнительно хорошо сохранившейся платежной ведомости о чрезмерном проворстве способного канцеляриста, вероятно, осталась бы незамеченной, если бы спустя почти двести лет имя беглого подьячего давно упраздненного Посольского приказа вдруг не вынырнуло из забвения.

<sup>30</sup> 169, то есть 7169 год по старому летосчислению приходится на одну треть на 1660 год и на две трети на 1661 год.

<sup>31</sup> В полы – в половину.

В 1837 году скромный русский ученый Сергей Васильевич Соловьев, проводя свой отпуск в Швеции, решил поискать в шведских архивах и библиотеках древнерусские рукописи.

Первый свой визит с научной целью Соловьев нанес в королевский замок в Стокгольме, так как в нем помещалась одна из лучших шведских библиотек.

Когда нога шведского солдата ступала на чужую землю, его руки нередко тянулись к книге, но совсем не потому, что он хотел ее прочесть. Книги в те времена были большой ценностью. Рассматривая их как свою военную добычу, шведские полководцы во время тридцатилетней войны вывезли из Германии, Дании, Богемии и Польши целые библиотеки, поступившие впоследствии в королевские книгохранилища. На просьбу профессора показать достопримечательности библиотекарь вынес древнее пергаменное евангелие, написанное в IX веке на английском языке. Библиотекарь показал также русскому ученому знаменитую «Библию дьявола», увесистую книжищу чешского происхождения, написанную, по его уверениям, в XII столетии на коже двухсот ослов. Шведские солдаты похитили ее вместе с тяжелой цепью, которой она была прикована к дубовому столу в одном из пражских монастырей. Предание гласило, что приговоренный к смертной казни монах написал ее за одну ночь с помощью дьявола.

Из славянских же книг в королевской библиотеке нашлась всего одна. Это была тоже библия, но более позднего происхождения. Как бы оправдываясь, библиотекарь сообщил профессору, что в 1697 году королевское книгохранилище пострадало от пожара, уничтожившего восемнадцать тысяч томов и более тысячи рукописей. Возможно, что среди них как раз и были документы на русском языке.

Не смущаясь неудачей, профессор Соловьев решил заглянуть и в помещавшийся в том же королевском дворце государственный архив. Тут ему больше повезло. Среди документов, относившихся к XVI и XVII столетиям, оказалось много шведских и немецких рукописей, посвященных России эпохи Ивана Грозного, «Московская хроника» – впечатления проезжавшего через Россию и Персию голштинского купца Филиппа Крузиуса, и другие. Но, кроме этих иностранных сочинений, профессор обнаружил в архиве и множество подлинных русских документов, свернутых в виде столбцов, челобитных и отписок воевод и старост из Смоленска, Владимира, Суздали и других древнерусских городов. Он натолкнулся также на собственноручные грамоты польского гетмана Сапеги, Лже-Дмитрия и царя Василия Шуйского. В Стокгольм они попали как трофеи во время шведско-польской войны.

Но ученого особенно заинтересовала старинная рукопись на шведском языке «О некоторых русских обычаях». При ближайшем рассмотрении она оказалась переведенным с русского описанием царствования Алексея Михайловича. Это было сочинение какого-то жившего в Швеции русского подьячего, именовавшегося то Александром Селецким, то Григорием Котошихиным. Оно было переведено на шведский язык толмачом государственного архива Олафом Боргхузенем.

Из предпосланного переводу предисловия Соловьев узнал, что Польша была только временным приютом беглеца. Последние годы своей жизни он провел в Швеции, где и умер при не совсем обычных обстоятельствах. Рукопись показалась ученому настолько интересной, что он тут же послал в Петербург краткое ее описание и принялся переводить ее на русский язык.

Но Соловьев успел перевести только несколько глав. На следующий год в той же Швеции ученому посчастливилось обнаружить в другом месте подлинник заинтересовавшего его сочинения.

Просматривая в знаменитой Упсальской библиотеке коллекцию рукописей XVII века, профессор Соловьев обратил внимание на объемистую тетрадь в красном сафьяновом переплете. На обложке ее было оттиснуто золотыми латинскими буквами: «Грегор Кошкин». Один слог в фамилии подьячего был пропущен, очевидно, по недосмотру переписчика.

Раскрыв заглавный лист, Соловьев прочел написанное по-русски объяснение: «Григорья Карпова Кошихина, Посольского приказа подьячего, а потом Иваном Александром Селецким зовомого работы в Стохолме 1666 и 1667». Далее следовала приписка: «Рукопись на 232 листах, в малую четверть, писана скорописным почерком XVII века самим автором». Это и был подлинник сочинения Котошихина, с которого был сделан найденный Соловьевым в Стокгольме перевод.

Четыре недели понадобилось прилежному ученому для переписки этого сочинения от начала и до конца при точном соблюдении орфографии подлинника. Русский текст не имел названия и состоял из тринадцати глав, в свою очередь разделенных на отдельные маленькие статьи. Таких статей насчитывалось двести тридцать четыре.

Это был рассказ не только о русских обычаях и обрядах в первой половине XVII века, как уверяла шведская надпись на стокгольмском экземпляре перевода.

В сочинении Котошихина, предназначенном для иностранного, в данном случае – шведского, читателя, рассказывалось о государственном устройстве России в царствование Алексея Михайловича.

В написанной деловым и точным языком книге было заметно стремление автора подладиться к вкусам чужого читателя, угодить ему. С помощью этой книги злопамятный беглец явно хотел за что-то отомстить своей родине.

Но независимо от намерений автора сочинение это оказалось ценным пособием для историков, содержащим богатейший материал для изучения внутреннего состояния России в середине XVII века. Было решено рукопись издать, предварительно проверив ее подлинность. Шведское правительство пошло навстречу этому желанию русских историков, и тетрадь в сафьяновом переплете, так же как и один из сделанных шведами переводов были присланы для экспертизы в Петербург.

Сличив почерк сочинителя с другими, собственноручно написанными Котошихиным документами, хранившимися в архиве Посольского приказа, члены комиссии признали, что присланная из Упсалы рукопись была подлинной.

## **СЛУГА ТРЕХ ГОСПОД**

С тех пор как были найдены записки Котошихина, прошло больше столетия. Но ни одна научная работа, касающаяся эпохи тридцатилетнего царствования Алексея Михайловича, не обходится без ссылки на это сочинение беглого подьячего.

О самом же Котошихине, незаурядном рассказчике, по человеку далеко не безупречного поведения, историки обычно умалчивают.

Что же заставило его покинуть родину и скрываться под чужой фамилией? Какие преступления совершил он? Почему он переехал из Польши в Швецию и чем там занимался? Что помешало ему вернуться домой? При каких обстоятельствах и когда он умер?.. Все эти вопросы в разное время занимали ученых, как русских, так и иностранных, и побуждали их к новым розыскам.

Первым из всех обнаруженных в архивах документов о Котошихине, еще более ранним, чем приведенные выше записи из прихода-расходной книги Посольского приказа, оказалась грамота самого царя Алексея Михайловича к управляющему этим приказом думному дворянину Ордину-Нащокину.

В ней говорилось:

«Апреля в 19 день писали есте к нам, а в отписке вашей в первом столбце прописано, где было надобно написать нас, великого государя, и написали великого, а государя не написано.

И то вы учинили не остерегательно, – поучал Алексей Михайлович, – и как к вам ся наша грамота придет и вы б впредь в отписках своих и во всяких наших делах, которые будут на писме, наше, великого государя, именование и честь писали с великим остерегательством.

А вы, дьяки, – продолжал царь отчитывать служащих приказа, – вычитали б всякие письма сами не по единожды и высматривали б гораздо, что б впредь в ваших письмах таких неосторожностей не было».

Последние строки грамоты были посвящены непосредственному виновнику описки:

«...а подьячему Гришке Котошихину, который тое отписку писал, велели б есте за то учинить наказание – бить батоги».

Итак, можно считать установленным, что за случайную ошибку, пропуск одного только слова «государь», в официальном письме к царю виновный в этой оплошности молодой подьячий был выведен на мощеный двор перед зданием Посольского приказа, положен на землю или на скамью и нещадно бит толстыми прутьями, так называемыми батогами.

Эта экзекуция оставила, разумеется, некоторые следы не только на его теле, но и в его душе, однако на дальнейшей карьере Котошихина она не отразилась.

Из других найденных в том же архиве документов мы теперь знаем, что уже в следующем году отведавший батогов подьячий Григорий Котошихин был включен в состав важного посольства, отправившегося в Эстонию для мирных переговоров со шведами.



В сохранившемся в Посольском приказе письме, посланном в Москву А. Л. Ординым-Нащокиным из занятого русскими войсками Дерпта, снова упоминается имя Котошихина. Нащокин сообщал, что он отправил этого подьячего в Ревель поторопить шведских послов скорее ехать в Москву. Шведы ответили, что они тронутся в путь, как только дождутся выехавшего в Стокгольм за инструкциями руководителя посольства Бенгта Горна. 8 декабря к Нащокину явился шведский трубач. Бенгт Горн извещал через него русского посла о своем прибытии.

Трубач был отправлен назад в сопровождении Котошихина, вручившего главе шведского посольства новое приглашение скорее прибыть в Москву.

Опытный дипломат Бенгт Горн вел с молодым подьячим долгую беседу. Он пожаловался на «небрежность» русских, выразившуюся в том, что в грамоте на имя шведского короля был пропущен один из титулов «король лифляндский», и высказал

надежду, что при переговорах русские будут сговорчивыми – заключат мирный договор на вечные времена. Котошихин не сказал послу, что описка была сделана нарочно, так как русские не считали Лифляндию шведской землей.

21 июня 1661 года в приютившейся между Дерптом и Ревелем эстонской деревушке Кардис не без некоторого участия Котошихина был, наконец, подписан договор о перемирии.

Но по возвращении в Москву Котошихина опять ждали неприятности. Отец его, монастырский казначей, живший, по-видимому, на квартире своего сына, был обвинен в растрате. Воспользовавшись отсутствием подьячего, один из ближайших царских прислужников думный дворянин Прокофий Елизаров за долги отца отнял у него дом со всеми пожитками и лишил крова его жену. Произведенным по настоянию Котошихина розыском было выяснено, что отец его, в сущности говоря, обвинен напрасно. В монастырской казне не хватало всего пяти алтын, то есть пятнадцати копеек. Но хлопоты подьячего ни к чему не привели. Думный дворянин Прокофий Елизаров заартачился. Отобранное в казну имущество Котошихина так и не вернули.

Толкнула ли новая обида молодого подьячего на путь измены и предательства или для этого были еще и другие причины, сказать трудно. Судя, однако, по тому, что об этой второй причиненной Котошихину несправедливости стало известно из текста его слезливой просьбы на имя шведского короля, написанной спустя два года после конфискации имущества, эпизод этот сильно озлобил будущего беглеца.

Вот тут-то и пригодился обнаруженный профессором Соловьевым в Стокгольме шведский перевод сочинения Котошихина. В предисловии к нему толмач Боргхузен привел обширные выдержки из этого, по-видимому, навсегда утраченного прошения Котошихина. По выдержкам можно легко заключить, что подьячий был корыстолюбив и падок на разные авантюры.

Причиненная Котошихину вторая обида должна была сгладиться полученным им новым ответственным поручением. В августе 1661 года Алексей Михайлович послал его в Стекольн (так русские в то время называли Стокгольм) с письмом к шведскому королю Карлу XI.



**Посольский двор в Москве.**

Обеспокоенный задержкой с утверждением договора, Алексей Михайлович просил короля прислать своих посланцев для обмена ратификационными<sup>32</sup> грамотами. И на этот раз шведы встретили Котошихина с почетом и отпустили с дорогими подарками. Кардисский договор был вскоре утвержден, но после этого в Москве должен был еще быть рассмотрен вопрос о взаимных денежных претензиях. Переговоры на эту деликатную тему с царским окольничим Василием Семеновичем Волынским вели уже не послы, а искушенный в такого рода делах комиссар шведского подворья в Москве и опытный разведчик Адольф Эберс.

32 Ратификационная грамота – документ, подтверждающий одобрение международного договора высшим органом государственной власти.

Стремясь заранее узнать, каких можно от противной стороны добиться уступок, предприимчивый швед сумел получить нужные ему сведения от одного предателя в составе русской делегации и об этой своей удаче с удовлетворением доносил шведскому королю:

«Оный субъект, хотя русский, но... (в этом месте пять слов было написано тайнописью) ... по своим симпатиям – добрый швед... обещался и впредь извещать меня обо всем, что будут писать русские послы и какое решение примет его царское величество насчет денежных сумм».

Эберс извещал короля, что за услуги подкупленного им шпиона, принесшего ему текст данной русским послам инструкции и других важных бумаг, пришлось заплатить сто червонцев.



**Приним шведского посла царем Алексеем Михайловичем в 1674 году.**

Кто же был этим тайным агентом шведского правительства? Ответа на этот вопрос, конечно, тоже не мог дать архив Посольского приказа. Он был найден более чем через двести лет в секретном Стокгольмском государственном архиве шведским историком профессором Иэрне, впервые опубликовавшим в 1881 году хранившиеся в нем тайные донесения шведского резидента в Москве Адольфа Эберса.

За Эберсом во время его пребывания в Москве велась постоянная слежка. Но его тайные встречи с предателем из состава русской делегации московские сыщики из Приказа тайных дел, очевидно, проморгали.

Между тем шведский резидент 26 января 1664 года в зашифрованном письме снова доносил своему королю:

«Мой тайный корреспондент, от которого я всегда получаю ценные сведения, послан отсюда к князю Якову Черкасскому и, вероятно, будет некоторое время отсутствовать...»

Какое совпадение с записью в приходо-расходной книге о последнем местопребывании Григория Котошихина: «А был он в полках бояр и воевод князя Якова Куденетовича Черкасского с товарищи».

«Это было для меня очень прискорбно, – заканчивал свое сообщение шведский резидент, – потому что найти в скором времени равноценное лицо мне будет очень трудно».

Упомянутый в донесении Эберса князь Черкасский вместе с другим царским воеводой, князем Прозоровским, сдерживал в это время стоявшие на берегу Днепра польские войска. Туда же, под Смоленск, – как узнаем мы из другого донесения королю пронырливого резидента, – прибыли промышлять о мире с Польшей и воевода Ордин-Нащокин вместе со своим родственником Богданом Нащокиным и дьяком Григорием Карповым. Это и был



Григорий Карпович Котошихин. Переговоры о мире начались, но поляки были неуступчивы. Надеясь сделать их более податливыми, князь Черкасский с тридцатитысячным войском перешел в наступление, но был отброшен с большими потерями и после этого отозван в Москву. Его сменил пользовавшийся большим расположением царя князь Юрий Алексеевич Долгорукий, тоже, однако, не добившийся успеха. Пытаясь переложить вину за свою неудачу на своего предшественника, Долгорукий подослал гонца к Котошихину с требованием сочинить изветное письмо, обвиняющее князя Черкасского в том, что он якобы «сгубил царское войско». За это влиятельный князь обещал подьячему повышение в должности и возвращение имущества, забранного в казну за долги отца.

Но Котошихин, опасаясь своим отказом навлечь на себя гнев нового воеводы, предпочел бежать в Польшу.

Так объяснял он сам в прошении на имя шведского короля Карла XI причину своего бегства из России. Уверяя короля в своем другом письме в давнишнем желании ему послужить, Котошихин просил о предоставлении ему убежища и работы в Швеции. Но это была только полуправда.

В своих прошениях к шведскому королю Котошихин умалчивал, что до этого он уже обращался с такой же просьбой к королю польскому. Шведский же резидент Эберс мог только донести своему хозяину, что оказавший ему ценные услуги тайный осведомитель так и не вернулся.

Не имея точных сведений о судьбе Котошихина и не называя его имени, Эберс лишь осторожно извещал короля о том, что на сторону поляков перешел один писарь со многими секретными бумагами, касающимися трактатов.

Существенный пробел в биографии изменника, пытавшегося представить себя страдальцем за правду, был восполнен после еще одной неожиданной находки. Она стала возможной лишь с возвращением в Россию остатков архива, похищенного поляками в начале XVII века.

Изучая его содержание, управляющий Главным архивом министерства иностранных дел князь Оболенский обнаружил в 1842 году среди бумаг литовского канцлера Христофора Паца старательно написанное двести лет назад аккуратным канцелярским почерком прошение на имя современника Алексея Михайловича польского короля Яна-Казимира. Оно заканчивалось знакомой кудреватой подписью подьячего Григория Котошихина.

Из текста этого прошения было видно, что польский король уже успел назначить перебежчику высокое жалованье – сто рублей в год, в три раза больше, чем подьячий получал в Москве, и приказал всегда ему «быть при его милости канцлере литовском».

Котошихин же упрашивал «наияснейшего государя», чтобы он оставил его при своей персоне до конца его жизни, и обещал в скором времени показать добрую службу. Он намекал, что может давать королю полезные советы, от которых даже «к снособу в войне будет годность», если только его будут держать в курсе всего, что делается на границах, а также, если ему будет известно, «что делается на Москве и меж Москвою и шведами, также и на Украине и меж татарами».

Эту свою просьбу Котошихин подкреплял уверением, что, служа в Москве в Посольском приказе, он крепко дознался к тем «вестовым делам».

Перебежчик выражал готовность поделиться с королем и своими познаниями и даже изобретениями в военном деле. Он просил для этого только обеспечить его землемерными чертежами пограничных районов и дать плотников и кузнецов для изготовления таких рогаток, «что они будут к пехоте годны лутче и легче московских». Другой умысел его заключался в создании инструментов – «чем разрывать московские рогатки».

Простение заканчивалось дерзкой припиской. Жалуясь, что он до сих пор не был допущен «дойти к королевскому величеству поклонитца», Котошихин ходатайствовал о разрешении ему свободного доступа к королю.

Неизвестно, оттолкнула ли короля чрезмерная угодливость просителя, или показалась подозрительной его настойчивость, перестал ли он нуждаться в услугах воинственного

советчика в связи с изменением внутренней и внешней обстановки, складывавшейся в тот момент неблагоприятно для Польши, только Ян-Казимир к просьбам изворотливого перебежчика отнесся прохладно и его начинаний не поддержал.

**Заключительные строки прошения Котошихина на имя польского короля Яна-Казимира. В подписи Котошихина последнюю букву найдешь не сразу. Она стоит отдельно над строкой в виде двух соединенных крестов**

Котошихину ничего другого не оставалось, как уехать из Польши в Пруссию, а оттуда в вольный немецкий портовый город Любек, откуда нетрудно было морским путем перебраться в любую страну. Тут он случайно встретил бывавшего в Москве иностранца Иоганна фон Горна, тайного посредника царя Алексея Михайловича. Не зная ничего об измене Котошихина, фон Горн попросил его, как подьячего Посольского приказа, переслать царю секретное сообщение, что он, фон Горн, собирается направить в Москву одного полковника, якобы хорошо осведомленного о военных планах шведского короля.

Эта встреча, вероятно, окончательно определила дальнейший маршрут беглеца, так как сведения о ней оказались не в русских, а в шведских архивах. Воспользовавшись доверчивостью фон Горна, Котошихин решил сообщить о его намерениях, конечно, не Алексею Михайловичу, а как раз тому, против кого они были направлены, – шведскому королю и таким путем завоевать расположение последнего. Впрочем, для поездки в Швецию у него были и другие причины.

маршрут беглеца, так как сведения о ней оказались не в русских, а в шведских архивах. Воспользовавшись доверчивостью фон Горна, Котошихин решил сообщить о его намерениях, конечно, не Алексею Михайловичу, а как раз тому, против кого они были направлены, – шведскому королю, и таким путем завоевать расположение последнего. Впрочем, для поездки в Швецию у него были и другие причины.

Сев на попутный корабль, он отправился в Нарву. В те времена этот прибалтийской город был резиденцией шведского генерал-губернатора Ингерманландии<sup>33</sup> Якова Таубе.

<sup>33</sup> Ингерманландия – Ингерманландия, Ингрия или Ижорская земля, – область по берегам Невы и побережью Финского залива, входившая в состав Московского государства. С 1583 по 1595 и с 1609 по 1702 гг. она находилась под властью Швеции.

## СВИДЕТЕЛЬСТВА ШВЕДСКИХ АРХИВОВ

Дальнейший путь Котошихина прослежен по документам шведских архивов преподавателем Гельсингфоргского университета Готлундом, нашедшим два подлинных обращения перебежчика к шведскому королю и раскопавшим ценные сведения о последнем этапе жизни их автора.

В Нарве Котошихин, оказывается, встретил еще одного знакомого, принявшего шведское подданство, жуликоватого купца Кузьму Овчинникова, моральные качества которого достаточно характеризует следующая сохранившаяся в шведских архивах запись: «В Новгороде он набрал у одного купца товару на шестьдесят любекских ефимков и, не заплатив ни гроша, скрылся».

Через этого мошенника Котошихин и передал нарвскому генерал-губернатору Якову Таубе свое прошение на имя шведского короля.

Рассказывая содержание этого прошения, Борхузен в предисловии к своему переводу сочинения Котошихина пытается представить его чуть ли не несчастной жертвой царившего в России произвола. Но приведенные им же выдержки из прошения перебежчика говорят о другом.

Подобострастно величая малолетнего шведского короля «ве-ликомощным славным государем», Котошихин, только что предлагавший свои услуги польскому королю, уверял Карла XI, что желание послужить его королевскому величеству зародилось у него, Григория, еще во время поездки в Стокгольм с царским письмом.

Поэтому, признавался беглец, он еще тогда, вернувшись в Москву, начал служить верой и правдой комиссару его величества Эберсу. В подтверждение того, что именно он был тайным корреспондентом Эберса, доставившим шведскому резиденту текст царской инструкции русским послам, Котошихин даже сообщил королю, какое вознаграждение было им получено: «за это комиссар подарил мне сорок рублей». Своей бесстыдной откровенностью он, вероятно, оказал плохую услугу шведскому резиденту. Сам Эберс, как стало известно из найденной профессором Иэрне его секретной переписки, уведомлял короля, что приобретение инструкций обошлось ему в сто червонцев. Разницу этот ловкий делец, очевидно, положил к себе в карман.

Получив прошение Котошихина, ингерманландский губернатор Яков Таубе сразу вспомнил, что встречал его в Стокгольме как раз тогда, когда будущий перебежчик привозил королю царскую грамоту. Ходатайство он немедленно препроводил королю. Одновременно Таубе и сам доложил Карлу XI о тайном прибытии русского канцелярского писаря, якобы захваченного поляками и бежавшего из плена. Эта версия сначала была пущена в ход Котошихиным, стремившимся набавить себе цену.

Ответ из Стокгольма еще не был получен, когда к шведскому генерал-губернатору в Нарву неожиданно прибыл еще один русский гость – стрелецкий капитан Иван Репнин, вручивший ему грамоту от новгородского воеводы. Князь Василий Григорьевич Ромодановский извещал своего шведского соседа, что ему стало известно о появлении в Нарве на королевской стороне подданного его царского величества Григория Котошихина, учинившего измену царю и передавшего польскому королю.

Ссылаясь на 21-й пункт кардисского договора, вероятно хорошо известный и принимавшему участие в его подготовке Котошихину, воевода напоминал губернатору, что этот пункт обязывает обе стороны выдавать беглых и пленных. Поэтому он требовал «вышереченного изменника и писца Гришку прислать ко мне с конвоем в Великий Новгород».

Шведский генерал-губернатор не стал отрицать присутствия Котошихина в Нарве, но решил представить его поведение совсем в ином свете. В ответном послании новгородскому воеводе он уверял, что беглец «прибыл сюда, в Нарву, гол и наг, так что обе ноги его от

холода опухли и были озноблены, и объявил, что желает ехать назад к своему государю, но по своему убожеству и нагоде никуда пуститься не может».

Сохраняя позу доброжелательного соседа, ничуть не заинтересованного в дальнейшем пребывании Котошихина в его владениях, Таубе оповещал князя Ромодановского, что во внимание к великой дружбе, заключенной между великомощным шведским королем и русским великим государем, а также и потому, что он «реченного канцеляриста у короля видел в Стокгольме в качестве посланца», приказал он дать Котошихину платье и пять риксдалеров «для продолжения обратного пути к царскому величеству». Письмо кончалось предупредительным заверением, что уже отдан приказ немедленно разыскать Котошихина, который внезапно исчез. Таубе даже предлагал прибывшему с грамотой новгородского воеводы стрелецкому капитану Репнину выделить одного из сопровождавших его стрельцов для участия в поисках.

Но поиски эти, как и следовало ожидать, оказались безрезультатными. Хозяин дома, приютивший Котошихина, показал, что его жилец отъехал несколько дней назад во Псков к тамошнему воеводе и своему бывшему начальнику Ордину-Нащокину.

А перебежчик в это время, облачившись в пожалованный ему шведским генерал-губернатором новый кафтан с позвякивавшими в карманах риксдалерами, продолжал строчить прошение за прошением, скрываясь неизвестно где.

Котошихин умолял короля дать ему какую-нибудь должность и услать его «подалее от отечества». В то же время он упрашивал короля в случае, если последний не захочет воспользоваться его услугами, держать это письмо в строгой тайне, чтобы он мог «безопасно ехать в Москву».

Щеголяя своей осведомленностью, перебежчик воспользовался случаем предостеречь короля о коварных намерениях своего бывшего начальника Ордина-Нащокина, пожалованного царем в думные дворяне за то, что он «против шведского короля стоял смелым сердцем». По словам Котошихина, Нащокин хлопотал теперь в Андрусове о восстановлении мира с Польшей с единственной целью – опять начать войну против шведов.

Опасение перебежчика, что шведское правительство может пренебречь его услугами, однако, не оправдалось.

Заключенный в Кардиссе мир со Швецией вовсе не был таким прочным. Пользуясь тем, что Россия еще продолжала воевать с Польшей, шведы могли в любой момент попытаться вернуть потерянные ими земли, и в этом случае «знакомый с тайнами Московского государства» угодливый подьячий мог весьма пригодиться.

Фактически управлявший страной до совершеннолетия короля шведский государственный совет заслушал прошение Котошихина и «признал за благо» доставить его в Стокгольм, чтобы на месте удостовериться, «каков он в самом деле».

24 ноября 1665 года малолетний Карл XI подписал специальный указ камер-коллегии «о некоем русском Грегоре Котосикни», гласивший: «Поелику до сведения нашего дошло, что этот человек хорошо знает русское государство, служил в канцелярии великого князя и изъявил готовность делать нам разные полезные сообщения, мы решили всемилостивейше пожаловать этому русскому двести риксдалеров серебром». Одновременно нарвскому генерал-губернатору было послано извещение об отданном советом распоряжении принять Котошихина на королевскую службу.

Где же был в это время сам Котошихин, по словам шведского генерал-губернатора Таубе якобы вернувшийся во Псков, к своему бывшему начальнику Ордину-Нащокину?

Как и следовало ожидать, он и не думал никуда уезжать, а был спрятан в надежном убежище, где его действительно нелегко было найти.

Письмо ингерманландского генерал-губернатора Таубе шведскому королю от 20 января 1666 года открывает этот секрет.

«Поелику реченного писца, которому я запретил показываться, – писал генерал-губернатор, – видели и знают другие пребывающие здесь русские, то господин

цехмейстер посоветовал мне велеть открыто схватить его и посадить в тюрьму, а потом выпустить, как будто он по оплошности сторожей бежал...»

Новгородский воевода князь Ромодановский дал себя обмануть, а Таубе поспешно заметал следы.

«...чтоб не было никакого неудовольствия за то, что он здесь находится, – докладывал он в том же письме, – и не был, как того требовали, схвачен и выдан, посылаю его с курьером в Стокгольм, а воеводе написал, что по оплошности сторожей хитростью освободился, но что я приказал тщательно искать его и, если он будет пойман, выдать».

В приведенном письме ингерманландского генерал-губернатора имя подьячего Посольского приказа Григория Карповича Котошихина было упомянуто в последний раз. С этого момента он опять исчез. Судя по хранящимся в Стокгольмском архиве документам, перебежчик прибыл в шведскую столицу под именем Иоганна Александра Селецкого.

28 марта король Карл XI известил камер-коллегию о пожаловании «поступившему на шведскую службу и обязавшемуся быть нашим верноподданным, бывшему русскому писцу Иоганну Александру Селецкому сто пятьдесят далеров серебром на прокормление и содержание, а также на обзаведение в здешнем краю».

Осенью того же года последовал еще один королевский указ о назначении прибывшему сюда прошлой зимой из Нарвы русскому трехсот далеров серебром в год жалованья, «поелику он нужен нам ради своих сведений о Русском государстве».

Щедрость короля вызвала у облагодетельствованного предателя слезы умиления. Новоиспеченный шведский чиновник обратился со вторым благодарственным письмом «к всемогущему и высокорожденному государю Карлусу».

Льстиво перечисляя все его титулы, он не забыл, конечно, назвать короля и герцогом лифляндским, так как хорошо помнил, что отсутствие этого титула в царских грамотах всегда выводило из себя шведских вельмож. Письмо кончалось обещанием служить королевскому величеству «до смерти своей без измены» и было подписано русскими инициалами: «Г. К. К.» и, кроме того, латинскими буквами: «Иоганн Александр Селецкий».

Назначив Котошихину приличное жалованье, шведское правительство, однако, не торопилось загрузить его работой. Это заставило его подать еще одну челобитную – уже в государственный совет:

«Живу четвертую неделю, – жаловался Котошихин, – а его королевского величества очей не видел, так и у ваших милостей не был и поклонения своего не отдал...» Напоминая, что он живет в «Стекольне» без дела и «даром испроедается», Котошихин настаивал, чтоб ему «какая служба была учинена», просил учить его «свейскому» языку и пожаловать казенную квартиру и харчи.

В своем стремлении поскорее заслужить доверие новых хозяев «униженный раб и слуга» – так подписал Котошихин свою челобитную, – зашел так далеко, что заранее соглашался на любое наказание в случае, если бы он не оправдал оказанного ему доверия: «...А ежели какое у меня письмо по-русски или каким иным языком на Русь или к русским людям сыщется советная грамота, достоин смертной казни безо всякие пощады».

Котошихин не подозревал, как скоро будет выполнена и эта его просьба. Это случилось, конечно, не потому, что он изменил шведам. Навсегда порвавший со своей родиной, отщепенец навлек на себя гнев своих новых хозяев по причине совсем иной.

«Достойный Селецкий имел несчастье неумышленно убить собственного своего хозяина, бывшего русским толмачом в Стокгольме Даниила Анастасиуса по самому ничтожному пустому поводу», – с сожалением сообщал лично знавший Котошихина Боргхузен в биографическом очерке о нем. Упомянув вскользь, что убийца поссорился с Анастасиусом, приревновавшим его к своей жене, Боргхузен затем добавляет: «И он должен был вскоре сложить голову под секирой палача за таможенной заставой южного предместья».

Обнаруженные профессором Иэрне новые документы о Котошихине подтвердили, что Иоганн Александр Селецкий после зачисления в штат чиновником архива поселился в южном предместье Стокгольма у служившего там же переводчика с русского языка Даниила

Анастасиуса. По предложению государственного канцлера графа Магнуса Гавриила де ла Гарди, Котошихин здесь-то и сочинял свое «Описание Московского государства».

Шведское правительство осталось весьма довольно его работой. Это подтверждается, в частности, тем, что рукописные копии с труда Котошихина были впоследствии обнаружены профессором Соловьевым также и в библиотеках крупнейших шведских сановников графа де ла Гарди, графа Браге и барона Риддерстольпе. Изменник, вероятно, дождался бы новых щедрых милостей, если бы его рука не потянулась к кинжалу.

О совершенном Котошихиным новом, на этот раз уже чисто уголовном преступлении подробно рассказывают документы, найденные профессором Иэрне в архиве стокгольмской ратуши.

10 сентября 1667 года в суд низшей инстанции южного предместья Стокгольма прибежала взволнованная молодая женщина, назвавшаяся Марией да Фаллентина, и, плача, сообщила, что ее жилец, русский канцелярский служитель Иоганн Александр Зелецкий – так она произносила фамилию «Селецкий», – еще две недели назад, придя домой пьяным, бросился без всякого повода на ее мужа, королевского переводчика Даниила Анастасиуса, и причинил ему кинжалом несколько ран, от которых он теперь скончался. Когда случилось несчастье, ее самой не было дома; муж как раз ложился спать, пьяный жилец вошел в спальню, схватил его за плечи, ударил ногой в живот и, повалив па сундук, нанес ему испанским кинжалом четыре удара. «Так ты платишь за все сделанное для тебя добро!» – успел только крикнуть раненый и стал звать на помощь. Прибежавшая на крик свояченица стала разнимать дерущихся, но Селецкий, отведя ее руку, ударил и ее кинжалом в грудь. «Неизвестно, останется ли она жива», – всхлипнув, добавила женщина.

Совершив свое черное дело, убийца не пытался скрыться. В крайнем возбуждении он ходил из угла в угол, пока не прибежали стражники и не увели его.

Допрошенный через переводчика Котошихин-Селецкий не отрицал совершенного им поступка, но не смог тут же объяснить его. Он просил разрешения сделать это в письменной форме через три дня.

Кроме показаний о совершенном Котошихиным убийстве, в архиве сохранилось еще одно прошение вдовы. Ссылаясь на свою бедность, она просила помочь ей получить с убийцы плату за стол, комнату и постельное белье, которыми он пользовался больше восьми месяцев, так как ей не на что похоронить мужа. «Все мои сбережения, – плакалась вдова, – ушли на содержание этого жильца, требовавшего, чтобы всего было вдоволь».

Суд южного предместья определил перенести дело в городской, где оно и слушалось 11 и 12 сентября 1667 года.

Когда судья спросил, признает ли подсудимый, что убил Анастасиуса, Селецкий не стал отпираться и сказал, что хорошо знает, какая кара ждет его по шведским законам. «Как бы велика ни была моя вина, она, однако, будет искуплена моей смертью», – добавил он.

Посоветовавшись, суд вынес приговор: «Поелику русский подьячий Иван Александр Селецкий, называющий себя также Григорием Карповичем Котошихиным, сознался в том, что он 25 августа в пьяном виде заколол несколькими ударами кинжала своего хозяина Даниила Анастасиуса, вследствие чего Анастасиус спустя две недели умер, суд не может его пощадить и на основании божеских и шведских законов присуждает его к смерти. Вместе с тем суд передает это свое решение на усмотрение высшего королевского придворного суда».

Несмотря на все приложенные профессором Иэрне усилия, ему не удалось найти в архиве решения этого суда по делу Котошихина. Выяснилось, что оно сгорело во время пожара. Однако из протоколов заседания государственного совета от 21 октября 1667 года видно, что вынесенный ему смертный приговор был утвержден.

Генерал-губернатор Стокгольма оберштадтгальтер Аксель Спаррэ задал на этом заседании вопрос: когда будет казнен русский канцелярист? Ответ последовал: в среду. Государственный канцлер граф де ла Гарди спросил: где будет анатомировано тело казненного – в Стокгольме или в Упсале? Аксель Спаррэ высказал мнение, что это должен сделать в Стокгольме только что прибывший сюда из Упсалы знаменитый шведский хирург

Олаф Рудбек. Против этого возразил член государственного совета Петр Браге, опасавшийся, что вся эта история вызовет недовольство в России. Ему и так уже пришлось вести нежелательные разговоры с только что прибывшим в Стокгольм русским послом Иваном Леонтьевым, узнавшим, наконец, где скрывается Котошихин, и настойчиво требовавшим его выдачи. Браге отклонил это требование под тем предлогом, что, поскольку Котошихин совершил последнее преступление в Швеции, он здесь же и должен быть наказан.

В связи с возникшими на заседаниях совета разногласиями по вопросу об анатомировании тела Котошихина, не было принято никаких решений. На следующий день, однако, при вторичном обсуждении этого вопроса Браге объявил, что, если русский посол пожелает, ему будет предоставлена возможность удостовериться в том, что приговор приведен в исполнение.

Последние известия о судьбе беглого подьячего Посольского приказа сохранились в приходе-расходной книге уже не этого приказа, а стокгольмской канцелярской коллегии за 1667 год. В ней отмечено, что в связи с казнью Селецкого причитающееся ему жалованье поступило в доход казны. Эта же канцелярская коллегия вынесла 8 ноября 1667 года решение о назначении вдове убитого толмача Анастасиуса ежегодного пособия в сумме восьмидесяти четырех с половиной риксдалеров серебром из жалованья Селецкого.

Но, кроме того, некоторые любопытные сведения о судьбе останков казненного содержатся также и в найденном профессором Соловьевым биографическом очерке о Котошихине, написанном Олафом Боргхузен. Последний сообщает, что тело Котошихина после казни было перевезено в Упсалу и все же анатомировано там высокоученым профессором магистром Олафом Рудбеком.

«Утверждают, – заканчивает Боргхузен свое сообщение, – что кости его до сих пор хранятся в Упсале, как некий монумент, нанизанные на медные и стальные проволоки».

Во время занятий на медицинском факультете древнейшего шведского университета скелет Котошихина, его нанизанные на медные и стальные проволоки кости использовались как наглядное пособие.

Таким образом, если бы кто-нибудь вздумал разыскивать в Швеции могилу автора сочинения «О России в царствование Алексея Михайловича», его поиски не дали бы результатов: Котошихин никогда не был погребен.

## **глава5**

### **ДЕЛА КОША ЗАПОРОЖСКОГО**



«СКОПИЩЕ БЕГЛЕЦОВ»



Запорожская Сечь — эти два слова вызывают в памяти прежде всего образы бессмертной гоголевской повести «Тарас Бульба», некоторых поэм Шевченко и знаменитой картины Репина «Запорожцы пишут ответ турецкому султану».

Перед глазами встают мускулистые загорелые здоровяки, закаленные в частых схватках с турецкими разведчиками и янычарами, порой и сами своими отважными набегами



тревожившие владения султана. Как и когда возникла Запорожская Сечь? Какие зарубки оставили эти смельчаки на кряжистом древе истории? Почему некогда грозная Сечь перестала существовать? Долгие годы историки не отвечали на эти вопросы. И это было не случайно.

«Скопищем беглецов» называли когда-то Запорожскую Сечь. За бурные днепровские пороги, на лесистые острова бежали от тиранов-помещиков «холопы», не пожелавшие мириться с закрепощением, с чужими порядками, вводимыми польской шляхтой в захваченных ею украинских землях. Беглецы занимались охотой и рыбной ловлей, разводили скот. Но главным их ремеслом была война – непрерывные схватки с нарушителями границ турками и крымцами, смелые вылазки на быстроходных запорожских «чайках» к турецким берегам.

Отношение Московского государства и выросшей из него Российской империи к запорожцам было двойственным. Москва рассматривала Сечь как свой сторожевой заслон на южных границах. Но постоянно бурлящая казачья вольница, очаг часто вспыхивающих народных восстаний, была для правителей России вечным источником беспокойства. Воинственный пыл запорожцев приводил к пограничным конфликтам, вызывал осложнения в отношениях с соседними странами. С расширением и укреплением южных границ России отпала необходимость в сторожевом заслоне, и Сечь была уничтожена. Территория ее была занята регулярными войсками, укрепления скрыты, жители разогнаны, плодородные земли и пастбища розданы русским дворянам. Особым указом Екатерина II объявила «к всеобщему известию», что Сечь Запорожская «в конец уже разрушена со изтреблением на будущее время и самого названия запорожских казаков».

Первые дворянские историки не торопились собирать сведения об исчезнувшем с лица земли «скопище беглецов».

Память о Сечи сохранилась только в сочиненных неизвестными авторами народных песнях. Их с любовью собирал Гоголь, приступая к созданию своего «Тараса Бульбы». Появление в печати этого произведения, несомненно, привлекло внимание к прошлому запорожцев. Но исследователи испытывали большие затруднения в розыске архивных документов.

Скудость сведений по истории Сечи иногда объясняли тем, что лихие стрелки и рубаки, с одного выстрела достававшие ястреба в небе и мгновенно срезавшие на скаку виноградную лозу, конечно, должны были презирать всякую канцелярию и плохо владели пером. Особенно редко попадались архивные документы, написанные самими сечевиками. Описание укреплений Сечи сохранилось, например, только в отчете кошевого посланца Евсевия Шашолы, затребованном в 1672 году царем Алексеем Михайловичем в связи с возникшей угрозой войны с Турцией.



Лагерь запорожцев.

«Город де Сеча, земляной вал – стоит в устьех Чертомлыка и Прогною над рекою Скарбною, – доносил Шашола царю. – В вышину тот вал шесть сажен... на валу сделаны коши деревянные и насыпаны землей. А в том городе башня, с поля мерою кругом двадцать сажен, да в той башне построены бойницы, а перед той башнею за рвом сделан земляной городок, кругом его мерою в сто сажен, а в ней окна для пушечной стрельбы. Для ходу по воду сделано на Чертомлыке и на Скарбную восемь форток (пролазов), а над теми фортками бойницы; а шириною де те фортки только одному человеку пройти с водою... А мерою же весь Сеча-город будет кругом около 900 сажен...»

Устоит ли Сечь в случае войны с Турцией и ее вассалом крымским ханом? Этот вопрос, очевидно, беспокоил царя. Самих же запорожцев он тревожил гораздо меньше. Это видно из любопытной записи в переписной книге Приказа тайных дел:

«...сыскное дело, что государеву соболиную казну, которая послана была с Москвы с крымскими посланниками и толмачами, разбили на степи запорожские черкасы Барабашеву полку и их, посланников и толмачей, побили до смерти».

Само сыскное это дело не сохранилось, но не трудно представить себе, какую досаду вызвало в Москве убийство послов в то время еще сильного крымского хана, возвращавшихся домой с щедрыми подарками.

Из документов, касающихся Сечи, в государственных архивах сохранились главным образом те, что относятся к последним годам ее существования. Как видно из заглавий, это были в основном жалобы на запорожцев: «Разбор недоразумений между запорожцами и поляками», «Назначение следствия над запорожцами за их своевольства».

Что же это были за недоразумения? Какие своевольства вменялись запорожцам в вину? Кто и почему жаловался на них?

Вот генерал Вейсенбах, служивший по очереди двум хозяевам – сначала русскому царю, а потом польскому королю, пишет о том, что однажды в его отсутствие к нему в усадьбу нагрянули верхом непрошенные гости – кто именно, так и не удалось установить. Увели четыре десятка коней. Из погреба выкатили бочку хмельного меду; из буфета взяли на память серебряные чарки, солонки и ложки; из перин и подушек выпустили пух. Изодрали и разбросали по полу все хранившиеся в ларчике земельные документы и расписки генеральских должников. Отставной генерал приписал ограбление запорожцам и, подсчитав убытки, предъявил счет русскому правительству, не забыв перечислить в нем ни одной мелочи: даже три пропавших ночных колпака.

Обижалась на запорожцев и польская «великокоронная хо-ронжина» – княгиня Яблоновская за то, что они якобы «пощипали» двух знакомых ей купцов, отняли у них

лошадей и выручку, а самих купцов раздели донага и пустили в таком виде гулять по большой дороге.

Пространное донесение было посвящено лихому запорожцу Янко Безродному, вместе со своим товарищем Михаилом Носом производившим набеги на имения польского вельможи графа Любомирского. Пытавшегося же поймать его карателя он перехитрил: настиг его сам и «жег на огне».

Часто жаловались на запорожцев и крымские татары.

Озабоченное этим царское правительство изыскивало способы к пресечению «всех таких самовластных через границу проездов и воровства». Запорожцы же на все поступающие из Москвы грозные предостережения отвечали с достоинством, что никакого воровства у них нет. За воровство они сами бы наказали жестоко виновных, привязали бы их к позорному столбу или посадили на кол, — такая казнь называлась у них «столбовая смерть».

Как только крымские татары начинали жаловаться, запорожцы предъявляли свой счет. В конце концов киевскому генерал-губернатору Леонтьеву было предложено, «чтобы татары не могли прежних жалоб вспоминать, объявить им о бывшем в 1747 году в Запорожской Сечи пожаре, во время которого сгорели все письменные дела». Для нас в этом документе интересно упоминание о «письменных делах» запорожцев.

Значит, такие дела были! Значит, у запорожцев имелся свой архив, а быть может, он даже и не сгорел. Ссылка на пожар могла быть сделана для отвода глаз, чтобы отбить у татар охоту вспоминать старые обиды.

Если же этот архив действительно погиб в 1747 году, то куда же девались дела, заведенные после пожара? Ведь Запорожская Сечь просуществовала потом еще почти тридцать лет. Но, прежде чем ответить на этот вопрос, расскажем о некоторых других запорожских документах, побуждавших к поискам архива.



**Запорожский казак  
в полном вооружении.**

Сто лет назад в Киеве раскупалась нарасхват небольшая книжонка под заглавием «Запорожская рукопись». Оборотистый издатель ее уверял в предисловии, что написана она

была на старинной серо-синей бумаге в «осьмую долю листа» одним почерком и доставлена ему каким-то пришедшим из Запорожья стариком. Пришелец этот якобы утверждал, что рукопись писана запорожцем, «що взяв тай списав уси клади, где и як лежать», так как надеялся, «може, сам коли навернется в Украину да знайде тийи клади и побере гроши»; но намерения его не сбылись – он вскоре заболел и умер. Перед смертью он отдал эту рукопись какому-то хуторянину. Но и этот последний обладатель рукописи тоже вскоре умер.

«Запорожская рукопись» представляла собой перечень трехсот пятнадцати примет, по которым якобы можно найти клады в районе двух бывших воеводств – Киевского и Брацлавского. Там были, например, такие указания:

«...Над Днепром, чи выше, чи ниже Переяслава, спрашуй, где гребля, прозывается Попова, то ниже гребли гляди Бакай болото. Над болотом похила верба, у вершине рассохи; прямо от рассохи у грязи казан и два ведра денег...»

«...У Корсуне, ниже Казацкой могили, яр и лес прозывается Лютовщина. У том яру рубленой колодезь, от колодезя на восток стоит ива, ступеней на две от колодезя, от ивы на восток – гроб; между ивой и гробом схована добыча. Точно!»

Несмотря на то что приметы, по которым якобы можно было отыскать клады, разные кривые вербы да дуплистые дубы уже давно изменили свой облик или совсем исчезли, а колодцы давно погнили или были засыпаны землей, рассчитанная на простачков книжонка не только быстро разошлась, но и вызвала целую волну кладоискательства.

Существовали ли эти клады на самом деле и каково их происхождение? Про запорожцев издавна шла слава, что война без добычи для них не война. Добычу свою казаки, правда, часто пропивали. Но случалось и так, что приходилось собираться в новый поход раньше, чем они успевали ее спустить. Тогда клад прятался в укромном месте, например под сенью векового дуба или в его дупле, а в самый дуб врезывалось конское копыто для памяти. Иногда на коре его делалась зарубка в виде сабли или пики. Владелец клада, однако, не всегда возвращался из похода. Если же он попадал в плен, то после долгого отсутствия обычно не находил ни приметы, ни клада. Многие и сами забывали, где они его зарыли. Поэтому, вероятно, и получили такое широкое распространение рассказы о забытых запорожцами сокровищах, похожие на сказки из «Тысячи и одной ночи». Что запорожцы скрывали свою добычу, подтверждает французский инженер Боплан, приглашенный на службу польским королем Сигизмундом III для постройки крепостей.

Прожив семнадцать лет на Украине, он по возвращении на родину рассказывал в своих воспоминаниях: «Несколько ниже Чертомлыка, посреди Днепра находится довольно обширный остров, на котором существуют развалины; его окружают в различных направлениях более десяти тысяч островов, больших и малых, расположенных самым беспорядочным образом. Этот лабиринт, – утверждал любознательный француз, – служит для казаков убежищем, которое они называют Войсковою Скарбницею, то есть сокровищницею. Все эти острова заливаются весною; сухим остается только то место, где стоят развалины. Река в этом месте имеет более мили в ширину, и все силы турок ничего здесь не могут поделать. Здесь погибло немало турецких галер, которые преследовали казаков, возвращавшихся из морских походов; запутавшись между островами, турки не могли отыскать дороги, между тем как казаки в своих лодках безнаказанно стреляли по ним из тростников. С этого времени галеры не заходят в Днепр дальше 4–5 миль от устья».

Почему же этот камышовый лабиринт называли сокровищницей? Эту загадку французский наблюдатель объясняет так:

«Рассказывают, что в Войсковой Скарбнице скрыто казаками в каналах множество пушек и никто из поляков не знает этого места, ибо они никогда не бывают здесь, а казаки, в свою очередь, держат это в тайне, которую знают только немногие из них. Они опускают на дно все пушки, отнятые у турок, а также и свои деньги, которые и достают оттуда по мере надобности. Каждый из них имеет свой отдельный тайник; возвратившись из похода, они собираются здесь для дележа захваченной у турок добычи, после чего каждый прячет под водою свою часть, то есть такие предметы, которые не портятся от воды».

Значит, запорожцы действительно прятали клады и прежде всего свою казну, которая, конечно, должна была находиться там же, где была и сама Сечь. Наиболее ценные архивные документы могли храниться как раз в казне.

Куда же девалась запорожская казна? На этот вопрос давали самые разноречивые ответы, потому что Сечь не стояла на одном месте. Дворянский историк XVIII века князь Мышецкий насчитал, например, целый десяток Сечей, последовательно сменявших одна другую. Каждая из них, вероятно, имела свою казну. Древнейшая Сечь, возникшая приблизительно в середине XVI века, очевидно на одном из днепровских островов – Томаковке, была до основания разрушена нападшими на нее татарами. Но уже в 1593 году Сечь снова возродилась на острове Базавлуке, там, где в Днепр впадают три его больших притока: Подпольная, Скарбная и Чертомлык, почему и называли ее Чертомлыцкой. Неспроста, как видно, получила свое название и река Скарбная: ведь скарбницей называли запорожцы свою казну. Чертомлыцкая Сечь по повелению Петра I была уничтожена в наказание за измену казачьих старшин. Но большинство казаков, составлявших ее гарнизон, успело ускользнуть на своих легких лодках-чайках и обосноваться в устье реки Каменки. Так возникла Каменская Сечь. Однако казаков прогнали и отсюда, и они вынуждены были переселиться на чужбину, в Крымское ханство (Алешкинская Сечь), пока не получили разрешения вернуться на родину, на свои прежние земли и основать там новую и последнюю Сечь.

Эта новая Сечь расположилась также в нескольких километрах от прежней, возле притока Днепра – реки Подпольной; значит, еще раз переместилась и сечевая казна.

О поисках этой казны ходили, например, такие легенды.

В вековом Черном лесу, в верховьях реки Ингул, стоит якобы трехсотлетний дуб, выдолбленный внутри и наполненный... горилкой. Внутри этого дуба спрятаны дорогие турецкие и персидские шали и добротные английские сукна, добытые запорожцами во время набегов на чужеземные берега. В этом же дубе в особом тайнике хранятся и драгоценности: золото, серебро, украшенное самоцветными камнями дорогое оружие. Но главный клад – сама Запорожская Скарбница – в нем не поместился, он сокрыт в другом месте! Один паломник, ездивший в Палестину через Константинополь, встретил в турецкой столице сто двадцатилетнего старика, брата умершего на чужой земле запорожского атамана Семена Губы. Когда была уничтожена последняя Запорожская Сечь, этот атаман вместе со своим братом разрыл одну забытую могилу и закопал в ней войсковую казну. Искать эту могилу нужно около переправы через Буг – последнего препятствия на пути бежавших на чужбину казаков. По соседству с этой переправой недалеко от могилы для отвода глаз вырыт в землю крест. Под ним никто не похоронен. Повернувшись лицом к этому кресту, надо отмерить от могилы семь саженей. «Там должна быть канава, а в ней большой камень, а не окажется камня, найдешь в ней цепь. Одним концом она привязана к двери погреба, другим к зарытому в землю каменному чурбану. Откопаешь первую дверь, под ней найдешь еще две, ведущие в разные погреба». Там укрыто много ценного оружия и утвари и все войсковое серебро... Золотых же монет там нет. Семен Губа переплавил их в слитки и спрятал эти слитки в другом месте.

Паломник, вернувшись на родину, стал усердно разыскивать казну и в пятидесяти верстах от Вознесенска действительно нашел то самое место, где покинувшие Сечь запорожцы переправлялись через Буг. Нашел он вблизи этого места и крест, и точно: никакого гроба под ним не оказалось. Была поблизости и насыпь, похожая на могильную. Но, отмерив от нее семь сажен, кладоискатель уперся в дом волостного старшины Ивана Заблоцкого. Хозяин оказался в отъезде, а мать его была довольно угрюмой старухой. Наконец она проговорила, что покойный муж ее пустил однажды ночевать какого-то древнего старика и щедро его угостил. Тот оказался бывшим запорожцем, пришедшим с чужбины взглянуть на родные места и знавшим, где зарыта войсковая казна. Откапывать ее ему было, однако, уже не под силу, и он поделился секретом с гостеприимным хозяином. Тот установил, что на месте, указанном стариком, стоит теперь хата одной вдовы. Он уговорил ее

поменяться с ним домами – его хата была ведь лучше. Выслав из нее детей, муж рассказчицы после долгих усилий сдвинул обнаруженный им под полом тяжелый камень и спустился в открывшуюся под ним яму, но тотчас выскочил из нее обратно. Надорвался ли он или наглотался накопившегося под землей дурного воздуха, но он вскоре умер, и поиски на этом прекратились. Вдова умершего и дети его после этого подвинули камень на прежнее место и, заложив его кирпичом, поставили над ним печь. Обладатель секрета пытался уговорить старшину разобрать эту печь и снова приняться за поиски казны, но тот об этом не хотел и слышать.

Частые перемещения Запорожской Сечи в далеком прошлом сильно затрудняли розыск ее казны и, быть может, находившегося в ней архива. Раскопки кладоискателей носили часто хищнический характер. Охотники за сокровищами по ночам разрывали могилы, курганы и пещеры. Если им порой и удавалось найти какие-нибудь ценности, все остальное, как раз то, что могло заинтересовать археолога и историка, обычно тут же выбрасывалось и уничтожалось. И только время от времени разными путями попадавшие все же в руки историков запорожские документы поддерживали в них надежду, что когда-нибудь разыщется и сечевой архив.

Проследим же судьбу некоторых из этих документов.

## **ЖИВОПИСЬ СТАНОВИТСЯ ЛЕТОПИСЬЮ**

В 1878 году в подмосковном имении известного богача и мецената Саввы Мамонтова – Абрамцеве, в узком кругу гостей одним любителем украинской старины было прочитано знаменитое послание запорожцев к султану. Отдыхавший в это время в Абрамцеве Репин тут же сделал карандашный набросок будущей картины. Вскоре мысль воссоздать на полотне подлинную Запорожскую Сечь овладела им полностью. Однако, осуществляя этот замысел, художник встретился с большими трудностями. Сведений о Запорожской Сечи той эпохи сохранилось очень мало, хотя с момента ее разгрома прошло всего каких-нибудь сто лет, Запорожские земли были розданы екатерининским вельможам, генералам и дворянам, частично заселены немецкими колонистами и уроженцами других мест. Переселенцы почти ничего не знали о своих предшественниках, их обычаях и нравах. Не у кого было достать столь необходимые художнику предметы запорожской старины: одежду, оружие, домашнюю утварь.

«...Нет полной истории Запорожской Сечи. Не собраны существующие в памяти стариков предания о запорожцах, не приведены в известность все письменные памятники... Читающая публика о прошлом запорожского казачества имеет довольно смутные или превратные понятия. Она черпает их главным образом из повестей Гоголя...» – жаловался московский журнал «Русская старина» в сотую годовщину падения Запорожской Сечи, как раз в те годы, когда Репин приступал к созданию своей картины.

Вот почему художнику пришлось стать исследователем, самому заняться поисками сведений о героях задуманного им произведения.

Репин трижды побывал в местах, где располагалась некогда Запорожская Сечь, а также на Кубани, где можно было встретить потомков сечевиков и певцов-бандуристов, воспевавших казацкие подвиги. План этих поездок составил историк Н. И. Костомаров, также интересовавшийся происхождением Сечи.

Присматриваясь к жителям этих мест, Репин заставлял их рассказывать все, что они знали о своих предках, наблюдал пляски и игры казачьей молодежи. В казацких хатах он зарисовал старинную посуду, в музеях – личные вещи и оружие украинских гетманов. Одних только этюдов к своим «Запорожцам» он сделал несколько сот.

«...Мы долго бродили по Хортице, казавшейся нам выкованной из чистого палевого золота с лиловыми тенями... осматривали мы старые, уже местами запаханные колонистами запорожские укрепления», – вспоминал Репин впоследствии об одной из этих поездок,

совершенной им вместе с юношей Валентином Серовым, ставшим потом тоже знаменитым художником.

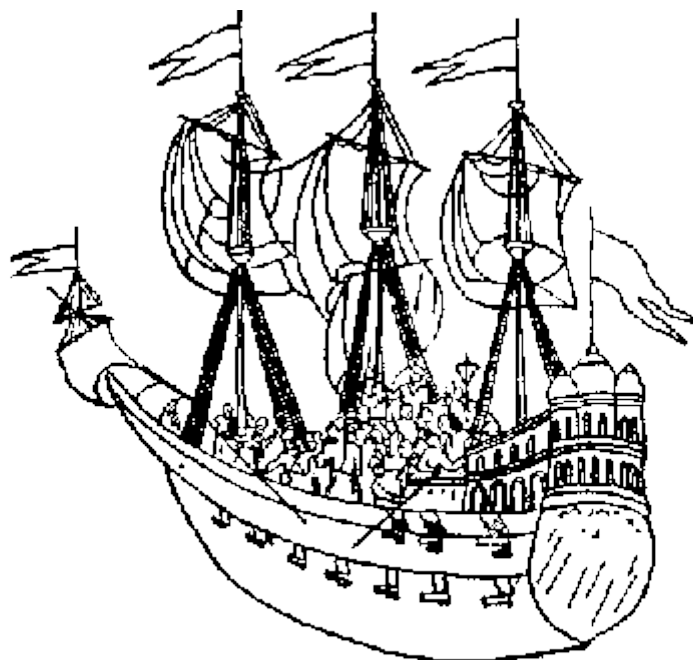
Подходящий типаж для картины Репин находил и среди живших в Петербурге украинских студентов, художников и происходивших из казачьей среды военных.

Помогал советами Репину и хорошо знавший быт казаков и написавший о них свою первую повесть Лев Толстой. Но особенно ценную помощь оказал автору «Запорожцев», по его собственному признанию, один, в то время еще начинающий украинский историк, исследователь запорожской старины Дмитрий Иванович Эварницкий, с которым Репин поддерживал дружескую связь до конца своих дней. Это подтверждают шестьдесят его писем к Эварницкому, хранящихся сейчас в архиве Третьяковской галереи. Именно Эварницкому подарил Репин свой первый эскиз «Запорожцев», написанный масляными красками, и девять карандашных рисунков предметов казачьего обихода, сделанных художником во время работы над картиной.

Еще будучи студентом Харьковского университета, Эварницкий избрал «Историю Запорожской Сечи» темой своей будущей магистерской диссертации. Защитить эту диссертацию ему удалось, однако, только через двадцать лет, так как его выбор не был одобрен университетским начальством, подавлявшим интерес украинской молодежи к истории своей родины. Эварницкий не смог продолжать научную работу в Харькове и вынужден был временно обосноваться в Петербурге. Каждый год в дни студенческих каникул будущий бытописатель Запорожской Сечи бродил пешком по Харьковщине и Екатеринославщине, обходя напоминаящие о ней заповедные места и собирая сведения для своих будущих книг.

Судя по достоверным свидетельствам исторических источников, запорожцы принимали в свои курени всякого, кто желал записаться в казаки, не интересуясь даже его именем. Бежавшие от своих владельцев крепостные, например, или жители захваченной Польшей правобережной Украины обычно при этом тут же брали себе какое-нибудь другое прозвище. Но на романтически настроенного студента произвело сильное впечатление предание, что запорожцы допускали в свою среду только смельчаков, переплывавших все днепровские пороги. Проверая на себе трудность такого испытания, Эварницкий семь раз ломал себе руку о камни днепровских порогов. Зато как же он был счастлив, обнаружив однажды, правда, не в самом Днепре, а в его притоке – реке Скарбной, две настоящие запорожские «чайки».

Эти длинные деревянные суда вмещали свыше полусотни гребцов и казаков, вооруженных самопалами и саблями. На чайках запорожцы достигали иногда Стамбула и, по словам Эварницкого, «такого пускали туда дыму, что султану чихалось, точно он понюхал табака с тертым стеклом».

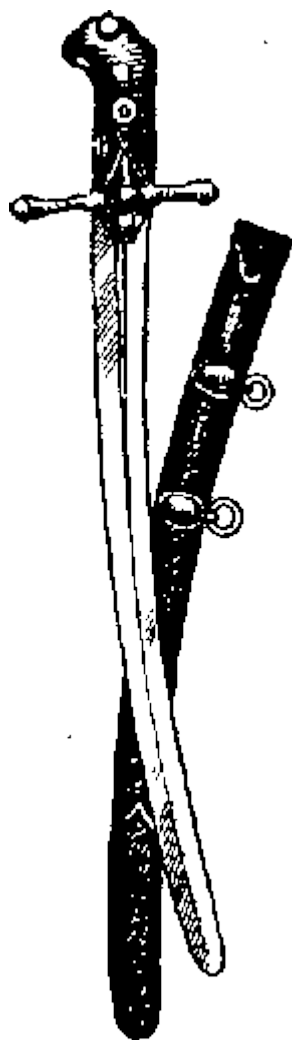


На таких легких быстроходных кораблях запорожцы совершали свои набег на турецкие берега.

Одна из этих чаек с крепким дубовым дном была затоплена поперек реки, другая, такая же, привязана к ней. Поднять их на поверхность Эварницкому не удалось – для этого у студента не было средств. Позже он обнаружил еще семнадцать крепко сколоченных, длинных запорожских лодок уже в самом Днепре. На дне реки были найдены также три казачьих судна. Одно – груженное пулями и ядрами; на другом стояла заржавленная, быть может захваченная у турок, пушка; на третьем валялась кривая сабля с серебряной ручкой. Но все эти суда и лодки также остались гнить под водой.

Нелегко было разыскивать памятники запорожской старины в местах, многократно обысканных как кладоискателями-одиночками, так и археологическими экспедициями. Во время своих странствий по местам прежнего обитания казацкой вольницы будущий автор научно-популярных очерков «Запорожье в остатках старины» и трехтомной, теперь, конечно, устаревшей «Истории запорожских казаков» не пропускал ни одной пещеры, надеясь найти в ней какие-нибудь следы если не запорожской казны или архива, то хотя бы утвари или оружия, сохранившихся от тех времен.





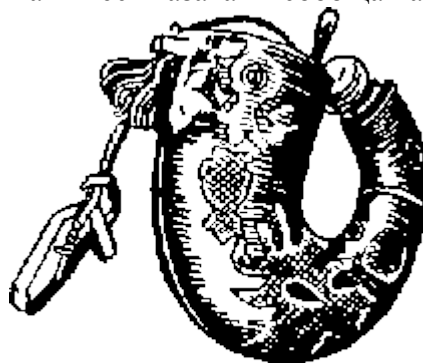
**Запорожская сабля.**

Кое-какие любопытные предметы Эварницкий нашел в выстроенных в более поздние годы местных церквах. В самом Никополе, называвшемся когда-то Микитиным и слывшем даже «столицей» так называемой Микитинской Сечи, за церковной оградой стояла старая запорожская пушка, притащенная кем-то из-за днепровских плавней. В никопольском соборе вместо церковного сосуда употреблялась серебряная кружка, принадлежавшая когда-то атаману Серко и якобы добытая им у крымского хана. В другой церкви Эварницкий обнаружил необычную икону. Рядом с богородицей и двумя «святыми угодниками» были намалеваны лихие запорожцы с чубами, в полном вооружении, в сапогах и широких-шароварах, одетые в подпоясанные зелеными кушаками кунтуши. Как выяснил Эварницкий, запорожцы иногда вешали в церквах рядом с иконами портреты наиболее щедрых на пожертвования казаков. Он сам нашел два таких портрета, висевших раньше в сечевой. церкви и удаленных по требованию заезжего архиерея. Увидев в церкви крестящихся перед этими портретами прихожан, архиерей возмутился. «Кому молитесь?» – спросил он Запорожская сабля, их. «Богу», – последовал ответ. «Не богу, а запорожцам!» – вскипел архипастырь и велел убрать портреты.



Кружка атамана Серко.

Во время своих частых странствий по заповедным запорожским местам Эварницкому все же удалось раздобыть, собрать и приобрести разными путями редкие образцы старинного запорожского оружия, одежды и хозяйственной утвари: самопалы, пистолы, кинжалы, сабли, пороховницы, баклаги, жупаны, сапьянцы (сафьяновые сапоги), люльки-носогрейки и трубки с трехаршинным чубуком, раскуривавшиеся казаками сообща на привалах.



Табакерка запорожца.

Все свои сокровища Эварницкий предоставил в распоряжение Репина. Но опытный взгляд Кружка атамана Серко, живописца обнаружил в самом собирателе этих реликвий черты завязанного запорожца. Между ними произошел такой разговор.

– Едем ко мне, – предложил Репин, – я хочу вас посадить на картине за писаря.

– Илья Ефимович, я не люблю выставять себя нигде па-показ.

– Ну, нет! Я от вас не отстану. Кому же быть писарем, как не вам? – настаивал художник.

И Эварницкий сдался. Он на самом деле был всю свою жизнь писарем, только в другом, более широком значении этого слова – записывал любые сведения о Запорожской Сечи, где бы он ни находил их: в надписях на могильных плитах, в народных песнях, в рассказах потомков сечевиков.



Нагайка запорожца.

Одна из центральных фигур картины – лукаво усмехающийся грамотей-писарь с гусиным пером в руке, пишущий под диктовку товарищей озорное письмо турецкому

султану, – это и есть известный бытописатель Запорожской Сечи Дмитрий Иванович Эварницкий.

На картине он изображен без «оселедца» – чуба, какой обычно носили запорожцы. Зато художник подстриг его «под макитру». Макитрой называется на Украине глиняный горшок. Во времена Запорожской Сечи такой горшок цирюльник нахлобучивал на голову своему клиенту и по нему подравнивал волосы. А боком к писарю сидит голый до пояса мускулистый запорожец. Неужели на Сечи было так жарко, или он успел пропить все, до последней сорочки? Взгляните повнимательнее на стол. Перед обнаженным запорожцем разбросаны карты. Он только что закончил игру, в которой был банкометом. По существовавшим у запорожских казаков правилам, тот, кто держит банк, должен обязательно снимать рубашку, чтобы некуда было спрятать карту, если бы он попытался сплутовать. Эту характерную подробность, использованную Репиным в картине, сообщил художнику Эварницкий.

Раскапывая запорожские могилы, Эварницкий однажды нашел в одной из них вещь, которой погребенный в этой могиле запорожец, по-видимому, очень дорожил. Рядом со скелетом лежал большой графин из тонкого зеленого стекла, наполненный горилкой. Казак-гуляка не мог расстаться с любимым питьем и после смерти. Эварницкий показал графин Репину, и тот перенес его на полотно. Круглый, стеклянный графинчик с ручкой, вмещающий стаканов шесть обжигающего зелья, стоит перед ухмыляющимся писарем.

Череп владельца этого графина тоже был использован художником при создании картины. Репин изобразил зубы этого черепа во рту одного из запорожцев, заразительно смеющихся над письмом к турецкому султану.

Двенадцать лет работал Репин над своими «Запорожцами». Он дорожил этой картиной, влюбленный в ее героев. Это о них он писал: «Голова идет кругом от их шуму и гаму... Я положительно без отдыха живу с ними. Нельзя расстаться: веселый народ!»

И вот картина готова.

Перед нами те самые, как бы сошедшие со страниц гоголевской повести, запорожцы, «что ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и днепровским островам; бывали в молдавской, волошской и турецкой земле; изъездили все Черное море двухрульными козацкими челнами, нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатеишие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстрелили порошу на своем веку».

Склонившись над листом бумаги, усатый грамотей старательно выводит корявые буквы. По царящему вокруг безудержному веселью, по корчащимся от хохота лицам казаков, подсказывающих писцу крепкие словечки, нетрудно догадаться о содержании письма.

## ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСЛАНИЯ

Сюжет знаменитой картины, как известно, не был выдуман Репиным. В старинных рукописных сборниках, сбереженных любителями древностей, и даже в государственных и монастырских архивах сохранился текст хлесткой казацкой отповеди, данной, по преданию, запорожцами турецкому султану. Это был ответ на его дерзкий вызов, присланный казакам на кончике стрелы – требование подчиниться и перейти в турецкое подданство.

Письмо это якобы гласило:

«Я султан, сын Магомета, брат солнца и луны, – выхвалялся перед запорожцами константинопольский властелин, чванливо перечисляя все свои титулы, – внук и наместник божий, владетель всех царств, Македонии, Вавилона и Иерусалима, великого и малого Египта, царь над царями, властитель над всеми живущими, никем не превзойденный и не победимый рыцарь, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого бога, надежда и утешение мусульман, смущение христиан, но и их великий защитник. Повелеваю

вам, запорожские казаки, сдатьсь мне добровольно и без малейшего сопротивления и своими набегами мне больше не досаждают».

Запорожцы ответили на такую дерзость градом заковыристых ругательств, подобранных нарочно в том же порядке, в котором кичливый султан располагал свои громкие титулы. Все эти титулы они переиначили на свой лад.

«Ти, шайтан турецкий, проклятого чорта брат і товариш і самого Люципера секретар. Який ти в чорта лицарь... не будет ти годеи сишв християнських шд собою мати; твоего вШська ми не бошося, землею і водою будем битися ми з тобою...

Вавілонський ти кухар, македонський колкник, іеруса-лимський броварник (пивовар), александрійський козолуп, великого і малого Эгипта свинар, армянська свиня, татарський сагайдак (козел), каменецкий кат (палач), подшеський злодіюка, самого гаспида внук і всього світа і підсіта блазень (дурень)...»

Мы приводим это письмо не полностью, так как в тексте его встречаются еще более крепкие выражения, причисляемые к разряду непечатных.

Когда именно могло быть сочинено знаменитое письмо запорожцев к турецкому султану, не легко было определить и потому, что сами его авторы, издеваясь над султаном, в последних строках признавались: «числа не знаем, бо календаря не маем, місяць у небі, а год у книжці, а день такий у нас, як и у вас...» В этом месте добавлялось под рифму еще несколько озорных словечек.

Трудно установить, посылал ли когда-нибудь на самом деле турецкий султан запорожцам дерзкий ультиматум, на который они могли ответить таким образом. Современные исследователи считают письмо запорожцев образцом народного творчества.

Один из вариантов письма был подписан «Кошовый атаман Захарченко со всем Кошем Запорозьким», под другим стояла подпись славившегося своими лихими набегами запорожского героя, знаменитого кошевого атамана Ивана Серко — такое прозвище дают на Украине волкам. Об этом атамане по Сечи долго ходила молва, что он даже родился с уже прорезавшимися зубами и, как только бабка-повитуха обмыла его и поднесла к столу, младенец «тот же час схватил со стола пирог с начинкою и съел его».

Ой не витер в поле грае,  
Не орел летае,  
От же Сирко с товариством  
На Сечи гуляе,

— поется об этом смельчаке в казацкой песне. Именно его и изобразил Репин в своей картине в образе стоящего рядом с писарем дородного запорожца с трубкой во рту и заткнутым за пояс драгоценным кинжалом.

РѢДХПМААД  
 ПРЕСТАВИСЯ РАБЪ БО  
 ИОАНЪ СТРѢКОДМИТ  
 РОБН АТАМАНЬ КОШЬ  
 ВНИ ВОІКА ЗАПОРЬКОГО  
 ЕА ЕГО...Н ПВФСОДОРА  
 АЛЕЗБМТА И ПАМЯТ ПР  
 АВЕДНАГО СОПОХВАЛАМИ

Как можно судить по надписи на сохранившейся вблизи развалин старой Сечи могильной плите, Серко умер в 1680 году – значит, и письмо должно было быть составлено не позже этого года. Попытку установить дату послания запорожцев сделал историк Н. И. Костомаров. Два содержавшихся в письме ругательства – «каменецкий кат» (палач) и «подільський злодіюка» – могли относиться к турецкому султану Магомету IV, царствовавшему с 1648 по 1687 год и действительно захватившему в 1672 году после жестокой резни главный город Подолии Каменец, а потом и всю Подолию.

Предположение Костомарова так и осталось предположением. Точную дату написания письма – один из признаков подлинности исторического документа – установить не удалось.

Вполне вероятно, что это письмо не является таким документом. Однако сохранилось другое послание, подлинность которого не вызывает сомнений. Оно принадлежит тому же легендарному запорожскому атаману Серко, именем которого подписан один из вариантов письма к турецкому султану, и адресовано вассалу того же Магомета IV, к которому, по мнению историка Костомарова, могли относиться заинтересовавшие ученого ругательства. Магомет IV, не ограничившись разорением Подолии, решил истребить все запорожское войско и уничтожить самый Кош. Такой приказ послал он своему вассалу крымскому хану Селим-Гирею. На месте Сечи же султан хотел поставить свою крепость для преграждения казакам выхода в Черное море и прекращения их набегов на турецкие берега.



Запорожская Сечь славетлась  
и своими бандуристами.

По словам украинского летописца Самуила Величко, служившего канцеляристом в Войске Запорожском, осенью 1674 года султан отправил с этой целью из Стамбула на помощь крымскому хану пятнадцать тысяч своих лучших янычар. После наступления зимы, когда замерзают затрудняющие доступ в Запорожье днепровские притоки, эти янычары вместе с крымцами должны были выбить казаков из Сечи и до основания разорить ее. Но из этой попытки ничего не вышло. Предводительствуемые Серко запорожцы разбили Селим-Гирея. Победенному хану и пишет атаман. Текст этого письма сохранился среди документов по истории казачества, собранных в XVIII веке прожившим два года в Запорожье историком Ригельманом. Оно проникнуто характерным для запорожцев чувством собственного достоинства и отличается от письма к турецкому султану лишь более тонким юмором.

Приводим это письмо в пересказе, излагая его содержание современным языком:

«Ясновельможный властитель, хан крымский, со многими ордами близкий наш сосед! — так начинает Серко свое велеречивое по форме, но достаточно язвительное послание к Селим-Гирею. — Не мыслили бы мы, Войско Низовое Запорожское, с вашей ханской милостью и со всем панством крымским входить в великую неприязнь и войну, если бы вы сами ее не затеяли.

Ваша ханская милость, послушав дурного совета сумасбродного и безумного царьградского визиря, а потом и невразумительного приказа наияснейшего и наивельможнейшего султана своего (того самого, которого тот же Серко в приписываемом ему другом послании гораздо менее почтительно обзывает «турецким чертом», «всесветным дурнем» и другими совсем нелестными прозвищами), вступили с нами в войну прошлой зимой. Вы подбирались к нам, Низовому Запорожскому Войску, с султанскими янычарами и многими, крымскими ордами украдкой, ночью порою. Подступив близко к нашей Сечи и сняв стоявшую на подступах к ней стражу, вы послали было в Сечь пятнадцать тысяч янычар, приказав им — что не делает вам чести — не «по-кавалерски» всех нас, молодцов Войска Запорожского, сонных и не — чаявших никакой беды, выбить и истребить. Крепость же нашу сечевую до основания перекопать и разорить. Сами же вы с ордами встали около Сечи, чтобы не упустить наших молодцов.

...И так как этот поступок ваш, — говорится дальше в послании, — весьма нас, Войско Запорожское, огорчил и раздосадовал, то и мы, по примеру древних предков и братьев наших, должны были постараться воздать должное вашей ханской милости и всему панству крымскому за причиненные обиды и огорчения. Но мы сделали это открыто, по-рыцарски и по-кавалерски, а не тайком, как вы.

...И если тот наш визит в ханство ваше все же показался вам неучтивым, то, может быть, так оно и есть, – любезно соглашается Серко, – ибо казаки не одной матери дети, а значит, и нрав у них не одинаковый: одни стреляли направо, другие налево, а третьи напрямик, но так добре, что все попадали в цель.

...Но и в самом Крыму, – продолжает подтрунивать над ханом Серко, – ваша ханская милость не приняли нас за гостей и добрых кавалеров и поспешили было со своими могучими ордами до Сивашу, к той самой переправе, откуда мы вступили в ваше ханство. Стоя здесь и ожидая нашего возвращения, вы хотели нас истребить и не пустить нас на переправу. Но и тут намерение ваше не сбылось... И если и на этот раз вашей ханской милости показалось что-нибудь с нашей стороны нелюбезным, то вы должны нас за это извинить – ведь это был лишь ответ на собственную неучтивость.

Конечно, вашей ханской милости и не снилось, что наше Низовое Запорожское Войско в таком малом и ничтожном числе посмеет наступать на знаменитое и многолюдное ханство крымское, – продолжает изводить хана Серко. – Мы бы этого и не сделали, конечно не из страха перед вами, а ради сохранения добрососедских отношений, если бы вы первые не нарушили их. Но, если вы опять так поступите, мы снова явимся в ваше крымское ханство уже в большем количестве и лучше вооруженными. Тогда мы переправимся не через Сиваш, а пойдем прямо на самый Перекоп, выломав и отворив себе в нем ворота, для чего у нас имеются все средства, и до тех пор от вас не уйдем, пока не исполним все свои намерения...»



Запорожец, тапдующий голав.

А чтобы хан в этом не сомневался, Серко напоминает ему о том, что отважные и мужественные кавалеры и прежние вожаки Войска Запорожского издавна морем и сушей ходили войной на Крым и царство турецкое. Назвав по имени этих вождей и кавалеров, Серко не упускает случая напомнить хану, что казаки при этом «коснулись мужественно самых стен константинопольских и, оные довольно окутивши дымом мушкетным, превеликий султану и всем мешканцам (жителям), царьградским, сотворили страх и смятение».

«...Итак, – заканчивает Серко свое послание, – хоть и не желаем мы, Войско Низовое Запорожское, с вашей ханской милостью и со всем панством крымским драться и состоять в распре, однако если вы начнете нас задирать, мы тоже не останемся в долгу и не побоимся пойти на вас войной...»

В этом же письме Серко сообщает Селим-Гирею, что «из невольников ваших крымских, начальных и простых, найдется у нас, на Кошу, четыре тысячи». Сами пленные, по его

словам, составили список своих имен с указанием суммы назначенного за их освобождение выкупа. Если хан не позже чем через полтора месяца пришлет требуемую сумму, добавив к ней «от своей ханской учтивости для нас, Войска Запорожского, подарок», то все пленники будут сразу же отпущены. В противном же случае они будут отосланы в Москву, за что царь не преминет вознаградить запорожцев из своей казны.

Желая его ханской милости доброго здоровья и счастливой жизни, сочинитель послания сообщает, что писал его в Сечи Запорожской «вашей ханской милости доброжелательный приятель Иван Серко, атаман кошовый со всем Войска Запорожского Низового товариством».



Булава —  
знак толкосты  
вишачьего  
атамана.

По образцу письма запорожцев к турецкому султану или явно под его влиянием составлялись и другие послания к врагам вольнолюбивого казачества.

Например, в дни пугачевского восстания один из соратников Пугачева, повешенный впоследствии в Москве казачий атаман Тимофей Падуров, написал «угрожительное» письмо пытавшемуся увещевать восставших оренбургскому губернатору Рейнсдорпу, начинавшееся так:

«Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну.

Прескверное ваше увещевание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненавистника, благодарим...Ведай, мошенник, известно, да и по всему тебе, бестии, знать должно, сколь ты не опробовал своего всескверного счастья, однако счастье ваше служит единому твоему отцу — сатане».



«Угрозительное» послание заканчивалось уверением: хотя губернатор «по действию сатанину во многих местах капкан и расставил», но трудился он напрасно. Если даже не удастся сделать на него крепкую веревочную петлю, можно свить и мочальную за гривенник...

В годы Великой Отечественной войны текст письма запорожцев к турецкому султану опять стал ходить по рукам, только адрес его изменился.

«Катом»-палачом назывался, конечно, теперь уже не переселившийся несколько веков назад к праотцам султан Магомет IV, а «всього світа і підсвіта блазень» Адольф Гитлер.

«Твойого ввійська ми не боїмося, землю і водою будем битися ми з тобою» – эти строки из легендарного письма запорожцев очень точно выражали мысли и чувства советских людей. Озорной тон и сочный народный юмор старинного письма в трудную минуту ободряли бойцов.

Поиски письменных источников и предметов материальной культуры в связи с созданием полотна «Запорожцы пишут ответ турецкому султану» и большой успех этой картины оживили интерес к истории Запорожской Сечи. Но еще больше способствовало усилению этого интереса опубликование документов из найденного, наконец, хотя и не полностью, подлинного архива самого «Коша Запорожского».



## АРХИВ СЕЧИ ЗАПОРОЖСКОЙ

Еще раньше чем студент Харьковского университета Дмитрий Эварницкий приступил к сбору материала для своей диссертации о Запорожской Сечи и исходил вдоль и поперек напоминавшие о ней места, заинтересовался ее прошлым молодой одесский чиновник Аполлон Скальковский.

Поступив по окончании Московского университета на службу в канцелярию новороссийского генерал-губернатора князя М. С. Воронцова, Скальковский по поручению своего начальника принялся изучать историю и археологию сравнительно недавно вошедшего в состав России молодого края.

С этой целью он прежде всего объехал его важнейшие города и районы и обследовал все местные архивы. Побывал проездом и в особенно интересовавшем его районе бывшей Запорожской Сечи.



Печать Славного Войска  
Запорожского.

В фамильных архивах людей, игравших известную роль в истории казачества, ему удалось раздобыть кое-какие любопытные документы, касавшиеся отдельных событий истории Сечи и некоторых выдающихся её деятелей. Эти разрозненные обрывки исторических сведений не давали достаточного представления о том, чем на самом деле была Сечь. Однако по характеру обнаруженных (документов можно было предположить, что они хранились раньше в какой-нибудь канцелярии или в сечевом архиве.

И вот однажды, когда Скальковский потерял всякую надежду собрать сколько-нибудь полные сведения о запорожцах, он неожиданно узнал о судьбе исчезнувшего хранилища. Екатеринославский уездный судья Куценко уведомил генерал-губернатора Воронцова, что канцелярист Спичак нашел в архиве большое собрание запорожских документов.

В гряде полуистлевших и частью изорванных бумаг, сваленных в одном ветхом сарае, Спичак обнаружил документы и акты последнего Запорожского Коша.

«Половина этих документов, — вспоминал потом Скальковский, — превратилась в какую-то грязную массу. В ней было неприятно рыться. Многие связки были без начала и без конца, изорваны или съедены червями, другие после высушивания на солнце превращались в пыль».

Копаясь в течение четырех лет в этом ворохе грязной бумаги, исследователь все же сумел отобрать и восстановить ценнейшие исторические документы, относившиеся не только к последним годам существования Запорожской Сечи, но и к более раннему времени. Эти документы, сохранившиеся главным образом в копиях, давали возможность почти полностью восстановить историю Запорожской Сечи в ее главных чертах.

Каким же образом попал последний архив сечевой канцелярии в этот сарай?

Вероятно, в 1775 году, по причине разорения Екатериной II последней Сечи, все запорожские войсковые дела были изъяты без описи и счета и отданы на хранение коменданту Новосеченского ретраншемента, вскоре затем упраздненного. Комендант переправил эти дела в крепость св. Елизаветы. В 1784 году крепость была срыта. Архив Коша перевезли после этого в Екатеринославский уездный суд, где он, очевидно, и затерялся под кипами новых дел.

Во время всех этих переездов значительная часть сечевого архива, по мнению Скальковского, «истребилась от невежества сберегателей». Уцелевшие остатки, вероятно, тоже погибли бы, если бы не были отправлены в Одессу, так как ветхий сарай, в котором они были обнаружены, вскоре после этого сгорел.

«...Я усердно занялся этими уродливыми и почти истлевшими обрывками и после четырехлетнего труда, наконец, удалось мне их собрать, сокопить хронологически в некоторые отделы, сшить и сделать из этого ветхого сборничка довольно значительный архив, который смело назовем архивом Сечи Запорожской», — так докладывал Скальковский своему начальнику князю Воронцову.

Приведя в порядок присланные из Екатеринослава документы и разобравшись в их содержании, Скальковский написал книгу, названную им «Историей последнего Коша

Запорожского». Это был далеко не совершенный и не беспристрастный труд. Чиновник генерал-губернаторской канцелярии, сын помещика и сам помещик, Скальковский использовал в этой работе только часть найденных документов и представил Сечь далеко не такой, какой она была в действительности. Он изобразил ее каким-то военно-монашеским братством, в духе подвизавшихся в Западной Европе рыцарских орденов.

Но, вырвавшись из плена напыщенных фраз, сомнительных домыслов и предвзятых комментариев автора, внимательный читатель все же мог обнаружить в этой книге убедительные документы, подтверждающие, что Запорожская Сечь была незатухающим очагом освободительной борьбы.

Именно на Сечи «высыпался из мешка хмель». Бежавший из польской тюрьмы Богдан Хмельницкий был избран здесь гетманом и во главе восставших казаков начал свой победоносный поход за освобождение Украины (приведший к ее воссоединению с Россией). Здесь скрывался поднявший в 1707 году восстание казаков донской атаман Кондратий Булавин. Недаром еще французский инженер Боплан писал в своих воспоминаниях, что «казаки... больше всего дорожат своей свободой, без которой жизнь для них невысказима».

Правда, и это свидетельство можно рассматривать как стремление идеализировать Сечь. Она не была однородна. В ней существовало резкое социальное неравенство.

Запорожская беднота нередко вынуждена была наниматься на поденную работу за семь рублей в год к богатым казакам, владевшим большими земельными угодьями и стадами. Рядовым холостым казакам, «сиромашам», приходилось утешаться тем, что при перевыборах казацкой старшины, по заведенному на Сечи обычаю, сам кошевой атаман, судья, писарь и есаулы клали перед ними на землю свои шапки и знаки власти и низко кланялись «товариству». Если их выбирали вновь, то рядовые казаки, соблюдая обычай, мазали им голову землей или грязью – смотря по погоде, – чтоб не зазнавались! Но этот ритуал отнюдь не обеспечивал равенства, и внутри Сечи шла постоянная борьба.

Большинство найденных в Екатеринославе документов относилось к последнему периоду существования «вельможного Коша Запорожского», когда его атаманом был ставленник казачьей верхушки, один из самых богатых казаков, Петр Иванович Калнишевский.

По уцелевшим в архиве записям можно проследить, как этот кряжистый «Калныш» крепко держался за власть и угождал казакам-богатеям – их называли «сивоусыми», выслуживался также и перед царем. Еще будучи есаулом, во главе карательного отряда Калнишевский носился по степям и балкам, разыскивая скрывавшихся на Сечи повстанцев с Правобережной Украины – гайдамаков. Наскочив однажды, на берегу реки Буга, на замаскированное камышами укрепленное гайдамацкое гнездо, он истребил всех притаившихся в нем беглецов.

Занимая пост войскового судьи, Калнишевский не раз ездил в Москву хлопотать о возвращении запорожцам их «древних земель», частично переданных донским казакам и переселенцам из других мест. В этом и сам он был кровно заинтересован – ведь на запорожских землях паслись и его тучные табуны и стада. В 1762 году на общевойсковой раде, по предложению «сивоусых», он в первый раз был избран кошевым атаманом. У запорожцев такие дела решались просто. Шумливая «сиромаша» – так звали на Сечи бедняцкую часть казачества – голосовала подбрасыванием шапок – попробуй сосчитай! Через два года он снова получил атаманскую булаву, а затем его выбирали десять лет сряду, «чего до тех пор в Коше из веку веков не бывало». Но как обстояло дело в действительности, видно из сохранившихся в делах кошевого архива донесений самого Калнишевского. Как раз в 1768 году, когда запорожский гайдамак Максим Железняк поднял восстание на Правобережной Украине, вспыхнуло возмущение и на Сечи. Рядовые казаки – сиромаша захватили войсковые литавры и, барабаны по ним поленьями, подняли тревогу. Сбежавшиеся со всех куреней запорожцы овладели пушкарней, заменявшей на Сечи тюрьму, и, освободив привязанных цепями к пушкам гайдамаков, стали громить дома казачьей старшины и вообще богатых

казаков, в том числе и «модные покои» – господскую рубленую хату самого Калнишевского, а также принадлежавшие ему амбары, ломившиеся от всякого добра.

В доме кошевого, как видно из составленного им самим списка понесенных убытков, перебили все стекла, хрустальную и фарфоровую посуду и даже печные изразцы, переломали дорогую мебель (одних только стульев было больше полусотни – по этой цифре можно судить о размерах его «хаты»). Изрезали ковры и выбросили из шкафов и сундуков весь его роскошный гардероб и дорогое оружие: крытые красным бархатом волчьи и лисьи шубы, расшитые кафтаны, позолоченные пояса, двадцать три пары сапог и столько же пар пистолетов, а также сабли в драгоценной оправе. Не пощадили и портрет одной весьма важной «государственной персоны». Сам кошевой схоронился на чердаке и, переодевшись там в монашескую рясу, улизнул через «верх потолочный» в заросшие камышом днепровские плавни. Просидев там до темноты, он пробрался в занятую русским гарнизоном Ново-Сеченскую крепость и донес ее коменданту секунд-майору Микульшину, что «сиромахи начали бунт для того, чтоб кошевого и старшину войсковую, нынешнюю и прежде бывшую, и достойных казаков всех побить до смерти». Вместе с секунд-майором кошевой атаман выработал хитроумный план подавления восстания: собрать в крепости всех не примкнувших к сироме казаков с атаманами и одновременно направить к восставшим одного офицера с секретным поручением предложить им выбрать другого кошевого и прекратить борьбу. Уловка удалась. Проникшему в Сечь капитану Марковичу не пришлось долго упрашивать восставших. Избрав атаманом Филиппа Федорова, сиромахи согласились «разойтись по куреням»; тогда прежний кошевой воспользовался этим для вероломного нападения на Сечь. Вызванные им «благоразумные» казаки, пустив в ход взятую из крепости артиллерию, ворвались в сечевые укрепления и стали «палить по всем улицам и по сторонам». Теперь уже сиромахам пришлось убежать в плавни. Но при этом – как рапортовал майор Микулынин – «их было побито до смерти немалое число».

Каратели боялись сиромах даже после усмирения, поэтому они стали вести следствие не в самой Сечи, где началось возмущение, а в Новом Кодаке, под охраной ново-сеченского крепостного гарнизона. Признание одного из арестованных подтвердило, что эти опасения не были лишены оснований. Он собирался «публично застрелить из пистолета» ненавистного казакам Калнишевского.

Не посчитавшись с тем, что запорожцы выбрали другого кошевого, происходившего, впрочем, тоже из зажиточных – Филиппа Федорова, Калнишевский снова завладел атаманской булавой. В Москву же он послал секретную просьбу «держат на Запорожье не менее двух полков регулярного войска». Разбежавшиеся по приднепровским степям сиромахи еще долго не унимались. Они продолжали нападать на зимовники старшин и сивоусых. По селам, шляхам и хуторам были разосланы особые «разведные команды» с заданием «своевольников от шумств и грабительств ускормлять».

Проявленная Калнишевским твердость при подавлении восстания произвела, очевидно, впечатление в столице. Нуждаясь в помощи запорожских казаков в случае войны с Турцией, правительство торопилось навести порядок в Сечи. Узнав, что посланным в Запорожье агентам султана не удалось склонить казаков к измене, Екатерина II поспешила в специальном послании выразить свое благоволение кошевому атаману и всему Запорожскому Войску. Уверяя запорожцев, что она считает их своими «наиусерднейшими подданными» и не сомневается в их верности, императрица обещала «при первом случае оказать им свою милость».

Подходящий случай скоро представился. В разгоревшейся в 1769 году войне с Турцией запорожцы опять блеснули своими воинскими доблестями. Они сильно потрепали ворвавшихся в приднепровские степи крымцев и своими неустанными и смелыми набегами не давали противнику ударить в тыл русской армии, громившей врага по Дунаю и за Дунаем.

«За отлично храбрые противу неприятеля поступки и особенное к службе усердие» кошевой атаман Калнишевский и его ближайшие соратники были награждены после войны специально для них вычеканенными золотыми медалями с изображением Екатерины II.

Виднейшие военачальники граф Петр Панин, князь Прозоровский и знаменитый впоследствии фаворит Екатерины II, бывший в то время генерал-майором в первой армии, Г. А. По-

темкин, в знак своего особого уважения к Войску Запорожскому, просили записать их в любой из его куреней простыми казаками. Заявления эти особенно тщательно хранились в архиве. Кошевое начальство не рассчитывало на то, что эти «казаки» будут разделять все трудности похода вместе с сиромохами, но в столице они могли очень пригодиться.

«Милостивый батьку, Петр Иванович», – запросто называл Калнишевского будущий светлейший князь Таврический, обращаясь с просьбой записать его рядовым товарищем – «братчиком» в казачий реестр. Зачисление было произведено по всем правилам, даже с соблюдением установившегося в «скопище беглецов» обычая – давать записавшимся в казаки новые прозвища. Клички эти выбирались чаще всего по внешним признакам: повредившего нос в драке называли, например, Перебий-нос; ходившего в рваном кафтане, через который просвечивало нагое тело, – Голопуп. Иногда в насмешку долговязому давали кличку Малюта, а низкорослому – Махина. Генерал Григорий Потемкин, носивший взбитый парик с буклями и поэтому, по мнению запорожцев, никогда не причесывавшийся, был записан под именем Грицька Нечесы в кущевский курень, тот самый, в котором состоял и Калнишевский.

Назначенный вскоре после этого генерал-губернатором граничившего с Сечью Новороссийского края, однокуронец Калнишевского на правах соседа продолжал обмениваться с ним любезными посланиями и подарками.

Но тесное общение однокуренцев имело и другую сторону. Став «соседом» Калнишевского, Потемкин пристальнее присматривался ко всему, что происходило на Сечи.

А на Сечи, как всегда, было беспокойно.

Даже дворянский историк Скальковский, впервые опубликовавший эту переписку, наряду с другими документами запорожского архива, не мог утаить, что в нем хранились и документы совсем иного характера. Таковы, например, свидетельские показания рядового казака Бориса Швеца о сказанных одним молодым запорожцем, по имени Никон, опасных словах: «Как панов выбивать будут, чтоб и нам смертоубийства не случилось». Разгласивший эти слова казак был допрошен в Ново-Сеченской крепости с таким пристрастием, что... «он, Швец, дней через четыре и умре в яме».

Да и разве могло быть спокойно на Сечи в эти годы суровой расправы над участниками поднятого донским казаком Емельяном Пугачевым крестьянского восстания, в котором участвовало немало запорожцев! Не могли оставаться равнодушными казаки и к происходившим в самой Сечи событиям – постройке новой линии укреплений от Днепра до Азова, пролежавшей через запорожские владения, и заселением в связи с этим «исконных казачьих земель» солдатами и переселенцами из России. Кошевой Калнишевский ездил сам и снаряжал депутации в Петербург и в Москву, настойчиво добиваясь возвращения казакам отчужденных земель.

Но жалобы запорожцев не встречали сочувствия. После победы над турками, обеспечившей России выход к Черному морю и обезопасившей границы с крымским ханством, Сечь, как сторож этих границ, утратила свое значение. Екатерининские вельможи смотрели на Сечь теперь только как на «разбойничий притон», постоянный очаг волнений и беспокойств.

Напрасно очередная запорожская депутация привезла в подарок своему ходатаю перед императрицей «братчику» Грицьку Нечесе великолепного темно-гнедого коня с золототканым чепраком и серебряными стремянами. Трудно было теперь задобрить конем высокого сановника. В качестве генерал-губернатора соседнего с Сечью Новороссийского края Потемкин знал обо всех ссорах, происходивших между жителями этого края и запорожцами. Но виновниками этих ссор он считал только запорожцев.

Последнее из сохранившихся в кошем архиве писем Потемкина Калнишевскому своим суровым тоном резко отличается от всех предыдущих. Перечисляя «несносные обиды и огорчения», нанесенные запорожцами жителям нового края, он грозит донести о них

императрице. Один из посланцев Коша – расторопный полковой старшина Антон Головатый – извещал Калнишевского, что Потемкин «чрезмерно пугает за все и угрожает... так сердит, что и сказать нельзя».

Привезенные запорожцами для подкрепления их прав на землю бумаги – копии с хранившихся в сечевом архиве древних грамот – никто в столице не хотел читать. Екатерининские вельможи сами были не прочь прибрать теперь к рукам плодородные запорожские земли.

Запорожские казаки, принимавшие участие в войне с Турцией, не все еще успели вернуться домой, когда корпус находившегося на царской службе сербского уроженца генерала Текели, тоже возвращавшийся с театра военных действий, неожиданно повернул на Сечь. Маневр этот был проведен быстро и держался в строгом секрете. Как видно из не попавшего, конечно, в сечевой архив донесения генерал-поручика Текели от 6 июня 1775 года «о взятии Сечи Запорожской», он приказал своим войскам двигаться «скорейшим маршем», чтобы «кошевой Калнишевский и писарь Глоба уйтить не могли» и дабы «спокойно и без кровопролития кончить». Корпус был разделен на пять отрядов, и они подошли к Сечи пятью колоннами. Сам Текели с главной частью корпуса пошел прямо на Сечь и навел на нее жерла всех своих пушек. Ничего не подозревавшие запорожцы мирно спали по своим куреням; даже часовые около пушек дремали. Только в самом Коше, где было сосредоточено более трех тысяч казаков, при приближении войск подняли тревогу, но, «увидя, что не было средств к утечке» (так сообщал Текели в своем донесении), сдались без сопротивления.

Генерал-поручик Текели тотчас же потребовал к себе кошевого атамана Петра Калнишевского, войскового писаря Ивана Глобу и войскового судью Павла Головатого. Эти трое и были взяты под караул для препровождения в Москву. Войско же Запорожское было объявлено распущенным. Вскоре был оглашен и специально изданный Екатериной II «манифест о разрушенном Войске Запорожском», в котором Сечь называлась «вредным скопищем» и перечислялись все вины ее обитателей, начавших «в самое новейшее время гораздо далеко простирать свою дерзость». Главной их виной было намерение «составить из себя посреди отечества область, совершенно независимую, под собственным своим неистовым управлением». Правда, в том же манифесте запорожцам «воздавалась и достойная похвала в том пункте, что не малая ж часть запорожского войска в минувшую ныне сколь славную, столь и счастливую войну с Портою оттоманской оказала преотличные опыты мужества и храбрости».

Рядовым казакам было разрешено остаться жить в Запорожье или вернуться туда, откуда они пришли в Сечь. Но большинство сиромых не воспользовалось этой «милостью». Не желая превращаться ни в помещичьих крепостных на своих же запорожских землях, ни в армейских солдат, больше пяти тысяч казаков отпросились на заработки и одним им известным скрытым путем ночью тайно пробрались к Днепру, сели в спрятанные в камышах лодки и махнули за Дунай.

О судьбе отправленного под конвоем в Москву кошевого и двух его ближайших помощников – войскового судьи и писаря – в архиве прекратившего свое существование «вельможного Коша», естественно, не оказалось никаких сведений. Историк «последнего Коша Запорожского» Скальковский наводил о них справки в разных местах, но так и не смог ничего выяснить. Ходили слухи, что после своего освобождения Калнишевский удалился в Турцию.

Не прошло и ста лет после только что описанных событий, когда Скальковский, заканчивая свой труд об ее последнем Коше, посетил заповедные запорожские места. Это было в 1842 году.

Его поразили происшедшие там перемены. Где раньше мелькали наспех обмазанные глиной камышовые или рубленые казачьи постройки, стояли теперь прочные каменные дома немецких колонистов. В них угощали заезжего гостя не грубой запорожской саламатой – болтушкой, замешанной из муки или пшена на рыбьей ухе или квасе, а приготовленными по

всем правилам немецкой кухни котлетами и бифштексами. Белокурые дочери колонистов улаживали слух нежными звуками арфы там, где еще не так давно, даже в мирное время, при объезде кошевым казачьих паланок<sup>34</sup> раздавалась неистовая пушечная пальба.

О Сечи уже мало кто помнил. Все же во время этой поездки Скальковскому удалось записать несколько народных песен, сложенных после разорения Сечи. В них упоминалось и о ее последнем кошевом атамане Петре Калнишевском. На основании обнаруженных в запорожском архиве документов у историка создалось впечатление, что Калнишевский при жизни пользовался уважением только «благоразумных», то есть зажиточных, казаков; сиромахи же, мягко выражаясь, «не были к нему расположены». Но после исчезновения взятого под арест последнего кошевого облик его стал приобретать в народной памяти героические черты. В одной из записанных в Запорожье песен были, например, такие строки:

О полети, да полети, черная гадко,  
Да на Дон рыбу йісти,  
Ой принеси, да принеси, черная галко,  
От Калныша вісти!

Из этих строк можно было заключить, что Калнишевский после своего освобождения не уезжал в Турцию, а доживал свой век где-то на Дону.

В 1862 году один из любителей украинской старины П. С. Ефименко провел лето на берегу далекого от Запорожья Белого моря, в селении Ворзогоры, в ста восьмидесяти верстах от знаменитого Соловецкого острова, в течение многих столетий служившего местом ссылки. На этом безлюдном острове, восемь месяцев в году отрезанном от мира плавучими льдами, еще в начале XV столетия был основан большой монастырь, представлявший собой сильную крепость из дикого камня. В башнях этой крепости и были устроены камеры для заключенных «на вечное пребывание, до смерти, неисходно». Чаще всего туда сажали раскольников «за распространение вредных толкований о вере», но было среди них и немало «оскорбителей царских особ» и вообще противников самодержавия.

Гостивший в селении Ворзогоры любознательный украинец, расспрашивая об обитателях окруженного тайной монастыря местных жителей, ежегодно ездивших в Соловки на звериный промысел, неожиданно узнал поразившую его новость: один из его собеседников, восьмидесятилетний старик, по фамилии Лукин, в годы своей молодости бывший на Соловках морского зверя, рассказал о запомнившейся ему встрече с загадочным заключенным. Задержавшиеся на Соловках до праздника пасхи звероловы зашли в этот день в монастырь и выпросили там для себя праздничный обед. Дожидаясь около трапезной монахов, обещавших вынести им пищу, рыбаки увидели дряхлого старика, тоже пришедшего за обедом, но сопровождаемого тремя караульными. Заметив рыбаков, этот старик оживился и, оглядываясь на конвойных, быстро спросил: «Кто теперь царем и что нового на Руси?»

Удивленные такими вопросами звероловы поспешили ответить, что царем теперь Александр Павлович, внук Екатерины II, перемен же никаких нет, живут они по-прежнему.

– Он бы и еще больше нас расспрашивал, – уверял рассказчик приезжего украинца, – да солдаты не допустили. Стали нас отгонять со словами: «От этого человека отойдите прочь. С ним вам говорить не полагается».

И принешие обед монахи тоже стали пугать рыбаков, что за разговор с этим стариком им попадет от архимандрита.

Когда же вскоре появился и сам архимандрит, старик п сопровождении часовых подошел к нему под благословение. Настоятель же монастыря при этом сказал: «Древен ты, земель пахнешь».

– Больно уж он одряхлел, – пояснил эти слова настоятеля рассказчик, – видно было, что ему недолго жить осталось.

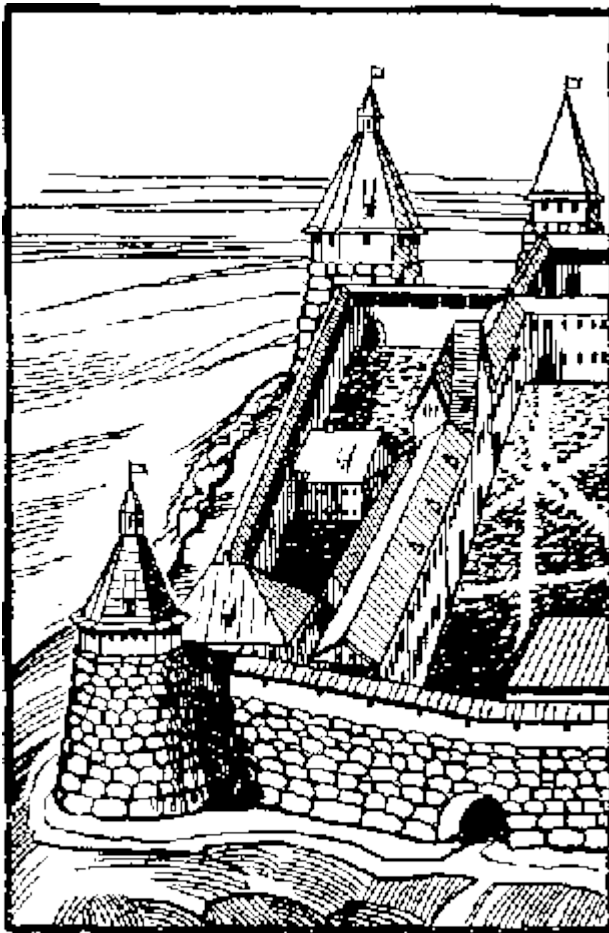
34 Паланка – полковой округ.

Потом, когда старика увели, монахи рассказали рыбакам, что он был когда-то казачьим атаманом и томится в Соловках уже много лет в строгом заточении. Только три раза в год, в дни больших церковных праздников, его выводят под конвоем получать обед в общей трапезной.

– Я, как теперь, его помню, – рассказывал Лукин, – сморщившегося совсем, седастые волосы обсеклись, видно, что много сидел. Борода не долга, белая. Одет он был в китайчатый синий сюртучок, пуговицы не разобрал, оловянные, что ли, махонькие такие, в два ряда. Говорил по-русски не очень чисто...

Из рассказов тех же рыбаков П. С. Ефименко узнал, что заключенные в Соловках разделялись на три разряда. Считавшиеся наименее опасными свободно передвигались в пределах монастыря; более серьезные преступники находились под замком, но их выводили ежедневно на работу и на прогулку; и, наконец, самые опасные, к которым, очевидно, и принадлежал этот старик, сидели «безвыходно», как видно из рассказанного случая. Некоторым из них, считавшимся «буйными», надевали на голову рогатки – железные обручи с шипами, замыкавшиеся двумя цепями под подбородком. Эти шипы не позволяли им ложиться – они могли спать только сидя.

На следующий год, проезжая через Архангельск в Холмогоры, П. С. Ефименко зашел в местное губернское правление и получил разрешение просмотреть в его архиве бумаги большой давности. Среди них он обнаружил заведенное 11 июля 1776 года и хранившееся раньше в секретном шкафу дело № 1243 «...об отсылке для содержания в Соловецком монастыре кошевого Петра Калнишевского».



Из этого же дела П. С. Ефименко узнал, что 25 июня 1776 года, ровно через год после «атакования Сечи» войсками генерала Текели, секунд-майор первого пехотного московского полка Александр Пузыревский в сопровождении одного унтер-офицера и пяти рядовых отбыл из принадлежавшего военной коллегии здания «с некоторым арестантом». Везли его с большими предосторожностями. На первой тройке ехал сам секунд-майор; на второй – унтер-офицер с тремя рядовыми; на третьей – таинственный узник с двумя конвоирами.



Начальнику конвоя была дана строгая инструкция: содержать арестанта «в крепком присмотре» и во время пути «от всякого с посторонними сообщения удалять».

Не имея возможности совершить трудную поездку на Соловецкий остров, П. С. Ефименко попросил двух отправившихся туда знакомых москвичей – членов археографического и географического обществ А. Г. Гоздаво-Тышинского и П. П. Чубинского собрать в тамошнем монастыре дополнительные сведения о последнем кошевом. Они без труда разыскали могилу с надписью на каменной плите, извещавшей, что под ней погребено тело кошевого атамана «бывшей некогда Запорожской грозной Сечи» Петра Калнишевского. В надписи сообщалось также о том, что он был сослан в Соловки в 1776 году «на смирение» по повелению Екатерины II и освобожден в 1801 году, то есть через двадцать пять лет. Но старик сам не пожелал оставить монастырь и умер в нем 23 октября 1803 года ста двенадцати лет от роду. В монастырском архиве обнаружили и тщательно разыскивавшиеся Скальковским документы, на основании которых был осужден кошевой.

Это был текст докладной записки на имя Екатерины II «верновсеподданнейшего раба» Г. А. Потемкина.

Числившийся в куренных списках войска Запорожского под именем казака Грицька Нечесы, вице-президент военной коллегии, еще за год перед тем называвший себя в письмах к кошевому «Вашей Вельможности, милостивого батька, всегда готовый слуга», в этой записке напоминал императрице, что ей известны «все дерзновенные поступки бывшего Сечи Запорожской кошевого Петра Калнишевского и его сообщников войскового судьи Павла Головатого и писаря Ивана Глобы». Утверждая, что за свои преступления все трое заслужили «по всей справедливости смертную казнь» и не находя «ни малейшей надобности приступать к каковым-либо исследованиям», Потемкин все же считал возможным заменить «заслуживаемое ими наказание пожизненным заключением» и представлял на усмотрение Екатерины: «отправить на вечное содержание в монастыри, кошевого – в Соловецкий, а прочих – в сибирские». На докладе своего фаворита Екатерина II начертала: «Быть по сему».

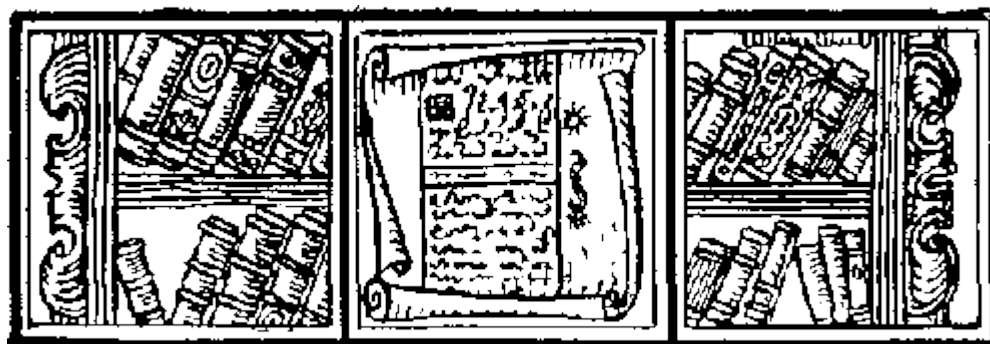
Так, по случайно обнаруженным документам монастырского архива и по найденным скромным украинским канцеляристом остаткам архива Запорожской Сечи прослеживаются страницы ее истории. В настоящее время фонд Сечи Запорожской, обогащенный собранными после Октябрьской революции документами, бережно хранится в Центральном государственном архиве УССР в Киеве. Изучая документы этого архива, советские историки, в частности автор книги «Запорожское казачество» проф. В. О. Голобуцкий, написали немало новых работ, раскрывающих историю Сечи.

## **глава 6**

### **НАХОДКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ**



## ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ



Более ста сорока миллионов дел хранится в архивах нашей страны. Этими делами интересуются не только археографы, историки и источниковеды. Многие архивные сведения используются для обогащения и других отраслей науки. Извлеченные из архива, они начинают вторую жизнь, включаются в переключку веков.

При розыске забытых месторождений полезных ископаемых и при разработке проектов крупнейших социалистических строек приходится прибегать к архивным данным. Они избавляют часто от необходимости производить новые изыскания и экономят государству миллионы рублей.

Русские инженеры и геологи посылались царским правительством в Китай с целью выискать месторождения золота, серебра, нефти и железных руд. Русские капиталисты надеялись все это прибрать к рукам. Многочисленные рапорты, отчеты, докладные записки и карты, относящиеся к дореволюционной эпохе, найденные советскими архивистами, пересняты и переданы теперь Китайской Народной Республике. Не тратя времени и средств на предварительные изыскания, китайские инженеры и рабочие смогут по этим сведениям начать добычу полезных ископаемых, ускорят подъем своего народного хозяйства. Много ценных архивных документов, вывезенных во время войны немецкими захватчиками из Польши, Чехословакии, Югославия, Болгарии, Венгрии, были спасены советскими войсками от уничтожения и переданы потом этим странам.

После Октябрьской революции в государственные архивы и книгохранилища поступило столько собраний редких книг и рукописей, что многие из них до сих пор еще не разобраны и не изучены. Между тем при обследовании архивных фондов и составлении описей часто обнаруживаются документы величайшей ценности.

На протяжении почти семи веков в Великом Новгороде записывались важнейшие события не только местной жизни, но и всей русской истории. Но точное количество сохранившихся летописных текстов не было установлено. Вот почему научный сотрудник Института русской литературы С. Н. Азбелев взялся за розыски этих текстов. Много лет подряд обследуя крупнейшие книгохранилища, он выявил семьдесят шесть кратких, почти неизвестных новгородских летописей, содержащих важные сведения о жизни Новгорода вплоть до начала XIX века.

В Чите, в областной библиотеке имени Пушкина, при просмотре старинной книги одного немецкого врача, изданной в Париже, был обнаружен вклеенный в нее листок с текстом известного пушкинского послания к его другу, декабристу Пушину, начинающегося словами: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Стихи на этом листке были написаны рукой поэта. Им же была помечена дата «13 декабря 1826 года. Псков».

Каким же образом этот автограф Пушкина попал в Читу? Оказывается, он был привезен женой сосланного туда декабриста Муравьева.

А в Риге, в библиотеке Латвийской ССР, старший библиограф Т. В. Кочеткова, просматривая старинную книгу итальянского искусствоведа Луиджи Ланци «История живописи в Италии», обнаружила на ее полях автобиографические заметки, сделанные рукой великого французского писателя Стендаля во время его пребывания в Италии в 1830 году. Он тогда был консулом в Триесте. Как выяснилось из другой записи в этой же книге, друг Стендаля, антиквар Донато Буччи из Чивита Веккиа, подарил ее прибалтийскому барону фон Мейндорфу. Из имения наследников Мейндорфа, национализированного в 1919 году, она и поступила в рижскую библиотеку. Находка советского библиографа очень заинтересовала французских писателей и литературоведов и по их просьбе во Францию были пересланы фотокопии всех страниц рукописи.

Не менее ценное открытие сделала и научная сотрудница Государственной библиотеки СССР имени Ленина Р. Б. Аскарянц. Проверя архивный фонд А. А. Иванова, известного русского художника, долго жившего в Италии, она обратила внимание на рукописный сборник украинских песен. Многие из этих песен были написаны рукой Гоголя.

Из писем Гоголя известно, что он собрал более тысячи русских и украинских народных песен, но значительная часть их была утрачена, в том числе как раз те, о которых Гоголь из-за границы писал М. П. Погодину: «Малороссийские песни со мной. Запасаясь и тщусь сколько возможно надышаться стариной».

Гоголь, живя в Риме, часто встречался с художником. После смерти великого писателя выяснилось, что, уезжая из Италии, он оставил на хранение Иванову два сундука и портфель с рукописями. Часть рукописей Гоголя была потом передана братом художника в Румянцевский музей. Но только теперь обнаружилось, что считавшийся навсегда потерянным сборник песен сохранился в этом архиве.

В Ленинскую библиотеку поступили недавно неизвестные наброски Достоевского к роману «Братья Карамазовы» и к «Дневнику писателя». Они обнаружили на Урале у дочери строителя уральских заводов инженера Большакова, получившего их в подарок от вдовы Достоевского.

Начисто переписанный рукой Чехова его рассказ «Невеста» оказался вклеенным в книгу, случайно купленную на рынке одним библиофилом. Новый владелец рукописи послал ее в Ялту сестре писателя, М. П. Чеховой, передавшей потом рукопись в Ленинскую библиотеку.

Архив или книгохранилище – это последнее пристанище любой рукописи. Можно не сомневаться: если она туда попала, то рано или поздно будет исследована и принесет пользу науке. Поэтому вполне понятна тревога ученых за судьбу ценных документов и рукописей, как древних, так и современных, находящихся в частных руках. Некоторые коллекционеры, правда, сами продают или передают свои сокровища государственным хранилищам. Так поступил, например, писатель Корней Чуковский, передавший недавно Ленинской библиотеке ценное собрание принадлежавших ему рукописей Некрасова. Но о многих ускользнувших от исследователей ценных рукописях в государственных хранилищах узнают случайно, а иногда слишком поздно, когда их уже нельзя спасти.

Литературоведам известно около шести тысяч писем великого русского писателя И. С. Тургенева. Сравнительно недавно в Ленинскую библиотеку поступило еще одно письмо. Письмо принес офицер, нашедший его при следующих обстоятельствах. Бреясь в парикмахерской подмосковного дачного поселка Кратово, он заметил, что мастер вытирает бритву о листы какой-то рукописи. На ней была явственно различима подпись: Ив. Тургенев. Этот листок действительно оказался письмом писателя. Оно было адресовано редактору «Русской мысли» и касалось вопроса об опубликовании известной речи, произнесенной Тургеневым на открытии памятника Пушкину в Москве. Были ли в этой парикмахерской другие письма Тургенева, офицер не смог выяснить. По-видимому были, но они погибли.

В Ленинградскую Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина пришла в январе 1958 года странная посылка из Ташкента: в деревянном ящике лежал большой земляной кирпич, состоящий из слипшихся и перемешанных с глиной листов бумаги. Гидрогеолог И. А. Анбоев нашел эту рукопись в таком виде во время изысканий на Ангрене, в развалинах древней крепости в районе села Киряучи. Узнав из газет о новейших способах хранения и восстановления поврежденных рукописей, применяемых сотрудниками Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, он послал свою находку в Ленинград.

Не один месяц трудились реставраторы, прежде чем удалось выяснить, что Анбоевым был найден рукописный сборник на староузбекском (чагатайском) языке под названием «Диван хикматов» – «Сборник мудрости», принадлежавший перу выдающегося узбекского писателя Ходжа Ахмата Яссави, умершего в 1166 году. Сам завоеватель Тимур воздал ему почести, соорудив на его могиле мавзолеей. Текст рукописи, несмотря на ее длительное пребывание в земле, хорошо сохранился. Но если бы даже он совсем выцвел, его смогли бы прочесть в Лаборатории консервации и реставрации редких книг и документов при Академии наук. Эта лаборатория не раз возвращала жизнь давно угасшим текстам. Так, например, были прочитаны карандашные пометки Петра I на полях старопечатных книг. Сотрудники лаборатории научились восстанавливать даже смытые или соскобленные с пергамента строки. Ставший невидимым текст прочитывают с помощью инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. Современная наука умеет восстанавливать и сгоревшие рукописи, если только их пепел остался нетронутым. Такие опыты с успехом производятся в Чехословакии.

Об этом, к сожалению, не знала пожилая женщина, принеся однажды в Отдел рукописей Ленинской библиотеки целый мешок столбцов – бумажных свитков XVI–XVII веков.

Это была дочь известного в свое время книгопродавца, любившего и ценившего старинное письмо. Большая коллекция собранных им древних текстов была уже приобретена отделом рукописей у ее отца и брата. Женщина принесла, по-видимому, ее остатки. Узнав,

что библиотека согласна заплатить за столбцы крупную сумму, эта женщина расстроилась. Оказалось, что у нее их было очень много, но она, не зная им цены, побросала их в печь.

О погибшей в огне сравнительно недавно еще одной коллекции редких книг стало известно из рассказа посетителя букинистического магазина, продавшего старый альбом с двумя стихотворениями Пушкина, написанными рукой поэта. Проходя во время войны мимо разрушенного бомбой и еще горевшего дома, он заметил груды тлевших книг. До одной из них в старинном переплете еще не успел добраться огонь. Прохожий поднял ее и стал перелистывать. Это был рукописный альбом, принадлежавший другу Пушкина, участнику кружка «Зеленая лампа» М. А. Щербинину, тому самому, которому поэт посвятил свои опубликованные в 1841 году стихи «В альбом Щербинину». Но самый альбом давно считался утраченным. Даже внук Щербинина, литератор Ю. Н. Щербачов, в статье о приятелях Пушкина высказал предположение, что альбом существовал только в названии пушкинского стихотворения.

И вот этот альбом нашелся.

Все эти примеры наглядно убеждают в том, что не всегда следует дожидаться, когда владельцы пенных рукописей сами принесут их в архив, библиотеку или музей.

Стараясь предотвратить гибель памятников культуры и древней письменности, книгохранилища сами посылают экспедиции для их розыска.

О некоторых находках охотников за рукописями мы здесь расскажем.

## **ПО ЛЕСАМ И ПЕЩЕРАМ**

Каждый год снаряжает экспедиции в самые отдаленные углы Советского Союза известный всему миру Пушкинский дом. В нем находится сектор древнерусской литературы Академии наук СССР, руководимый ее членом-корреспондентом Д. С. Лихачевым. Возглавляет экспедиции обычно большой знаток памятников древней письменности – научный сотрудник сектора

В. И. Малышев. Особенно часто ездит он на север, в селения, разбросанные вдоль берегов реки Печоры и ее притоков – Пижмы и Цильмы.

Старые рукописные книги завезли в эти края еще в XVI–XVII веках первые засельщики – москвичи, новгородцы, устюжане, оседавшие на пути к «Студеному морю», охочие и служилые люди, привлеченные здешними богатствами: рыбой, зверем и всяким иным добром.

После восстания Степана Разина и мятежа соловецких раскольников здесь скрывались со своими семьями бежавшие от крепостного ярма и от царской расправы участники восстания и упрямые ревнители старой веры. Давно уже было введено книгопечатание на Руси, а они все еще продолжали переписывать от руки приходявшие в ветхость рукописные книги. Еще и сейчас встречаются потомки этих староверов, печорские рыбаки, лесорубы и охотники, которые берегут эти книги, хотя и не всегда умеют разбирать древнее письмо.

В печорских селениях попадаются не только старообрядческие книги, интересующие ученых главным образом как образцы древней письменности, но также старинные русские исторические повести и сказания.

На поиски старинных документов выезжают сотрудники Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Они побывали в селениях лесистой Горьковской области. Тут тоже когда-то скрывались беглецы, участники разинского восстания и гонимые царскими властями последователи старых вероучений. Археографы нашли здесь древние богослужебные книги и старинные ноты, написанные затейливыми крючками. Неведомыми путями попали в эту глушь и такие увлекательные сочинения, как описание «Хождения купца Трифона Коробейникова на Ближний Восток».

В деревне Кудашихе вблизи Городца еще совсем недавно жил большой знаток древнего письма, пожилой колхозник Иван Гаврилович Блинов. Он знал все особенности и секреты древних почерков и шрифтов и такие рисовал заставки и миниатюры, что художники,

иллюстрировавшие в XVI веке лицевой летописный свод Ивана Грозного, вероятно охотно приняли бы его в свою среду. Было у него, конечно, и свое очень ценное собрание древних рукописных книг, откуда он и заимствовал многие секреты. Этим-то собранием и интересовались участники археографической экспедиции. Но они опоздали. Дом, в котором оно хранилось, сгорел вместе с драгоценными книгами. Археографы должны торопиться! В том же районе, где жил Блинов, собирал рукописи еще один ценитель древнего письма. После женитьбы сына он передал их ему на хранение, а сам переехал в другое место. Сын же перенес всю коллекцию отца в овин, где она и размокла под непрерывными дождями. В деревне Кельи – уже в другом, Семеновском районе – после смерти одной пожилой староверки под ветхим крыльцом ее избы была обнаружена целая груда уже сгнивших редких старопечатных книг и рукописей.

Много ценных находок было сделано в последние годы.

Летом 1958 года из Казахстана пришло интересное сообщение. На полуострове Мангышлак, у подножия горы Сахар-тау охотник Сабатай Тюребеков, погнавшись за корсаком, шустрым зверьком лисьей породы, провалился в пещеру. Придя в себя и убедившись, что он не получил никаких повреждений, Тюребеков чиркнул спичкой. Пещера оказалась продолговатой, пол был выложен белым камнем. Посередине ее, почти как в сказке, стояли два обитых железом сундука. Они оказались запертыми, и охотнику пришлось вскрывать их кинжалом. Сундуки были набиты старыми книгами. Тюребеков взял только одну и привез ее в форт Шевченко. Оттуда вскоре снарядили экспедицию. В сундуках оказалось пятьдесят девять хорошо сохранившихся редких книг в прочных кожаных переплетах на арабском, персидском и татарском языках. Некоторые из них были изданы за границей: в Каире, Стамбуле, Дамаске, Багдаде. Другие печатались в Казани, Бухаре, Ташкенте. На одной из книг были заметны кровавые пятна...

Кроме книг в сундуках, были найдены еще две древние рукописи, написанные особыми чернилами, не выцветающими целыми веками. Такие чернила приготавливали из проса и сахара. В Средней Азии ими пользовались адайцы.

Находка была доставлена в Казахскую Академию наук, где и определили ее ценность. Это были сочинения по грамматике, правописанию, этике, логике, астрономии, алгебре, географии, а также произведения восточных поэтов. Среди них был и четырехтомный философский трактат и теория и история арабской литературы. Но особенно интересны были рукописи. Автором одной из них, написанной в 1299 году по древнему восточному летосчислению, был сведущий в астрономии Мухаммед-ибн-Алджаури. Эта рукопись раскрывала также цифровое значение букв алфавита, с помощью которых можно было разгадать до сих пор не прочтенные надписи на древних памятниках.

Автор второй рукописи Шамсуддин-ибн-Нурмухаммед на персидском языке описывал древние формы арабского стихосложения, до сих пор недостаточно изученные литературоведами.

После этой находки секретарю районного комитета партии товарищу Халелову принесли еще одну старинную книгу, валявшуюся у подножия высокой скалы Сенек. В верхней части этой скалы тоже была пещера, в которую еще никому не удавалось проникнуть, хотя вход в нее был хорошо виден издали; к нему даже вели каменные ступеньки. Но ступеньки эти разрушило время, а окружавшие пещеру пропасти и обрывы могли отпугнуть даже опытного альпиниста.

«Может быть, и там сохранился тайник с книгами?» – предположил Халелов и вместе с редактором местной газеты Бима-гамолтовым попытался взобраться на скалу. Однако они не смогли подняться выше пятидесяти метров. Пришлось расспрашивать местных пастухов. Один из них, самый старый, сообщил, что его отец добирался до вершины скалы по высокогорным тропам. Этот совет был использован новой экспедицией. Участники ее действительно достигли вершины и оттуда спустились в пещеру на веревках. Но здесь их ждало разочарование. В этой пещере не было никаких сундуков, а валялась только одна

обгорелая древнеперсидская книга. Судя по черневшей рядом с ней куче пепла, остальные сгорели от удара молнии.

Прошло всего несколько месяцев после этого происшествия, когда Археографическая комиссия Академии наук СССР, учреждение, специально созданное для розыска и исследования древних рукописей, получила новое сообщение из другого еще не посещавшегося археографами места – Тарбагатайского района Бурятской автономной республики.

Здесь два охотника-бурята тоже обнаружили пещеру, заложенную снаружи камнями и оказавшуюся хранилищем двухсот пятидесяти старопечатных книг, спрятанных, по-видимому, старообрядцами. Среди них были некоторые очень редкие, например одна из первых русских грамматик, выпущенная после введения Петром новой азбуки, неизвестное сказание о стрелецком восстании и многое другое.

## **«ЦВЕТНИК» ЛЕСНИКА**

Музеи, архивы и библиотеки нередко пополняются ценными документами и рукописями, найденными юными краеведами и школьниками.

В Пушкинский музей поступил, например, дневник современника Пушкина, чиновника И. Л. Долгорукова, найденный двумя учащимися техникума в бывшем помещичьем доме возле Мичуринска. Мальчики отнесли свою находку преподавательнице русского языка, а та показала ее известному пушкинисту М. А. Цявловскому. В дневнике оказались любопытные сведения о пребывании Пушкина в кишиневской ссылке, в частности его очень резкие отзывы о людях, составлявших опору трона в те времена.

«Штатские чиновники – подлецы и воры, генералы – скоты большей частью, один класс земледельцев почтенный». Особенно доставалось дворянам. «Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли», – передавал слова Пушкина Долгоруков.

Два московских школьника Н. Розин и Б. Котылев узнали, что в доме 126 по Кунцевской улице жил когда-то замечательный детский писатель Аркадий Гайдар. Мальчики обследовали чердак этого дома и обнаружили в груде разного хлама забытые документы и рукописи Гайдара, в том числе один нигде не опубликованный его очерк.

В Нижнем Тагиле, как известно, недавно были найдены очень ценные документы: старинный альбом с вклеенными в него письмами друзей Пушкина, написанными под впечатлением известия о его смерти. Друзьями этими были жена и дети историка Карамзина. Там же, в музее, выставлена и челобитная старосты села Тимонина помещице Чичериной о внесении податей за купленного «на вывоз» для работы на заводе крестьянина Антона Иванова с женой Марьей. Ее разыскал школьник Сиротиня среди ветхих бумаг одного монастыря.

Об успешных поисках редких рукописей могут немало рассказать и московские школьники – ученики девятого класса 38-й школы.

В этой школе возникла интересная идея – снарядить во время летних каникул специальную археографическую экспедицию для розыска древних рукописей. Но куда должна отправиться такая экспедиция? Ребята связались с архивистами Библиотеки имени Ленина. Научные сотрудники Отдела рукописей Библиотеки Илья Михайлович Кудрявцев и Ярослав Николаевич Щапов посоветовали школьникам направиться в Горьковскую область в бывшие старообрядческие селения, разбросанные вдоль среднего течения реки Керженец – там с давних времен держался обычай беречь рукописные книги. Они познакомили ребят с редкими рукописями, объяснили им, как по почерку, филиграням – водяным знакам на бумаге – и другим признакам определяется возраст книг, дали много ценных указаний, как, где и у кого следует разыскивать старинные документы. Ребятам оказали материальную поддержку Московский городской отдел народного образования и Детская экскурсионно-туристическая станция. Недостающую сумму школьники решили заработать собственным трудом. После

занятий они собирали лом и макулатуру, работали на стройке сооружаемого как раз напротив школы жилого дома – подгребали песок к бетономешалке, помогали разгружать машины. Наконец был окончательно определен маршрут будущей экспедиции. На бумаге он выглядел совсем несложным и очень заманчивым. В дороге же юным археографам пришлось преодолеть немало препятствий. Сначала на пароходе по каналу имени Москвы доплыли до Горького. По пути осмотрели древние города Ярославль, Кинешму, Кострому, Углич и другие достопримечательные места. Руководитель экспедиции преподаватель русской литературы Лев Павлович Пресман был волжанином и смог поэтому рассказать о великой реке много интересного. Но юным искателям рукописей особенно понравилась занимательная история о том, как куйбышевские школьники собрали в архивах сведения об одном забытом старом пароходе, на котором вернулся из ссылки Тарас Шевченко, и затем по этим сведениям нашли и самый пароход.

Из Горького по железной дороге добрались до станции Керженец. Отсюда и начался трудный и увлекательный поиск.

Обычно это происходило так: школьники подходили к какому-нибудь населенному пункту и разбивали около него свои палатки, и сразу же штаб экспедиции посылал вперед разведчиков. Они должны были завязать знакомство с местными ребятами и вывести у них, кто в этом селе собирает и любит старинные рукописи, нет ли там стариков, знающих древнее письмо. Затем к владельцу книг отправлялась целая делегация. Скрывая конечную цель своего посещения, школьники начинали разговор издалека. Если при этом выяснялось, что дядя Митяй или тетка Агафья действительно берегут ценную рукописную книгу, делегаты пускали в ход все свои дипломатические способности и красноречие, уговаривая продать или уступить им ее, не для себя, конечно, а для Ленинской библиотеки, «на пользу науке». Но не всегда эти переговоры заканчивались удачей. Некоторые старики относились к пришельцам с опаской. Они неохотно расставались со своими сокровищами или даже старались их совсем не показывать.

В избушке одного лесника, после того как все его книги были уже осмотрены и среди них не нашлось ни одной подходящей, опытный разведчик Юра Розинев вдруг заметил засунутую за ящик под столом объемистую рукопись. Он осторожно сдул с нее пыль и стал внимательно изучать почерк писца, водяные знаки, просвечивавшие на бумаге. В исследовании рукописи приняли участие и другие ребята. Они так бережно перелистывали древнюю книгу, что лесник проникся к ним уважением и согласился им ее уступить. Эта рукопись оказалась «цветником»; так в старину называли сборники самого разнообразного содержания. Наряду с «душеспасительным» чтением в них были сведения по истории, астрономии и народной медицине.

Проникшись доверием к юным археографам, наследники книголюбов иногда разрешали школьникам порыться в скопившемся на чердаках и в чуланах бумажном хламе. Вот когдагодились предусмотрительно захваченные с собой электрические фонарики и увеличительные стекла. Разглядывая через лупу при свете карманного фонарика разрозненные листы, некоторые ребята научились даже отличать рукописный шрифт от подделанного под него печатного.

За один месяц двадцать московских школьников, пробираясь через заповедные заволжские леса, обследовали двадцать пять разбросанных на большом пространстве селений. Приходилось иногда делать больше тридцати километров в день. Все имущество экспедиции – палатки, продукты, посуду – они тащили на себе. Мошара кусала нещадно. Пришлось смастерить самодельные накомарники. В это время как раз начались сильные дожди, размякли дороги. Надо было «рубить гать», настилать лежневки. В некоторых местах болота так набухли, что ребята шли по грудь в воде. Посоветовавшись со сплавщиками, они своими руками построили плот и на нем поплыли по Керженцу до поселка Рустай. Какое это было увлекательное путешествие! Чуть стемнеет, школьники зажигали на плоту костер. Опасности подстерегали всюду – ведь по той же реке шел сплав леса! На проплывавших мимо бревнах иногда сидели настоящие живые бобры! Однажды проливной дождь,



превратившийся в настоящий поток, настиг экспедицию посреди реки. Школьники накрыли книги палаткой и сами легли сверху. Промокли до нитки, но ни одна рукопись не пострадала.

Школьная археографическая экспедиция привезла в Москву двадцать три старопечатные книги и рукописи. Научные работники Библиотеки имени В. И. Ленина осмотрели их, и шесть наиболее редких поступили в их хранилище, в том числе тот самый «цветник», который Юра Розинов вытащил из-под стола, и две рукописи трехвековой давности. Остальные решено было оставить в школьном литературном кабинете. Участники экспедиции устроили специальную витрину старинной книги.

Центральное место в ней занимает огромная рукописная псалтырь в громоздком, обтянутом телячьей кожей деревянном переплете. Теперь уже можно не объяснять, откуда взялось выражение «прочитать книгу от доски до доски». Одна из страниц заложена парчовой закладкой искусной ручной работы; от такой, вероятно, не отказался бы и Исторический музей. Рядом с псалтырью выставлены и другие старинные книги, богослужебные и нравоучительные, устаревшие, конечно, по своему содержанию, но тем не менее многому научившие школьников. Ведь к каждой книге они сами составляли объяснительные карточки – аннотации, как заправские библиографы.

На этом рассказе о находках школьной археографической экспедиции автор и хотел бы закончить книгу, добавив к нему только одну, быть может небезынтесную для ее читателей, подробность.

Выяснилось, что при исследовании «цветника» работниками Ленинской библиотеки был обнаружен неизвестный до сих пор список сочинений выдающегося русского мыслителя XVI века, современника Ивана Грозного, Ивана Семеновича Пересветова.

Уроженец захваченных литовскими феодалами русских земель, «воинник» Пересветов успел послужить трем королям – польскому, венгерскому и чешскому, прежде чем отъехал в Москву «на государево имя». Он хотел быть полезным юному Ивану Грозному своими познаниями в военном деле. Предложение Пересветова мастерить из крепкого дерева особые щиты с железными шинами, по привезенному им образцу, было одобрено. Он даже был награжден поместьем. Но покровитель его, родственник царя, боярин М. Ю. Захарьин вскоре умер, а другие царские вельможи чинили ему непрерывные «обида и волокиты», от которых он стал «и наг и бос и пеш».

В течение одиннадцати лет Пересветов не мог «доступиться» к царю, но однажды, встретив его в придворной церкви, все же нашел способ вручить Ивану Грозному свою челобитную, а затем и вторую.

Возмущенный самовластием бояр и встревоженный думами о судьбе фактически управляемой ими при несовершеннолетнем царе России, Пересветов писал в этих челобитных не столько о своих личных невзгодах, сколько о необходимых, по его мнению, переменах в государственном строе и внешней политике. Целесообразность таких преобразований он доказывал и в других своих сочинениях, написанных в иносказательной форме. Существует предположение, что за свои сочинения он поплатился свободой, а, возможно, и жизнью, так как дальнейшая его судьба неизвестна.

Находка учеников 38-й московской школы дает повод рассказать подробнее о тех сочинениях Пересветова, которые уже известны ученым.

В начале прошлого века выходящий русский историк Карамзин впервые опубликовал в «Истории государства Российского» отрывки из сочинений Пересветова, но при этом отнесся к ним с большим подозрением. Карамзин объявил их «подлогом и вымыслом». Под именем Пересветова, по его мнению, скрывался не современник Ивана Грозного, а какой-то затейник, писавший свои сочинения, без сомнения, «уже гораздо после сего царствования». Карамзин возмущался тем, что этот затейник «советует царю сделать все великое и хорошее, что было уже сделано». Считая, что все хорошее было сделано Иваном Грозным лишь по совету бояр, Карамзин находил в сочинениях ненавидевшего их «мнимого Пересветова» несообразности и небылицы, которых на самом деле в них не было. Взгляды Карамзина разделял и другой знаменитый историк, С. М. Соловьев, тоже считавший, что произведения,

«подписанные именем Пересветова», сочинены задним числом. Направленные против бояр «эпистолии» Пересветова якобы пустил в обращение сам Иван Грозный для оправдания учиненной им над боярами жестокой расправы. Издатель же сочинений Пересветова – историк А. Попов заподозрил, что этим именем «прикрывались русские сатирики, решившие обнаружить дурное состояние Московского государства». Оговорки и сомнения высказывали и многие другие исследователи. Они часто исходили из того, что все биографические сведения о личности Пересветова известны только из его сочинений. Но если сочинения эти не подлинны, то, значит, сомнительны и сообщенные в них сведения.

В течение всего прошлого века споры о Пересветове не прекращались. Это имя писали в кавычках, с приставкой «псевдо» или с оговоркой «автор, назвавшийся Пересветовым». Одни считали, что за этим псевдонимом спрятался какой-то опричник или даже ближайший советник Ивана Грозного, впоследствии попавший в опалу, – Алексей Адашев. Высказывалось даже мнение, что под этим именем скрывалась целая группа видных деятелей и писателей того времени. С другой стороны, некоторые исследователи подчеркивали достоверность изложенных в челобитных Пересветова фактов. Профессор В. Ф. Ржига, написавший большое исследование о Пересветове, проверил содержащиеся в его сочинениях сведения и подтвердил их подлинность. Да и разве мог автор челобитной давать советы царю и просить его о помощи, прячась под чужим именем? Важные доказательства, подтверждающие существование Пересветова, представил С. А. Белокуров в своем исследовании, посвященном библиотеке Ивана Грозного. «Что Ивашка Пересветов не вымышленное лицо, а действительно бывшее, свидетельствует опись так называемого царского архива, в коей читаем:

«Ящик 143, а в нем черной список Ивашки Пересветова да Петра Губастого и иные листки».

«Черной список» значит черновик. Опись подтверждала, что в царском архиве хранился черновик сочинений Пересветова. Теперь уже нельзя было утверждать, что сведений о Пересветове нет нигде, кроме его сочинений. Больше того, в одной из своих челобитных Пересветов писал, что он подал Ивану Грозному две книжки, вывезенные им из Литвы и из иных королевств, и эти книжки «легли в государеве казне».

Это не помешало, впрочем, еще одному исследователю творчества Пересветова – С. Л. Авалиани выдвинуть на XIV археологическом съезде в Чернигове новое предположение, опрокидывающее все предыдущие. Раз черновик сочинений Пересветова хранился в царском архиве и сочинения эти были направлены против преследуемых царем бояр, не следует ли отсюда, что под псевдонимом «Пересветов» писал сам Иван Грозный? Большинство историков, однако, не согласилось с этим предположением.

Литературное наследие Пересветова особенно тщательно изучают советские историки, считающие его существование доказанным. Они видят в нем передового для своего времени мыслителя и патриота, выразителя стремлений служилого дворянства, на которое опирался Иван Грозный в своей борьбе против бояр.

Но и среди советских историков до сих пор не прекращаются споры о сочинениях Пересветова, дошедших до нас в разрозненном виде, с искажениями и позднейшими добавлениями. Некоторые из этих сочинений по-прежнему приписываются Ивану Грозному.

Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок. Незнакомый голос спрашивал Пересветова Романа Тимофеевича. Один из исследователей творчества Ивана Пересветова интересовался: не являюсь ли я его отдаленным потомком, нет ли у меня каких-нибудь документов о нем? Я мог только ответить, что мои предки, однофамильцы знаменитого публициста, жили когда-то в Смоленской области. Это подтверждалось одной старинной грамотой, хранившейся у моих родителей. Сам же я не особенно стремился выяснить, могу ли я причислить себя к потомкам человека, отождествляемого с Иваном Грозным. Но после того когда я узнал, что ученики 38-й школы нашли неизвестный ученым список сочинений Пересветова я, конечно, тоже задал вопрос исследователям: нет ли в этом списке каких-нибудь новых сведений о моем знаменитом однофамильце? Мне ответили, что

найденный школьниками список отличается от уже известных только некоторыми несущественными разночтениями.

Но кто поручится, что во время одной из следующих школьных экспедиций какой-нибудь юный археограф не найдет в чьем-нибудь чулане или на чердаке еще один «цветник», в котором окажутся неизвестные до сих пор сведения о древнем русском публицисте? Такая находка, может быть, разрешит, наконец, многолетний спор.